

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 3 (2 6) / 2 0 1 9



ТАТЬЯНА
ПАНКРАТОВА
Мытищи

4



ПАВЕЛ
КРУСАНОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

40



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

52



ВЛАДИМИР
БЕЗДЕНЖНЫХ
Нижний Новгород

61



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

64



РЕНАТ
БЕККИН
Стокгольм

78



АНДРОНИК
РОМАНОВ
Москва

98



ВИКТОР
ЛИСТОВ
Москва

106



ИГОРЬ
КУПРИЯНОВ
Нижний Новгород

110



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

158



АЛЕКСАНДР
ИЛИЧЕВСКИЙ
Израиль

176



ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОГОВА
Нижний Новгород

186



МАРИЯ
БУШУЕВА
Москва

208



АЛЛА
НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА
Орел

213



ОЛЕГ
ДЕМИДОВ
Химки

226

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Татьяна ПАНКРАТОВА	
ТАНЯ	4
Павел КРУСАНОВ	
ПЛОТИНА	40

Поэзия

Владимир ГОФМАН	
РЕКВИЕМ ПО ДЕРЕВНЕ	52
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ	
А КТО СКАЗАЛ, БУДТО ЖИЗНЬ ЛЕГКА?	61

Проза

Олег РЯБОВ	
ХОЧУ В СЕМЬЮ	64
Ренат БЕККИН	
ИСТОРИЯ ОДНОГО АСПИРАНТА	78
Андроник РОМАНОВ	
ПОВЕРХНОСТЬ	98
Владимир СЕДОВ	
СВЕЧА	103

Поэзия

Виктор ЛИСТОВ	
НО ЕСТЬ ПРОЗРЕНИЕ В КОНЦЕ ПУТИ...	106
Игорь КУПРИЯНОВ	
Из цикла «СНОВА ОСЕНЬЮ В БОЛДИНЕ»	110

Из будущих книг

Андрей КУЗЕЧКИН	
СЕКТАНТЫ	116

Стихи по кругу

Татьяна ДЕВУШКИНА	149
Данил ФАЙЗОВ	150
Екатерина НЫРОВА	151
Алла ПОСПЕЛОВА	151
Лейла ОРЕН	152
Татьяна КЛОКОВА	154

Ольга ДАРАНОВА	155
Алена БАИКИНА	156
Игорь ГРАЖДАНИНОВ	156
Олег МАКОША	157

Публицистика

Владимир АЛЕЙНИКОВ ПРИСУТСТВИЕ ШАТРОВА	158
Александр ИЛИЧЕВСКИЙ Из книги «ВООБРАЖЕНИЕ МИРА»	176

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Валерия БЕЛОНОВА «Я ПРОСТО РУССКИЙ МЕЩАНИН...» Пушкин – Минин – Нижний Новгород	186
Эдуард КУЗНЕЦОВ ОН ВЁЛ РЕПОРТАЖ С ПАРАДА ПОБЕДЫ К 120-летию со дня рождения В.Н. Яхонтова	193

Литпроцесс

Ивайло ПЕТРОВ ЧИТАТЕЛЯ ТРУДНО ОБМАНУТЬ	197
Валерий РУМЯНЦЕВ ЛИТЕРАТУРНАЯ ШЕЛУХА ОТПАДЁТ	204
Мария БУШУЕВА СЛИЯНИЕ СЛОВА, МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ О романе Елены Крюковой «Земля»	208

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА «ОДИН ТОЛЬКО ИСХОД ОБЩЕСТВА ИЗ НЫНЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ – ЕВАНГЕЛИЕ» Исполнилось 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя	213
Олег ДЕМИДОВ ЛЕОНИД ГУБАНОВ И БОРИС ПАСТЕРНАК	226
ВЕНОК ЮРИЮ АДРИАНОВУ. Предисловие М. Садовского	232
Николай РАЧКОВ	233
Юрий ПАРКАЕВ.	234
Олег РЯБОВ	235
Юрий УВАРОВ	236
Ярослав КАУРОВ	237
Владимир ЖИЛЬЦОВ	237
Елена КРЮКОВА	238
Валерий ШАМШУРИН	239

Татьяна ПАНКРАТОВА

Родилась в 1985 году в городе Долгопрудном Московской области.

Окончила Литинститут им. А. М. Горького, семинар прозы А.Е. Рекемчука. Работает редактором.

Печаталась в альманахах «Пятью пять», «Муза», в журналах «Роман-журнал XXI век», «Дружба народов», «Нижний Новгород». Автор книг: «Техас» (сборник повестей) и «Борис и Глеб» (роман), издательство «Четыре четверти», 2018 год.

Дипломант конкурса «Всемирный Пушкин» (второе место в номинации проза).

Член Союза писателей Москвы. Живет в Мытищах.

ТАНЯ

Подморозило, на стекле узоры, я тру пальцами, но не стирается и не тает. Я сижу и пишу под яркой лампой. Еще не темно, но мне так нравится, она как будто маленькое солнышко, грею руку и зачем-то подставляю лицо, будто бы от лампы могут выскочить веснушки.

Дорогая мама!

Снега совсем нет, а вчера весь день летел огромными хлопьями. Вспомнилось, как мы с Шуриком лепили крепости и играли в снежки, ты даже обедать нас не звала, бомбили до самого вечера и никто не хотел сдаваться, пока не приходил папа и не объявлял боевую ничью. Мне так его не хватает.

Сегодня меня опять вызывали на комиссию. Наталья Петровна снова расспрашивала меня о деде, об отце, о Боге, не передумала ли я. А я ей опять сказала, что Бог есть и что я в него верю. Ведь дедушка так учил. И папа говорил, что надо верить, молиться. Я и сама знаю, что есть, я видела. Пусть даже ты не веришь, я видела, когда болела. Мне как будто снился сон, но я знаю, что это было взаправду. Там было много света, так много, что можно ослепнуть, и такая музыка, которую никогда не передать словами, потому что нет таких слов.

Я знаю, что ты молишься за меня. И не ври мне, как они. Они все говорят, что не верят, а сами бегают в церковь, когда никто не видит. Разве это не лицемерие? И не говори, что сейчас время такое. Я не откажусь от отца и деда, как ты. Никогда, слышишь, пусть хоть навечно запрут меня здесь.

Они все смотрели на меня как на сумасшедшую и качали головами, сказали, что это следствие болезни и надо еще полежать. Но я-то знаю, почему я здесь.

Наверное, теперь нескоро увидимся. Прости, что я опять так резко, опять не слушаюсь. Но ты же знаешь, не могу иначе. Я очень люблю вас с Шуриком. Вот было бы здорово, если бы вы приехали, я так соскучилась.

Врач сказал, что мне надо вести дневник и записывать все. Я пробовала, но выходит какая-то ерунда, тут все одно и то же, никаких событий, все по распорядку. Лучшие буду писать вам, даже если письма не будут доходить, я все равно буду писать.

Кормят хорошо, палата отдельная. Не беспокойтесь обо мне!

Твоя Зоя

Запечатала, посмотрела на часы, до ужина еще есть время, успею написать Ире. Может, не буду отправлять, но напишу, о нем, о самом главном...

Здравствуй, Ирочка!

Ты не представляешь, кто здесь. Ты никогда не поверишь. Он здесь. Я видела его целых два раза, и мы условились увидеться вечером. Он такой красивый, гораздо лучше, чем на всех фотографиях в его книгах. У него курносый нос и слегка оттопыренные уши, как у мальчишки. Он очень серьезный и всегда ходит с трубкой. У меня пропадает дар речи, и я стою как немая. А он улыбается.

А вчера сказал: «Зоя, с вами так приятно помолчать, в вас есть покой. Успокоение, которого мне так не хватает». Я раскраснелась как свекла и не знала, что ответить.

Только пусть все это останется между нами, доверяю тебе свою тайну, мне надо бежать на ужин.

Люблю, скучаю, Зоя

После ужина я вышла на улицу, будто гулять, как обычно, врачи советовали, и ему тоже. Снег искрится, как в волшебной сказке, фонари высвечивают пустую дорогу. Калоши скрепят по снегу. Иду быстро. Сердце бешено колотится, вот-вот выпрыгнет. Неужели нет?..

У старой ели темнеет силуэт, он дымит трубкой и смотрит куда-то вверх на белку. Белка не замечает никого, грызет большой кусок хлеба, наверное, кто-то бросил ей днем. Она никак не может затащить его в дупло, не пролезает, слишком большой, она высовывается и потихоньку отгрызает по кусочку.

Мы идем вокруг корпуса по дороге, идем уже третий круг, молча. Ноги замерзли совсем, пальцев не чувствую. Но даже и в мыслях нет уйти, пусть я замерзну хоть вся, только бы он не уходил, только бы никогда не уходил. Мне так хорошо от того, что он просто стоит рядом, что он здесь со мной, что хочется закричать громко-громко, но я опять молчу. Он смеется и зовет меня партизанкой. Мы идем еще круг.

– Зоя, а кем вы хотите стать?

– Я хочу поступить в Литературный институт.

– О, это серьезно. А что вы пишете?

– Пока ничего особенного, так...

Не рассказывать же ему, вдруг он тогда попросит прочесть, а я не смогу, никогда не смогу.

Он кивает, будто знает мои мысли.

– Вы знаете, иногда из ничего особенного выходит очень стоящее.

Я смотрю на него с благодарностью, с любовью, и еле сдерживаюсь, чтобы не сказать ему все-все.

Мы доходим до моего корпуса, он останавливается.

– Ну? До завтра?

Он пожимает мне руку, а я киваю и смотрю ему вслед. Опять не буду спать всю ночь.

25 января 1941 года

Уже пора вставать, но я лежу, задремываю, а в голове – роем мысли бесконечные, они не дают спать, думаю о нем, о маме с Шуркой, об отце... И так всю ночь, с боку на бок, сворачиваюсь калачиком, колени к груди, так теплее.

У него сын, жена, он воевал уже. Наверное, у него было много женщин, но он никогда не посмотрит на меня, как на них... И пусть... Разве это важно? Я для него девчонка, смешная, молчаливая. Он старше почти на целых двадцать лет, а мне почему-то кажется, что в душе он совсем мальчишка... Как хорошо, что он здесь... Какое чудо, что мы встретились...

Дворник скребет снег лопатой, будто режет кочан капусты. Слышны только его равномерные взмахи, вжик-вжик... какой-то ритм, монотонно, и никогда не уснуть. Не могу спать ни под радио, ни под часы, закрываешь глаза, они тикают-тикают, громко, где-то в голове. Я убираю их в ящик стола, чтобы не слышать, хотя все равно не сплю, не могу. Обманываю, что пью снотворные таблетки, после них только хуже и голова болит еще сильнее. Это не сон, а отключение, проваливаешься в черную дыру, и даже снов никаких нет, ничего нет.

А мне вчера снился он. Я уснула минут на десять, а приснилась целая жизнь. Будто он дает мне розы, а я плету из них венки, у них острые шипы, и я режу руки в кровь, на них нет живого места, а я все беру у него цветы и плету, и кровь течет на цветы, заливают венки... А потом я вдруг оказываюсь в лесу, иду по сугробам огромным, непроходимым, иду через поле и вязну, и мне никак не дойти, так тяжело, и кажется, сейчас провалюсь, увязну как в болоте, а возле леса меня ждут: мой класс, мои пионеры, папа, мама с Шуркой, и все смотрят на меня и не верят, что дойду, спорят между собой, а я падаю и каждый раз кажется, провалюсь совсем, но я все иду, иду из самых последних сил и не понимаю, почему вязну, почему так трудно идти. Я проснулась и больше не спала, знобило, и не могла согреть ног, так холодно, все казалось, будто я там, в том ледяном лесу.

На завтраке его не было, и есть не хотелось вовсе. Поковыряла кашу, бросила, оделась и вместо процедур пошла к лесу по тропинке. Солнце отражалось от снега, сугробы нетронутым белым полотном, и на тропинке мои первые следы, всю ночь шел снег, а я и не слышала. Теперь его столько, что можно утонуть, и у него нет берегов, конца и края, но идти легко, не как во сне. Мороз трещит, кусается, я опускаю руку в карман, варежек нет, должно быть оставила в столовой, надо вернуться, но вдруг нащупываю какую-то бумажку.

Ничему не удивляйтесь. Приходите на поляну.

А. Г.

Мне смешно и так радостно, невольно хихикаю и почти бегу по тропинке к лесу, косы разлетаются в стороны, выбиваются из-под шапки.

От неожиданности ахаю вслух. На поляне целый снежный город, крепость, смотровая башня с трубой, домики, магазинчики, даже уличные ларьки, а вместо людей снеговики, много-много снеговиков, должно быть здесь потрудились целая команда ребят, да что там команда, целый отряд пионеров, целая школа, но никого нет.

Неожиданно из кустов кто-то обхватывает меня за плечи.

– Попалась! Сдавайся! – он смеется.

Мы соскальзываем по пригорку вниз, съезжаем и падаем друг на друга. Я вскакиваю, хватаю снежок, кидаю в него и бегу в крепость.

– Русские не сдаются!

Он смеется еще громче.

– Ах так!

И начинает бомбить без перерыва, никто не хочет сдаваться. Мне никогда не было так весело, как тогда, мы смеемся, играем до самого вечера, время куда-то девается, оно незаметно, его будто нет. Мне кажется, прошла минута, а проскочило несколько часов, мы забыли об обеде, о процедурах, мы забыли обо всем на свете, как будто больше ничего нет, только мы и наша снежная крепость и этот пустой бескрайний зимний лес, в котором не холодно. Мне так жарко, что я скидываю шапку, щеки покраснелись, на волосах застыли льдинки, они тают и замерзают снова. Он без труда может взять крепость, но после долгих боев предлагает мир.

Растрепанные, счастливые, мы стоим друг напротив друга, улыбаемся и молчим, словно знаем какую-то тайну, которую под страхом смерти нельзя разглашать.

У него голубые глаза, светлее неба, а внутри какой-то блеск, будто кто-то зажег огонек, и кажется, видно насквозь, прямой, бесхитростный взгляд, как чистое озеро, смотришь – и видно дно.

– А у вас шоколадные глаза и такие длинные ресницы, как крылья...

Я улыбаюсь, правда. Девчонки мои шутили, дразнили меня Вием, поднимите мне веки... Я стеснялась, ненавидела их, даже однажды взяла ножницы и подстригла их, а они опять выросли, так я узнала, что ресницы могут расти.

– Кажется, вспорхнут и улетят...

Он так близко, что я чувствую его дыхание. Руки, мокрые от снега, мерзнут, и я незаметно тру их друг об друга. Он берет мои руки в свои большие теплые ладони и дышит на них, пытаюсь согреть. Дует на них и неожиданно целует мои руки, так нежно, осторожно, и надевает мне свои рукавицы.

– А почему, когда мы только встретились, вы назвали Таней? Я ведь знал, что вас зовут Зоя.

– Откуда?

– Я же командир Красной армии. А командиры все про всех знают, – смеется. – Мне ведь мое имя тоже не нравится, все время кажется, что оно какое-то не мое, и фамилию я сам себе придумал.

– Таня – это в честь Соломахи. Я прочла о ней в детстве. И меня так поразило это. Ее же пытали, избивали, зверски мучили, а она все не сдавалась, все вытерпела, даже страшную казнь – четвертование. Разве возможно такое пережить? Какие же нужны силы, нечеловеческие. Мне кажется, я бы не смогла.

– Вы, наверное, будете смеяться. Но я почему-то уверен, что у вас какая-то светлая миссия в этом мире, какая-то сверхзадача, которую я не могу разгадать, и объяснить не могу, но вы как будто родились для подвига. И у вас такое лицо, как на иконе. У моей прабабки было много икон, и мне кажется, я уже где-то видел это красивое лицо, и никак не могу вспомнить где. Теперь вы будете думать, что я и правда сумасшедший?

– Нет, – почему-то шепотом говорю я, – мне иногда тоже так кажется, будто я должна сделать что-то важное, а что – я не знаю. И мне иногда очень страшно... Смогу ли я...

– Кто знает, что мы можем, на что способны. Вот война очень быстро определяет людей, там все просто и сразу понятно, кто ты. Лучше вытерпеть один раз мучения и смерть, чем жить всю жизнь с предательством. Даже если соврешь товарищам, утаишь, себя ведь не обманешь, это не жизнь, а сплошное мучение, бесконечное, которое не смыть.

– Вы думаете, будет война?

Он посмотрел на меня серьезно, словно решая, можно ли мне говорить.

– Будет. Уверен, что будет. И мне страшно за вас. Иногда я смотрю на вас, и мне безумно хочется защитить вас, спасти от этого мира. Но я не могу. Это вы меня можете спасти, вы все можете, а я нет. Вы как истина, ее не спрячешь и не победишь, но ей всегда достается больше всех.

– Это ведь счастье совершить подвиг ради всех людей, это только избранным дается, бессмертие. Наверное, это какие-то особенные люди, а я... Что я могу? Какой подвиг? Заставить ребят заниматься с безграмотными... Разве это подвиг? А Соломаха – настоящий герой, смелый, самоотверженный. Я писала о ней сочинение в школе. А потом маму вызвали и сказали, что мое сочинение лучшее в классе и мне надо писать. Может, я смогу написать что-то хорошее для людей, что-то стоящее, как вы.

– Как я, – смеется, – нет, вы напишите лучше, напишите так, как я никогда не напишу, напишите обо мне, по-настоящему, от сердца, искренне...

– Я столько рассказывала всем о Соломахе. Мне все хотелось понять, как это, как она смогла. Что в этой истории правда и как было на самом деле? Что она чувствовала? Вот все и стали звать меня Таней, даже брат, представляете.

– Тогда и я тоже буду. Таней. Танечкой... Сегодня ведь Татьянин день, а значит, я вас поздравляю и исполняю любое ваше желание. Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Желайте смелее! – он лукаво улыбается.

– Все-все можно желать? А вдруг не сможете выполнить?

– Что? Чтобы командир Красной армии и не смог выполнить какое-то там желание! Для нас нет ничего невозможного! Дерзайте!

– Ну тогда... Мороженое, мне хотелось бы мороженое... – вдруг выпаливаю я.

– Нет ничего проще! – невозмутимо говорит он и вдруг достает откуда-то из снега за слепленным магазином два мороженых.

Я стою с открытым ртом и не знаю, что сказать.

– Как вы узнали?

– Вам хочется всему подтверждение, это легче, чем поверить в чудо? Ну, все просто, у меня оно было с собой. Хотя я бы предпочел, чтобы вы поверили в чудо.

– Я верю. Ну а если бы я не пожелала мороженое, а попросила бы скажем, мармелад.

– Ну тогда бы я сказал, извините, есть только мороженое, – смеется опять, как ребенок. – Но вы бы не сказали мармелад.

Мне кажется, он все про меня знает, будто мы знакомы тысячу лет.

– А это? – я показываю на снежный город.

– Это я сделал ночью. Я плохо сплю по ночам. Мне все время снится война, убитые люди. Мне не спать легко. Вот и нашел себе занятие. Теперь вы знаете все секреты.

– Для меня это все равно чудо. А как вы думаете, Бог есть?

– Раньше я бы ответил нет, я и в книгах так писал, но теперь я знаю, что есть. Если бы не он, я бы не встретил вас.

– Мой дед был настоятелем храма. Отсюда и фамилия, отсюда и сумасшедший дом, санаторий для умалишенных, где мы сейчас встретились. Отец тоже верил, не открыто, но верил, и даже причащал нас с Шуркой в детстве. Это было настоящее чудо. Потому что тебе дают кусочек Бога, он внутри тебя, и ты как будто тоже становишься Богом.

Мы шли и в заснеженном зимнем лесу ели мороженое, оно такое белое, как снег, и самое вкусное на свете. Снежинки летят на одежду, щеки, мороженое, красивые звездочки, колючие. Помню, в детстве я ловила их ртом, а мама ругалась.

Тропинка уводит от крепости, от придуманной сказки. Уже виден корпус, но так не хочется прощаться. С ним можно говорить обо всем, и он думает как я. Он не приемлет полумеры, для него или герой, или предатель, или правда, или ложь, а третьего ведь не дано.

Он провожает меня, говорит «Увидимся», жмет мне руки. Я вспоминаю про рукавицы, хочу ему отдать, но он не берет.

– У меня нет с собой книг, чтобы подарить. Возьмите их как подарок, они теплые и будут вас греть.

Навстречу идет дворник.

– Аркадий Петрович, к вам жена. Уже давно ждет, – он указывает на лавочку, на которой сидит немолодая, но красивая женщина в пальто с меховым воротником и аккуратном беретике.

Я ухожу незаметно, не сказав ни слова. Он идет к ней. Никого нет, и я нарочно долго стою при входе и слышу их разговор.

– Зачем ты играл с этой девочкой в снежки?

– Зачем ты приехала?

– Как зачем? Хотела тебя повидать.

– Повидать алкоголика, у которого белая горячка?

– А что, лучше арест? Расстрел?

– Для меня лучше!

И будто смягчившись, жалея, что нагрубил, он обнимает ее за плечи.

– Прости, я никого не хочу видеть сейчас.

Он уходит по дороге, на ходу доставая трубку.

* * *

В комнате я раскладываю рукавицы и долго смотрю на них, снежинки тают, превращаются в капельки. На столе письмо от мамы, должно быть, опередило мое.

Дорогая доченька!

Мне разрешили тебя забрать домой. Ты сможешь сдать экзамены с ребятами и готовиться к поступлению

*в институт. Все будет хорошо. Мы со всем справимся вместе.
Не упрямся.*

На днях буду.

Люблю, целую, мама.

Я сваливаюсь на кровать в одежде. Мамочка, как я соскучилась, и как не хочу уезжать. Мы больше не увидимся, и писать не выйдет, а мне так нужно говорить с ним, хоть иногда говорить.

* * *

Я не видела его весь день и страшно мучаюсь, боюсь, что мама придет внезапно и мы не успеем попрощаться. День тянется безмерно долго. Я хожу целый день вокруг, обхожу весь лес, но его нигде нет.

Уже совсем стемнело, зажглись фонари, на елке каркает ворона. Так горько, что его нет, я уже хочу уйти и вдруг слышу такое знакомое:

– Таня! Танечка!

Я оборачиваюсь, он бежит, запыхавшись, вязнет в сугробах, он в распахнутой телогрейке, наспех накинутом шарфе, без шапки.

Мы садимся на заснеженную лавочку под фонарем.

– Я вас искала. Я завтра уезжаю домой. И мне нужно столько вам сказать...

Он прикладывает палец к губам.

– Не надо ничего говорить.

И вдруг запекает:

Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!

Вот и улетели в дальний путь.

Вы когда вернетесь?

Я не знаю, скоро ли,

Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.

– Но мы больше не увидимся, – испуганно говорю я.

– Кто вам сказал? Обязательно увидимся!

– Но вы ведь даже не знаете моего адреса.

– Как не знаю? Знаю. Тверской бульвар, 25, Литературный институт имени Горького. Адрес точный?

– А если меня не примут?

– Примут. Обязательно примут.

Он вдруг встает и целует мне руки, прямо через рукавицы, пожимает и говорит:

– Танечка, я не прощаюсь.

Я долго сижу на кровати не раздеваясь и вдруг засыпаю прямо в одежде, от усталости. Просыпаюсь уже поздней ночью и больше не сплю. Хочу написать рассказ о нем, хочу написать о самом главном, но ничего не выходит, не знаю, как передать, как рассказать, чтобы все поняли...

Мама приехала рано утром. Мы быстро собрали вещи, пару книг, тетрадок, белье, что-то из одежды, собирать особенно нечего.

Я выплянула в окно, на чистом листе снега большими буквами:

«Танечка, будь счастлива!».

Мама смотрит удивленно, будто догадываясь. Хочет спросить, но не решается. А я делаю вид, что это не мне. Я ведь Зоя, и никто не знает,

что Таня. Молчу и я так счастлива, что мне хочется бесконечно благодарить Бога.

* * *

Первые дни дома было так хорошо, спокойно. Мама уходила на работу, Шурка на занятия. Я убирала, готовила, мыла полы, будет и от меня какая-то польза, потом писала, хотела написать рассказ о нем, но решила начать с самого детства, рассказать о бабушке, о деде, пусть будет как дневник, пусть будет как у Горького, мои университеты, а вечером помогала Шурику с чертежами. Пока меня не было, он скопил денег мне на платье, он у нас замечательный, очень добрый, раньше мы ссорились, бывало, и подраться могли, оба упрямые, а теперь все иначе. Он говорит: «Ты стала какая-то другая!»

– Какая другая, что ты, такая же, как и была.

Шурик мотает головой, он все чувствует, все понимает, но ему не объяснить, я, наверное, никому не смогу сейчас объяснить. Он догадывается, что я влюбилась, и больше ничего. Но это ведь другое, это больше... Влюбилась я, когда читала его книги, а теперь он... как родная душа... Разве обязательно нужны слова? Есть вещи, которые надо понимать без слов и которые будет знать только он и я, и больше никто.

Когда я сказала, что видела А. Г., мама с Шуриком очень удивились, расспрашивали, о чем мы говорили. И я сказала, что спрашивала его о счастье. Он ответил, что есть два счастья: одно большое общечеловеческое, за которое не жалко умереть, ради которого стоит бороться, а другое – личное счастье, оно для каждого свое. Но честный человек не может быть счастлив, когда другие несчастны. Поэтому герои – это такие люди, для которых общее человеческое счастье важнее своего личного. Он не говорил мне этого, но он так писал и я знаю, что он так думает и теперь. Мама с Шуриком покивали, сказали, что А. Г. все правильно говорит. И больше о нем не спрашивали.

Мы купили мне красное платье в черный мелкий горох. Мне непременно хотелось красное. Шурик сказал, что мне очень идет, и мама тоже. Когда никого не было, я мерила его, распускала волосы, они сильно отрасли и рассыпались темными волнами по плечам. Я вставала на носочки и кружилась в вальсе, будто бы он меня пригласил. И я видела его глаза, счастливые, как у ребенка в хороводе на елке. Он смотрел на меня как на чудо, и со мной он словно становился опять восемнадцатилетним, и тогда ему казалось, что он может все поправить, прожить иначе, что нет груза тех лет, нет войны и убийств. Он будто не прожил совсем свое детство, будто пропустил его и сразу стал взрослым, стал воевать, а в душе так и остался ребенком, тем самым мальчишкой, у него даже ямочки на щеках и глаза все время смеются. Я разгадала его сразу. И он понял без слов, он все понимает, и мы кружимся в вальсе, будто никого и ничего нет, только мы.

Шурик вошел внезапно, я не услышала.

– Какая ты красивая! Иди так на выпускной!

Я покраснела, сливаясь с платьем. Ужасно стыдно, засела за уроки.

Весна пролетела в учебе, подготовке к экзаменам. Я упрямая, сидела и день и ночь. Ира робко предлагала помощь, но знала, что я все хочу сама. Шурик даже и не совался, говорил, что толку предлагать, ты же упрямая как осел, лоб расшибешь. С алгеброй и физикой было тяжелее

всего. Перечитывала по сто тысяч раз, и казалось, все равно не понимаю, тогда я вставала, ходила по комнате, а потом опять и опять.

В классе мне все неожиданно обрадовались, и даже никто не называл меня сумасшедшей, как раньше. Ира по уши влюбилась в Петьку. А я говорю, как можно влюбиться в человека, которого не уважаешь, он же двоечник, на контрольных списывает, помешан на своем аэроклубе, больше ему ничего не интересно. А Ира только отмахивается от меня, как от надоевшей мухи:

– У тебя всегда все правильно, скучно даже, но ведь любят не за это... Как тебе объяснить? Вот полюбишь – поймешь.

А про А. Г. она не верит, говорит, что мне не стоит об этом думать, что я идеалистка и напридумывала там себе, что надо спускаться на землю. Я даже обиделась на нее за это, мы целую неделю не разговаривали, а потом занимались как ни в чем не бывало, но уже не так как раньше. Я подружилась с Ниной, она не из нашего класса, но она думает, как я, и понимает, нечего мечтать о любви и личном счастье, пока не сделал что-то стоящее для всех, для всего человечества, пока не заслужил уважения... Как можно радоваться, когда в мире еще столько горя. Нет, нельзя.

* * *

Я стою у окна и заплетаю косу. На улице солнце сжигает снег, все течет, и пахнет весной упоенный сладкий воздух. Ребятишки кричат, пускают кораблики.

А я все вспоминаю наш теплый мягкий снег, укутанные деревья, засыпанные домики, сугробы ростом с меня. А снег все идет, сыплется белоснежным конфетти, оборачивает белым серпантинном. И мне тепло оттого, что он рядом и смотрит своими светлыми голубыми глазами. Интересно, бывают ли у него веснушки? Мне отчего-то кажется, что непременно бывают, что солнышко тоже любит его. Мне его так не хватает.

Я читаю его книги, и он как будто говорит со мной, но это другое. Я знаю, что книги лучше оставить на долгое потом, когда вдруг... мне страшно сказать... вдруг его не станет, и я не смогу пережить, он будет там, в книгах, для меня, всегда. Я почему-то очень боюсь, что с ним что-то случится. Какое-то дурацкое предчувствие не дает покоя. И так тревожно на душе. Он говорил, что будет война. Нет, они не посмеют, они обещали, клялись. Нет. Не верю. Не может быть такой подлости, это несправедливо.

Как же он там? Выписали ли его? Я каждый день смотрю и мою «Пионерку», и большую «Правду», и другие газеты-журналы. От него – ничего, и о нем – ничего.

Шурик окликает меня, пора идти в школу, оказывается, я уже около часа так стою.

– Ты всегда была задумчивая, но теперь ты как будто в другом каком-то мире...

Я отмахиваюсь:

– В каком другом? Все в том же, в нашем советском, не придумывай. Пойдем, а то опоздаем.

Я хватаю портфель, завтракать уже некогда, да мне и не хочется.

Шурик беспокоится, шепчет маме, что со мной что-то не то, думает, я не слышу. Но мама успокаивает его, говорит, это после болезни.

* * *

Весной мы всей школой сажали деревья, яблони и липы. Это такая радость, которую и сравнить не с чем. Я посадила липу, моя липа третья справа. Хочу посадить много-много деревьев, они будут расти вместе со мной и когда-нибудь, когда меня уже не будет, они будут жить, цвести, будут радовать других, давать тень в жару, очищать воздух, они будут жить долго-долго, будут большие, зеленые и красивые.

Дерево – это как человек, только живет дольше, но все чувствует, дышит. Я так любила в деревне ходить в лес. Шурик смеялся надо мной, говорил, ну вот сейчас опять с деревьями обниматься начнет, пока всех не обнимет, домой не пойдет. Один раз мы ходили с дедом на охоту, он учил Шурика стрелять уток. Я не дала. Жалко отчего-то стало. Она же летит беззащитная. Они сказали, что я мягкотелая и больше они меня не возьмут. Но стреляю-то я лучше Шурика, ходила с ним в тир, и в кружке меня хвалили. Только зачем по уткам, зачем по живым, не понимаю.

На субботник к нам приходил корреспондент из газеты. Такой смешной, длинный-длинный, как дядя Степа, и в очках. Оказалось, это Лев Кассиль. Я читала его «Письма из Москвы», люблю его «Швамбранию». Но я всегда представляла его каким-то другим, важным, серьезным. А он такой веселый, простой. И должно быть, он знает А. Г. Когда он уже уходил, я догнала его и спросила про него. А он как будто понял все без слов.

– Вы, должно быть, Таня? И собираетесь поступать в Литературный институт?

– Откуда вы знаете?

– Корреспонденты все знают. Приходите осенью к нам в газету, найдем вам дело.

– Спасибо.

Кассиль ушел, улыбаясь и что-то насвистывая.

Значит с ним все в порядке, значит все правда. И это было второе огромное счастье в этот день.

Корреспондент газеты – как же это здорово, можно много ездить, писать про людей, писать о хорошем и всех делать счастливыми, и защищать тех, кого обидели. Это лучше всего.

Я ходила на Тверской бульвар, подходила к дому Герцена. Мимо неслись ребята на занятия. А я стояла и смотрела. Мне так хорошо там во дворе, странное такое чувство, как будто это мое родное, будто это что-то близкое. Как же объяснить?

– Эй, ты чего... Опаздываешь? – крикнул какой-то нескладный кудрявый парень, пролетая мимо.

Я мотнула головой:

– Я только собираюсь поступать, в следующем году.

– А-а, – понимающе кивнул он. – А что пишешь?

Я пожала плечами:

– Пока не знаю.

Он крикнул:

– Если стихи – иди к Антокольскому... – крикнул и убежал, будто его и не было.

А вдруг он уже известный писатель или поэт, они пробегают мимо, а я никого из них не знаю, не узнаю. Я все стояла в растерянности и задумчивости. И вдруг кто-то схватил меня за руку.

– Ты откуда? Новенькая?

Спросила веселая маленькая девушка, она была на каблуках, но все равно казалась маленькой и хрупкой, как статуэтка в музыкальной шкапулке, голос ее звенел колокольчиком. Рядом стоял высокий молодой человек с ясными светлыми глазами и слегка взъерошенными темными волосами.

– Я Нина. А это вот Сережа. Ты приходи к нам в гости, у нас весело...

Сережа нетерпеливо дернул ее за рукав:

– Нинка, пойдем, опоздаем, Славка ругаться будет.

И они так же легко ушли, как и появились.

А я все смотрела на желтый красивый домик с белыми колоннами. Воробей купался в луже, и было так тепло и безветренно.

* * *

В субботу был выпускной бал в школе. Какие они все невероятно красивые, и девочки, и мальчики, у них светятся лица, они краснеют, волнуются, но так искренне, все мысли на лице.

Я не хотела идти, это же не наш бал, Шурик с Ирккой подбили. Говорят, надо посмотреть и в следующем году сделать еще лучше. Да разве можно лучше? Столько цветов кругом: сирень, розы... Мне хочется все понюхать. Играет вальс, и все кружатся. Вася приглашает меня, он комсомолец, и Шурка говорит, что давно в меня влюблен. Глупо. Он ведь совсем меня не знает, и подойти боится, только смотрит, краснеет и на собраниях рядом садится. Мне его жалко очень. Но я не танцую. Прости меня. Я танцую только с ним. Пусть в мечтах, но только с ним. Может, когда-нибудь он пригласит меня, я буду ждать хоть всю жизнь.

Шурик позорит меня за Васю, Вася ведь положительный, хороший, зачем я так с ним. А я ему так серьезно и важно говорю, что рано еще думать о таких глупостях, надо выучиться, состояться, пойти работать, а уж потом... И он мне верит, слушает кивает, а сам на обороте тетрадки рисует Наташу из параллельного класса. Она зовет его танцевать, а он краснеет и ни в какую, она чуть ли не за руку его тащит, а Шурик стоит как вкопанный, и ведь все знают, что она ему нравится. Смешной упрямый дурачок. Я уговариваю его потанцевать, но он такой гордый, ни за что. Говорит, сама-то что не танцуешь... Уходит обиженный.

Ира счастливая, весь вечер протанцевала со своим любимым Петькой. Мы встаем в круг. И мне хочется их всех обнять, каждого по очереди и пожелать им самого... Почему-то кажется, что больше не увидимся, наверное, потому что многие поступят в институты, уедут, женятся, и, может, им уже некогда будет прийти в родную школу. Начнется новая, взрослая жизнь. Еще чуть-чуть – и у меня. Столько еще всего впереди, сердце вздрагивает. Кажется, стоишь перед чем-то необъятным, новым, неизвестным. И вот-вот канешь туда. Упадешь или полетишь?

Вечер был теплый, светлый. То тут, то там звенела гитара, смеялись, гуляли компаниями, сегодня у всех выпускные. Совсем не хотелось идти домой. Гуляли с Ирккой до рассвета. Нам подарили шарики, целую связку, совсем как я мечтала в детстве.

Мои все спали, когда я пришла. У мамы наутро экзамены. Я открыла окно и дышала. Шурик бормотал сквозь сон: «Закрой, комаров напустишь!» Я не боюсь комаров, пусть кусают, им ведь тоже надо жить. Помню, Шурика в детстве кусали. Я говорю: «Убей, на руке». А он так просто отвечает: «Она же мама, ей деток кормить надо, пусть пьет, мне

не жалко». Терпел, не убивал. Теперь и не помнит. Кажется, совсем недавно было.

Бесконечное поле на рассвете, с блестящими капельками росы. Я бегу по нему босиком, ноги мокрые, но солнце уже греет, сушит, слизывает испарину с поля. Отец точит косу. Я помогаю ему, складываю скошенную траву. Рассматриваю муравейник, какие трудяги, собираю цветы, играю. А после обеда отец читает мне Библию. Мне нравится про Соломона и всяких царей, а про Христа грустно, и я говорю отцу, не надо, не читай, его замучают и убьют. А он отвечает, глупенькая, это ведь к радости, это спасение всем нам. Христос так возлюбил людей, что отдал жизнь за их грехи, это его победа, победа над злом, спасение для всех, бессмертие. Он ведь доказал: с Богом человек может победить, со всем может справиться. Муки его за других людей, и это счастье.

Я смотрю в окно. Соловей скачет с ветки на ветку, запекает свою песню, откуда он здесь? Духота сменяется предрассветной свежестью, пахнет сиренью, травой, летом. Засыпаю сидя.

22 июня 1941 года

Утро радостное, неспешное. Солнце припекает через окно. Я мою посуду, Шурик что-то мастерит. Вот примет мама экзамены, и, может, все вместе поедет в деревню. Я так соскучилась по бабушке, так хочется туда, купаться, на речку. Буду писать там и читать, много-много всего, у меня уже целый список. Сегодня пойдем с Иркочкой в библиотеку и наберем книжек.

И вдруг, как гром, заговорило радио. Я вздрогнула от неожиданности. Это Молотов. Это война. Я посмотрела на Шурика, вдруг я услышала или показалось, но нет, он тоже это слышал. Что же это? Этого ведь не может быть. Было непонятно, что делать, куда бежать. Молотов уже закончил говорить, а мы с Шуриком все еще стояли как вкопанные, не веря, надеясь, что это все неправда, может, не поняли, может, послышалось.

Вошла мама. Она, вероятно, не слышала, не поняла, что с нами.

– Что случилось?

– Война, мама, война! – радостно заорал Шурик. – Теперь-то мы им покажем! – Он выскочил во двор.

У мамы будто подкосились ноги, и она плюхнулась на стул. Я обняла ее, и мне все еще не верилось, не могла сказать ни слова. Германия напала на нас. Гитлер. Перешли границу, открыли огонь. Это же невозможно, нечестно... Все никак не укладывалось в голову. Что теперь делать? Что теперь будет?

Теперь все пойдет по-другому. Вся жизнь изменится.

* * *

День выдался шумным и непонятным. Пошла к Ире, ее нет, кругом неразбериха, люди с вещами, толкотня, очереди километровые за всем. С трудом нашла Иру и Нину. Побежали в военкомат, просидели в очереди до обеда. И ничего. Везде: «Ждите, если надо будет, вас позвуют». А старших брали: мальчишек в разведчики, а девочек в санитарки. Так обидно, ведь всего год разница. Вот бы скорей сентябрь, и мне будет

восемнадцать. Ходили в райком, в отделение Красного Креста, в больницу и поликлинику. И везде тоже. Очень много людей, и никто не поймет, что делать.

Домой я пришла под вечер, сил разговаривать не было совсем, поела и сразу уснула. Наутро с девочками опять пойдем ходить.

Но всюду одно и то же: «Вы еще маленькие». Так горько от этой бестолковости. Почему? Я должна попасть на фронт, должна справиться, как можно жить и ничего не делать. С досады не заметила, как искусала губу в кровь.

Сводки ужасающие. А я здесь. Я ведь умею стрелять, могу бороться, я сильная. Сейчас так злит это бездействие. Совершенно не могу сидеть, давит, как тонна железа, кажется, ничего не получается. А время уходит, и злюсь сама на себя, еще один день оторвался от календаря.

* * *

Появилось хоть какое-то дело, маскировка. Таскаем песок, наливаем бочки, роем щель во дворе. Москва на военном положении. Витрины заставили песком, вводят карточки, на улице почти никого. Весь город словно переделся в военную одежду, помрачнел, встал часовым.

Мама достала иконы: «Богородицу» и мою «Зоя Римскую». Я смотрю на ее лицо, и мне почему-то кажется, мы похожи, она такая строгая, а взгляд ласковый. Бабушка подарила ее мне на Крестины, когда я только родилась, а дедушки уже не было, его замучили и убили. Отец мало рассказывал, но я и так знаю, в больнице и в райкоме всякий раз спрашивали.

Помню, в детстве я все допытывалась у отца, кто эта тетья. А он говорил, у каждого есть свой святой, в честь которого его назвали и крестили. У тебя Зоя, она жила давно и пострадала за Христа, ее повесили. Ты ее проси о помощи, когда трудно, и она тебе поможет. Только пусть это будет тайна, наша с тобой, и ты – никому. Я кивала, и он знал, что не выдам. Шурке он не говорил, Шурка бы проболтался, а мне верил.

«Дорогой Бог, если ты можешь помочь сейчас всем нам, то, пожалуйста, помоги! Спаси Москву! Помоги победить!

Зоя, помоги мне попасть на фронт! Помоги мне сделать, что я должна, сделать что-то стоящее, хорошее, нужное...»

Папа когда-то учил молитвам, но я не помню ни одной, он только говорил, что молиться надо искренне, от сердца, тогда Бог услышит. И я молилась, как умела.

Становилось все тяжелее. Каждый день кто-нибудь из знакомых уходил на фронт. Сначала из нашего дома ушли все взрослые, а потом мальчишки, ребята, которые только кончили школу, учились в институте, потом Славка мой двоюродный брат, сын тети Оли, маминой сестры. А первого июля мы проводили Шурку, он все держал в секрете, не говорил, куда едет. И стеснялся нас, когда мы его провожали. Завидую ему ужасно, он ведь младше. Я бы тоже могла. Почему же его взяли, а меня нет, будто я совсем непригодная. Расплакалась. А у мамы только одно утешение: «Ты же девочка! Ты и так помогаешь! Девочки не воюют». А я не девочка, я боец, не хочу быть никакой девочкой. Вчера взяла ножницы и отрезала косу. Мама только ахнула. Жалко, столько растила. А мне не жалко. Теперь война, и девочки идут воевать, и будут воевать не хуже, потому что все мы в беде. А волосы новые отрастут, вот только с короткими неудобно, лезут в лицо, и не соберешь их, непривычно,

еще и вьются, укладываются волнами, противно, все думают, я их специально накручиваю. Распрямляю руками, а им все равно.

Шурик уже неделю там, а мы с мамой сидим тут и шьем вещмешки для фронта. Она говорит, это тоже дело. Но какое же это дело? Когда немцы уже подходят к Москве.

Тишина страшная, мучительное ожидание, и только плохие вести, только горестные, и каждый день плач в коридоре. Уже пришли первые похоронки. И с каждым днем все тревожнее.

Они уже погибли, отдали свою жизнь, сделали все, что смогли. А я? Стыдно сидеть и смотреть! Я ведь могу стрелять, могу помочь...

Немцы расстреливают младенцев, убивают и зверски мучают детей, женщин и стариков, издеваются, загоняют людей в душегубки, гноят в плену, крушат наши дома, топчут нашу землю. Как же можно сидеть и смотреть? Как можно слушать об этом по радио и ничего не делать? Читать в газетах и молчать, сидеть здесь?

Меня ужасно мучает это. Каждое сообщение отдается болью где-то внутри, будто в меня втыкают нож. Лучше умереть вместе с ними, отдать всю кровь до последней капли, бить этих гадов до последнего вздоха, собрать все силы, сейчас надо собрать все силы, чтобы спасти родных, детей, стариков, наш дом, Родину. Нужно быть всем вместе и нужно быть решительнее, сильнее, строже. Надо верить и в Бога, и в самих себя. Тогда мы победим. Мы обязательно выстоим.

* * *

День тянется невыносимо. Я иду по пустой улице. И вдруг у парка вижу такой знакомой силуэт с трубкой. Только теперь он в военной форме и волосы пострижены коротко, а глаза все те же, и он все тот же. Не верю, не помню себя от радости.

— Танечка, какое счастье, что я вас встретил. Я почему-то знал, что встречу вас. Мне обязательно нужно было вас увидеть. Я завтра уезжаю военным корреспондентом на фронт.

Я посмотрела ему в глаза и все поняла.

— Это ведь неправда. Вы едете воевать.

Он виновато опустил голову, а потом пристально взглянул на меня.

— А что, вы бы простили меня, если бы я не поехал? Вы бы смогли любить меня, если бы я остался...

И не дожидаясь ответа, сам ответил за меня.

— Нет. Я бы и сам себе никогда не простил.

Я улыбаюсь наивно и чувствую слезинки на ресницах.

— Я бы любила, я бы все равно любила и... я бы простила.

— Теперь война и все летит в тартарары. Главное — выстоять, главное — победа. Но я ведь буду писать, буду бить их и словом, я обещаю вам. Теперь я могу писать правду, писать от души, теперь можно говорить искренне.

— Я буду смотреть все газеты, буду ждать ваших статей. И если они будут выходить, я буду знать, что с вами все в порядке.

Он взял мои руки в свои, как тогда в лесу, и опять заглянул мне в глаза.

— Танечка, за меня переживать не надо. Берегите себя. Я знаю, что уговоры бесполезны. И, что бы я сейчас ни сказал, вы все равно будете проситься на фронт. И я ничего не могу сделать, от этого мне страшно и горько. Мне не сберечь вас, но, может быть, смогу поддержать.

Ничего не бойтесь, вы сами говорили, что Бог есть, и, если будет совсем трудно, просите его. Вас он услышит, вам он должен помочь. Потому что только он может...

Он смотрел на меня встревоженно, своими детскими чистыми голубыми глазами, и мне ужасно хотелось обнять его, но не могла и шевельнуться. Он поцеловал мне руки.

– Прощайте, Танечка! Душой я всегда буду с вами! Вы самая необыкновенная девушка из всех, что я знаю!

Он уходил, и мы никак не могли разжать рук. Он ускользал, исчезал, он уходил навсегда, а я не могла его удержать и никто бы не смог. Он отдалялся медленно, махал мне рукой, и я, только когда пришла домой, заметила, что вся в слезах, а они все текут и текут, как реки.

* * *

Наутро приехал Шурик. Мы так же сидели с мамой и шили, и каждую секунду прислушивались к радио. А он вдруг вошел в комнату как ни в чем не бывало. Он был на оборонительных работах и стал такой решительный, будто повзрослел и перегнал меня. Теперь он отвечает за нашу семью, не я. Может, это и правильно.

– Зоя, завтра пойдем устраиваться на завод. Будем обтачивать снаряды.

Я только кивнула и бросилась его обнимать с порога. А мама плакала. Мы уже и не надеялись увидеть его так скоро, а больше всего боялись вообще не увидеть.

В этот же день на город посыпались первые бомбы. Завыли, заорали дурняком сирены. Никогда никому не передать этот вой, этот жуткий крик, ужасный плач. Теперь он слышен каждый день, по нескольку раз. «Граждане воздушная тревога... Воздушная тревога...» Потом мне все время будет слышаться этот вой, будет сниться, и я буду просыпаться в холодном поту, бежать на крышу по привычке, чтобы тушить бомбы, отправлять маму в укрытие, и вздрагивать от рева самолетов. Но этот вой не передать, не перепутать ни с чем и никогда не забыть.

Ужасно хочется спать, но спать не могу совсем, даже когда выдается немного времени, немцы изводят налетами. Мы с Шуриком обтачиваем снаряды. У него получается лучше. А мне никак не сосредоточиться. С тех пор как А. Г. уехал, еще не было ни одной статьи. Как же я жду их! Мне кажется, я дышу вместе с ним, не будет его – не станет меня.

Я стараюсь побороть себя, сейчас нет места личному горю, оно одно общее, и надо сплотиться всем вместе, быть добрыми против фашистского зла, быть справедливыми против их подлости и лжи. Вчера говорила с Ирой, ее хотят отправить в эвакуацию, она не хочет ехать, сказала, что останется здесь и будет защищать город, даже если придется умереть, у ее мамы случился сердечный приступ. Мы все сейчас готовы умереть, разве можно жалеть свою жизнь, когда убивают дорогих и любимых. Зачем мне такая жизнь?

Когда мы копали щель, Семен Петрович пожалел досок. Я пошла и сказала ему: «Ты не человек, ты тире между датами». Он удивился:

– Почему?

– Потому что, когда ты умрешь, после тебя останутся только две даты и тире между ними.

Он вышел и ни говоря ни слова принес доски. Все спрашивали, что же я ему такое сказала? Как убедила его, такого вредного и эгоистично-

го? Я никому не рассказывала. Но мне вдруг подумалось теперь, будет ли кто-нибудь помнить мое имя? Будет ли оно стоить того, чтобы его помнили? Этот вопрос все время мучает меня, пока я здесь, а многие наши ребята уже на фронте, уже воюют. Надо что-то делать. Нельзя больше ждать. Ведь, если хотеть и верить, все получится.

Какое было необыкновенное чудо, как вдруг я услышала по радио его голос. Он говорил, что потом мы будем вспоминать это время с гордостью, что надо бороться, вставать на защиту Родины, поздравлял всех школьников с началом учебного года. И показалось, только мне опять сказал о том, что надо помогать на заводах, ухаживать за ранеными... Будто он знал мою печаль, будто пытался меня утешить, что я в тылу, и будто надеялся, что я соглашусь, что останусь дома, хотя и знал, что надежды нет. Это была запись, он вновь уехал на фронт. Но ведь несколько часов он был здесь, почти рядом, и я слышала его самый родной голос, и, значит, есть силы, вставать и идти, верить и бороться, победить.

Школу так и не открыли, в ней теперь воинская часть, занятий не было, и мы уже и не надеялись. И вдруг неожиданно позвали, собрали всех, кто остался, мобилизуют школьников на уборку урожая в совхоз. Я еду, с завода отпустили легко, а Шурик остается работать.

После бесконечного воя и плача московских сирен, страшного пути по обстреливаемой непрерывно железной дороге подмосковный осенний лес кажется целым миром, кажется бесконечной тишиной, где слышен каждый шорох и звук, где мы все вместе, и, кажется, нет войны, она осталась где-то там.

Холодно, у нас многие в туфельках и ботиночках, не догадались взять калош. Промозглая осень, льет серый дождь, то расходится, то моросит, руки все время в земле. Мы плохо выполняем план, и местные на нас ругаются. Спим в сараях, кормят хоть и вкусно, но мало, два или один раз, как получится.

Меня раздражают ребята, особенно мальчишки, они как будто сдались перед холодом, ничего не хотят делать, вытаскивают по одной картошине сверху. Вот дураки, ведь чем скорее уберем все, тем скорее уедем, да и будет еда, ведь говорят, что впереди страшный голод, если будет осада...

Я отделилась от всех, сказала, что буду сама копать свою грядку и выполню план за всех. Ребята только фыркнули:

– Ну и пожалуйста, давай-давай...

Они думают, я нарочно от них отгораживаюсь, будто я вся идеальная, а они – нет. Но ведь неправда. Одна только Нина за меня заступалась. А потом спросила, в чем дело, а когда я ей рассказала, что они неправильно копают, она меня тоже ругала:

– Что же ты промолчала? Они же московские, никогда картошки не копали, откуда им знать, как правильно. Нельзя так отъединяться, все на себя брать, надо было объяснить.

Может, она и права, может, я слишком строгая, нетерпеливая, может, всех меряю по себе. Но ведь ты либо делаешь, либо нет, нельзя делать наполовину. И А. Г. так думает. Не понимаю, не могу этого принять. Что толку объяснять, заставлять их работать, если они не хотят. Мне как белой вороне больше всех надо. А они словно бы не понимают, жалеют себя, переживают из-за какой-то ерунды... Мне так тяжело... Как объяснить, что война, что нельзя никого жалеть, что будет только хуже.

Немцы наступают, они все ближе. Положение отчаянное. Все боятся спрашивать, боятся говорить. Только напряженно прислушиваются к сводкам, затаив дыхание, ждут и молятся, а слухи ходят страшные, ужасающие. Но в них не хочется верить, в них нельзя верить.

* * *

Мы вернулись. И дома ждала радость. В журнале его новый рассказ-сказка. Он написал его еще до войны, но он будто говорил со мной через него, я словно слышала его ровный уверенный низкий голос. Он говорил мне: «Я не смогу написать вам больше трех слов. Но это должны быть такие слова, чтобы в них вместились книга». А мне показалось, что в этот рассказ вместились вся наша жизнь, которой у нас никогда не будет.

Как не хватает его сейчас, даже если бы он не говорил, а просто посмотрел на меня, как раньше, мне передались бы его уверенность, его спокойствие, его правда.

Он бы понял меня, он ведь тоже пытался, за правду, за идеал. Ира тогда говорила, что мы оба максималисты и стоим друг друга, но никто не захочет, чтобы от него столько требовали, ты не щадишь себя и не щадишь других. Это неправильно, нельзя подходить к людям со своей меркой, будь требовательна к себе, а другие пусть сами разбираются, пусть берут с тебя пример, если захотят, бесполезно заставлять. Я обижалась на нее за эти слова, но сейчас мне кажется, она, наверное, была права. Не надо требовать, надо просто любить их всех, думать, что им тяжелее, чем мне, откуда мне знать, что у них на душе...

И у него, вероятно, тоже, и ему будет тяжело, хоть это и армия, но пусть бы и он любил больше, чем требовал от них. Наверное, он уже понял, уже догадался, и у него болит сердце за всех. И он пытается говорить честно, пытается поддержать, подбодрить, он не ругается ни на кого, как я.

Мама утешала:

– Просто вы все там промокли, устали, поехали в неподходящей обуви, не приспособились. Это ты у меня сильная, со всем справишься, ты столько у меня уже преодолела, что тебе эта картошка. Не переживай, время все расставит по местам, все сгладит. И это забудется, столько еще впереди всего.

Значит, надо своим примером, как А. Г., бороться самой, и другие увидят, и все возьмут оружие, и никто не будет жалеть своей жизни, может, потом, когда мы победим и наступит прекрасная, самая счастливая жизнь, о нас будут вспоминать, но не будут жалеть, не надо нас жалеть, нам выпал шанс бороться и доказать, что чего-то мы стоим. Пусть помнят, но не жалеют, ведь мы не жалели, мы знали, что этого стоит, а счастливую жизнь, может, кто-то за нас проживет. А мы будем радоваться оттуда. Отец ведь говорил, что смерти нет, что Бог ждет всех и всем все прощает, и что там лучше, там хорошо и спокойно. Вот только мама... Ее мне жалко, жалко очень, но, может, она поймет, что теперь такое безжалостное время и что жизнь на земле, как говорил папа, это ведь только подготовка к настоящей жизни и что все мы там встретимся.

Я сказала маме, что пойду на курсы медсестер, она, должно быть, поверила, больше не спрашивала, хоть я и видела, что волновалась, смотрела с тревогой на нас с Шуриком, будто все понимая наперед.

У бывшего кинотеатра теперь столько народу, больше тысячи, наверное, ни одна картина не собирала столько зрителей. Только кино здесь больше не показывают. Да и мы не зрители, мы пришли, чтобы умереть за свою Родину. Тут мальчишки и девчонки, девчонок больше, конечно. И все мы хотим попасть на фронт, стать разведчиками. Но берут не всех, и оттого тревожно. Но мы стоим целый день, никуда не уходим. Стоим в полном молчании, лишь изредка эхом прокатывается шепот: «А какие нужны документы?», «А если отец по 58-й статье, возьмут?», «А если нет восемнадцати?»...

И мне страшно, что скажут про деда и отца, что не возьмут с такой анкетой, но я буду стоять до конца, до самой глубокой ночи, я умру здесь, если нужно, только бы меня взяли, я уговорю их, не отступлюсь, они должны меня взять.

Вопросов мне задавали немного, только самое обычное: умею ли стрелять, прыгать с парашютом и прочее-прочее... Командир ходил по комнате, сам спрашивал и сам заглядывал мне в глаза. А я прятала руки, чтобы не подумал, что волнуюсь. И самый последний вопрос был, готова ли я умереть. И я, не раздумывая, выпалила: «Да». Он не удивился, все отвечали так же, только кивнул, взял у стенографистки текст и что-то отметил для себя, сказал: «Спасибо, ждите, мы с вами свяжемся».

И только когда вышла, узнала от ребят, что это значит точное нет. Я слышала через дверь: «дед – священник», «нет, мы не можем...» Как выстрел в спину. Но я не уйду, останусь до самого конца, буду сидеть здесь хоть всю ночь, нельзя сдаваться.

Шурик вчера сказал: «Воевать должны мужчины». Я вспыхнула: «А что мы – должны смотреть, как вас убивают, как убивают детей?!» Нет, мы тоже должны воевать, отомстить им за все зло, выгнать их с нашей земли. Для этого ничего не жалко и умереть не жалко.

Мама Шурику вторит. А я говорю:

– Мама, они напали без предупреждения, это подло, они клялись в дружбе, а сами предали.

– Зоинька, успокойся.

– Нет. Мы отомстим, обязательно, за все, за убийства и издевательства. Или ты забыла, что погиб Славка, что пришла похоронка на Сережку, а он ведь только школу кончил, забыла, как плакала женщина в бомбоубежище, у которой танком раздавили ребенка? Я ненавижу их, мама. Я буду их убивать, у меня не дрогнет рука!

Они никак меня не могли успокоить, а мне все хотелось доказать им, объяснить, казалось, они не понимают. Шурка смеется надо мной, говорит, это глупо, шапкозакидательство, но я добьюсь, докажу ему, я не сдамся, я выстою.

Я просидела под дверью кабинета до самого вечера, оставалось уже совсем немного. Вдруг из кабинета выскочила девушка, худенькая, стройненькая, как куколка, и я тотчас же узнала ее. Я видела ее возле Литературного института, она тогда смеялась и звала в гости. Нина, точно Нина. Она присела на подоконник и разрыдалась.

– Нина, здравствуйте, что с вами?

Она на минуточку успокоилась и удивленно посмотрела на меня.

– Откуда вы меня знаете?

– Мы виделись около Литературного института весной. Не помните?

Она помотала головой и снова заплакала.

– Что случилось?

– Понимаете... Я... Меня уже взяли... И тут вдруг... беременность... как гром... Сережа на фронте, и я должна быть там... И вдруг... Что мне теперь делать?

Я обняла ее, она была такая маленькая, тоненькая, что было совершенно непонятно, как в ней может помещаться ребенок.

– Не плачь, мне кажется, у тебя будет девочка. Красивая, красивая, как ты, и смелая, как папа. Если б у меня был ребенок от любимого человека, я была бы счастлива.

Я не знаю, почему я так сказала. Я тогда не могла знать, что будет девочка, красивая и добрая, и что назовут ее Олечкой, и она будет писать, писать очень хорошие стихи, может быть, за меня, а может быть, за отца. Еще не родившись, она спасла свою маму от фашистов, от страшной смерти, а может, просто Бог уже знал, что это буду я, и никто другой не сможет пройти мою судьбу.

В одиннадцатом часу вышел командир, посмотрел на меня и удивился.

Я встала и сказала:

– Вы должны меня взять! Я не уйду, пока вы меня не возьмете!

Он покивал и переглянулся с майором.

– Придется взять. Повезло тебе. Возьмем вместо Нины. Завтра в шесть утра приходи с вещами.

Я летела домой как на крыльях. Меня взяли в школу разведки, у меня теперь настоящее дело. Никому не объяснить. Да и никто не поймет нашей тогдашней радости, ведь мы знали, что идем умирать. И радовались, радовались, как никто и никогда. Что мы нужны, и мы будем бить немцев, отомстим им за все, прогоним их отсюда, чтобы люди жили долго и счастливо. Мы избранные, нам доверили самое дорогое, и мы не можем подвести.

Шурик уже ушел на смену, мама не спала, сидела уставшая, ждала меня.

– Мамочка, прости меня, меня приняли в школу разведки, и завтра я ухожу.

Мама заплакала.

Я собрала вещи: пару белья, теплые носки, рукавицы, мыло. Сначала думала взять дневник, но нет, у разведчиков не может быть таких вещей, да и не нужен теперь мой дневник, никому не нужны эти детские наивные записи, все изменилось теперь, и я буду другой, буду сильной. Не нужен он больше, я кинула его в печь. Мама плача испуганно смотрела на меня. Взяла чистую тетрадку, если и буду писать, то теперь только с чистого листа, новая жизнь.

– Ну вот, остальное, наверное, там дадут.

Мама, рыдая, говорила еле-еле:

– Девочка, ты моя! Девочка!

Она перекрестила и обняла меня, и я чувствовала, как вздымается от беззвучных рыданий ее грудь.

– Мама, не надо. Ну прошу тебя, милая моя. Я еще не ушла, а ты уже меня оплакиваешь...

Я старалась улыбнуться.

– Ты только Шурику не говори, пожалуйста. Прощу тебя. Пусть это пока будет наша тайна. Скажи, что я уехала к деду в деревню. Ладно?

Она покивала, устало смотрела на меня, точно любясь, точно пытаюсь запомнить, остановить меня взглядом, удержать.

Всю ночь она сидела рядом и не спала, как в детстве, когда я болела. Гладила меня по голове. Мне тоже было тревожно, не могла уснуть,

крутилась с боку на бок и только под утро задремала, но надо было уже вставать. Умылась холодной водой, и мама уговорила поесть, может, ей казалось, так она хоть ненадолго отсрочит мой уход, задержит страшную минуту расставанья и будет спокойна, что я что-то поела, как там сложится, кто его знает.

* * *

Нас отвезли в московскую военную часть, предупредили, что все секретно. Дорогой мы молчали, боялись. А за завтраком разговорились. Я села с Верой и Клавой. Вера такая беленькая, светлоглазая, хорошенькая, как ангелочек на картинке, но грустная очень. Я только потом узнала, что перед войной она собиралась замуж и платье купила, а тут вдруг... И он погиб на фронте. Она здесь, чтобы мстить. Говорит, что все сделает, чтобы убить их как можно больше, чтобы мы победили, что и умереть не жалко, лишь бы избавить всех от этих гадов, что она никогда уже не выйдет замуж и не будет счастлива, но хочет, чтобы другие были...

А Клава все переживает за свою косу, у нее такая длинная, толстая коса, чуть не до пят, она все спрашивает: «Девочки, как вы думаете, отрежут?» Конечно, отрежут, какие тут разговоры, когда война, не до кос. И она, огорченная, глотает кашу.

После завтрака мы собрались у командира. Он небольшого роста, с теплыми карими глазами, смотрит на нас, как на своих детей, с какой-то болью и жалостью. Но мы уже чувствуем себя бойцами, стоим на вытяжку, мы счастливы, что нас взяли, и каждый старается быть лучше другого, запомниться, отличиться, проявить себя, каждый хочет, чтоб похвалили.

Он говорил недолго и просто.

– Товарищи, хорошо, что вы все согласились пойти сражаться с врагом. Но я должен честно сказать вам, может случиться, что вы все погибнете, из ста человек выживут только несколько. От фашистов не будет никакой пощады, они зверски расправляются с разведчиками, пытаются, мучают и вешают. Если кто-то из вас не готов к таким испытаниям, скажите прямо, никто вас за это не осудит. Выйдите из строя, кто хочет уйти.

Он внимательно смотрел на нас, подходил и заглядывал каждому в глаза, точно в душу. И сотни разноцветных глаз смотрели решительно, твердо. Никто не вышел из строя. Он подождал и, смягчившись, добавил:

– Ну что же... Вы у меня первая группа, из которой никто не вышел. Но я буду спрашивать вас об этом каждый день, перед каждым заданием. Вы вправе решать сами, я никого не буду удерживать.

Командир помолчал и еще прошел между рядами, разглядывая наши лица, точно мы уже были для него героями.

– Сейчас весь мир смотрит на вас, затаив дыхание, сейчас все надеются на нашу помощь и победу над злом фашизма. Не бойтесь фашистов. Они могут вас мучить, пытаться, издеваться, убивать, но они никогда не смогут захватить и поработить нас. Им не сломить нас. Они не войдут в Москву. Мы не дадим им этого. Мы будем жестоко мстить им за убитых товарищей, матерей, братьев и сестер. Они найдут здесь свою смерть. Мы будем взрывать их технику и боеприпасы, уничтожать дороги и мосты, будем сжигать дома, которые они оккупировали.

Будем помогать нашим войскам бороться в тылу врага. Сейчас вам выдадут обмундирование и паек, и мы начнем готовиться. Времени у нас очень мало, а научить вас надо многому, поэтому мы будем заниматься и днем и ночью. Отдыха не будет.

Нам выдали хорошую форму с карманами, полушубки и теплое белье. А Клава вышла уже без косы, улыбнулась смущенно:

– Девочки, а правда так лучше?

Все захохотали, смеялись до слез. Наверное, потому, что мы не могли плакать. Мы побеждали свой страх смехом. Мы чувствовали, что так легче, что если будем шутить – не падем духом, да и умирать лучше весело. А может, просто потому что мы все были молодые. Многим не было и восемнадцати.

В закрытых грузовиках нас привезли на базу в Кунцево. До войны тут был детский сад, ну что же, и мы для наших командиров дети.

У Клавы с собой много открыток, еще до войны собирала, а сейчас всем раздает. Говорит, зачем мне теперь, пошлите мамам. Я выбрала самую красивую с красными цветами.

Мамочка, у меня все хорошо. Я люблю тебя! Как ты там, моя хорошая?

А Наташе из дома дали с собой мешочек клюквы. Аля увидела и ахнула: «Ой, бусы рассыпались!» Все смеялись. Наташа говорит: бусы из рябины вон делай, а клюкву с собой на задание возьмем, я всем рассыплю.

Ягоды такие красные, как капельки крови, и такие красивые, точно и правда бусинки. У меня с собой только книги, сухари и тетрадка, угостить нечем.

Занимаемся днем и ночью. Отрабатываем приземление с парашютом в ночное время. Только приземлились и уже идем изучать оружие и стрелять. Учимся закладывать взрывчатку незаметно, стрелять даже из кармана, ориентироваться в лесу. Но главная задача – минирование, поджоги вражеской техники и складов. Как же я жалею, что не любила химию. Тут есть ребята из Бауманского, они придумали какую-то капсулу с кислотой, которую не потушить. Я задаю много вопросов, расспрашиваю обо всем, и меня хвалят. Две девочки при прыжках повредили ноги. Мы прыгаем по несколько раз на дню. Свободного времени совсем нет. И я пишу только в мыслях. Тетradка так и лежит нетронутой. Даже маме так и не успела больше написать.

Перед самым заданием командир просил зайти, но у него был кто-то в кабинете. Я села на стул, дверь была чуть приоткрыта, и доносились обрывки фраз: «Киев...», «Отступили...», «Остались отряды партизан...» (он стал показывать командиру на карте и что-то еще говорил тихо-тихо). А потом вдруг услышала фамилию, заколотилось сердце, точно выскочит сейчас наружу, и как глухие выстрелы: «Отказался эвакуироваться...», «Остался с партизанами...», «Погиб...»... Все окружилось, вокруг все потемнело и стало черным.

Очнулась я, когда командир и майор выходили из кабинета. Они продолжали о чем-то разговаривать, не обращая на меня внимания. А у меня все звучало, как разрыв, эти слова, и пронзала мучительная ноющая боль в сердце. Когда я рассказала Вере, она пыталась меня успокоить, говорила, может, тебе послышалось, может, не он, может, не погиб, мы же не знаем наверняка, сколько таких случаев.

Но я знала, это он, я чувствовала еще два дня назад, ныло в груди, и не могла спать. А когда уснула, он мне вдруг приснился, хоть так давно не снился. Он словно бы еще раз со мной прощался, улыбался и говорил: «Танечка, я ухожу на задание. А вы оставайтесь».

Я замотала головой, как же я могу остаться, но не успела ничего сказать.

«Слышите, это приказ. Возвращайтесь домой, и ждите меня. Сберегите себя. Пишите, пишите за меня, пишите лучше, чем я... Я знаю, вы сможете. Вы все вытерпите, вы сильная».

Мы стояли в зимнем лесу на поляне, кругом белый-пребелый снег, как в пустыне песок. Он смотрел мне в глаза, и в них будто блестели слезы, держал за руки.

«Не горюйте обо мне. Прощайте».

Он уходит, не оборачиваясь, а я вдруг, будто очнувшись, бегу за ним, кричу:

«Нет, нет, не уходите. Они убьют вас!»

И вдруг просыпаюсь, подскакиваю на кровати, дали подъем, девочки сказали, я кричала во сне.

Я целый день была сама не своя, все думала, что может значить этот сон. Лида меня успокаивала, говорила, что если во сне плохое, значит, наяву наоборот все хорошо будет. Но это только слова. Я-то знаю. Я чувствую... И вот... Его нет.

Как теперь с этим жить, да и нужно ли жить? Мстить, да, нужно мстить, обязательно отомстить им за него. Он знает, что я не буду сидеть и ждать, и мне незачем больше себя беречь. Он знает, знал, что я не смогу... Я умерла бы за него не задумываясь, я жила бы ради него, пусть бы мы не виделись, пусть бы он жил где-то далеко, я была бы счастлива тем, что он жив, я любила бы и ждала бы его всю жизнь, но теперь... нет никакого смысла. Теперь нет ничего, кроме мести, нет ничего, кроме боли, адской зубной, только где-то в сердце, внутри, ноет, будто сверлит сверлом изнутри.

Теперь мы с Верой похожи, только у нее было платье и поцелуи, была любовь, а у меня – только мечты, только его слова, но они мне дороже поцелуев. «Таня, вы самая необыкновенная девушка... самая необыкновенная... Душой я всегда с вами!» – его голос звучал и звучал в голове, будто кто-то записал его там на пленку.

Завтра идем на первое задание.

* * *

Вечером командир опять вызывал каждого и вновь спрашивал: «Не боишься? Не передумал?...» Я ответила сразу, как только вошла, он даже не успел спросить.

– Я не боюсь. Не передумала. Я сделаю все, чтобы выполнить задание.

Наверное, я смотрела холодными пустынными глазами, в которых навечно теперь лед, снег и зима, мне не согреться, но надо согреть других, надо спасти родных, спасти город, спасти нашу страну.

Командир словно прочел все это и больше не спрашивал и не говорил, только тихо сказал:

– Идите.

А потом уже у двери добавил:

– С Богом!

Я кивнула и улыбнулась, он совсем как мама сказал, как будто это она здесь со мной, провожает меня, будто обняла меня, и стало теплее.

Как перед боем, истопили баню, переоделись в чистое, новое. С собой ничего нельзя брать, никаких документов, писем, открыток, все это понятно. Мы безымянные, безвестные, мы разведчики.

Налила чай, затанцевали, закружились чайники, как когда-то на вечере. Мы с девчонками очень подружились, разговаривали обо всем. Я так к ним привыкла, полюбила их, я буду с ними до конца войны. Мы не боялись друг другу рассказывать самое сокровенное, наверное, потому что знали, что это, может, наш последний вечер, может, больше никогда не увидимся, и знали, что никогда-никогда друг друга не предадим, никому не выдадим наших секретов, даже после смерти не расскажем. Мы умеем хранить тайны, даже самые страшные. И сейчас, перед вылетом, все смотрят друг на друга с грустью, будто прощаясь насовсем, будто пытаюсь запомнить друг друга, сохранить этот момент в памяти на всю недолгую жизнь.

Мы летим в бомбоотсеках, мы вместо бомб, там ужасно тесно даже нам, девчонкам, что уж говорить о ребятах, затекают ноги, руки, но все это мелочи по сравнению с тем главным, что предстоит. Выбрасываемся по команде, касанию рукой по плечу, а потом собираемся, закапываем парашюты и идем минировать шоссе.

Я прыгаю уже на автомате, уже по привычке, но все равно захватывает дух, и только стараюсь не отбить ноги, не потерять зарядку для рации и не упасть в воду, не зацепиться за деревья. Но в темноте ничего не видеть, чернота, ни луны, ни звезд нет. И я падаю в листья, мягкие шуршащие.

В детстве, когда мы уходили с Шуриком на покос или в другую деревню, бабушка крестила и вслед говорила: «Идите с Богом!» А я спрашивала: «Бабушка, а где он, Бог? Он что, с нами пойдет? Почему его не видно?» Наверное, в тот раз он и правда пошел с нами, все приземлились, закопали парашюты и все собрались.

Нас с Клавой послали в разведку к шоссе. Мы долго ползли в листьях. Они шелестят, тихо не проползешь. И, кажется, каждый звук отдается глухим громким эхом. Клава приподнялась, и где-то совсем рядом загудел мотор, немцы, еле успели спрятаться. Каждую минуту надо быть начеку, лишь чуть зазеваешься, и все, погибнет вся группа. Самое трудное, я теперь в ответе за каждого, я не могу положиться только на себя, надо чтобы не только я хорошо стреляла, ползла, ориентировалась, минировала, надо, чтобы они все, никому нельзя ошибиться. Как же ответить за каждого, как помочь им всем, поделиться силой, уверенностью, спокойствием, бесстрашием. Справимся ли мы? Некогда думать.

Мы возвращаемся, машин нет, ребята ставят мины, а мы стоим на страже, они едва успевают закончить, как уже впереди рев, совсем близко, мы бежим в лес, и слышим разрывы, крики. Мины сработали. Задание мы выполнили, но у нас еще несколько дней. И мы уговорились выйти к шоссе подальше.

Ужасно хочется пить, но воды совсем нет, и снега нет, ни капелечки, а спирт, которым мы должны греться вместо костра, только усиливает жажду, пить хочется еще больше. Да и мы никак не можем его пить, сильно обжигает, берем в рот по капле, но им не согреться.

Клава замерзла, я отдала ей свой шарф, она не хотела брать, но я сказала:

– Бери, мне и так тепло. Вот, потрогай, горячая совсем.

Она трогает, и правда, я теплая. Я не сплю, чищу оружие и себе, и всем, привыкла уже в темноте, костры разводить нельзя, хожу в разведку, я не могу сидеть без дела.

Где-то простудила ухо, стреляет страшно, очень сильная боль, но я молчу, сейчас надо терпеть. Девчонки заметили, ругали меня, что я не сказала сразу, обмотали мне ухо шарфом. Петя сказал, что надо возвращаться, но я его уговорила. Он поверил, что я вытерплю, а боль такая, что хоть стреляйся, будто гвоздь в тебя вкручивают. Но я смогу, я справлюсь, а иначе зачем это все... Надо только побольше делать, тогда некогда будет думать, некогда чувствовать.

Ночью мы с Лидой нашли железный прут, может, от таблички или еще от чего, он был длинный, и мы придумали протянуть его на дороге, закрепив за деревья. И только мы закрепили, как услышали мотоциклиста, он слетел и разбился, мы забрали документы. Я первый раз видела мертвого, не человека, немца, а они ведь не люди, а значит, не страшно. Во время налетов в Москве однажды я видела, как бомбой убило женщину с грудным ребенком, они бежали и упали, лежали окровавленные с открытыми глазами, смотрели в небо, но уже не моргали. Я не знаю, почему подошла, почему посмотрела, знала, что не надо, а подошла. И они потом долго снились, я плакала, и было страшное чувство бессилия и обиды, злости, ненависти к фашистам. Думала, обрадуюсь смерти немца, но нет радости не было, было ощущение, что правильно, справедливо, так и надо, но радости не было.

Это было седьмое ноября. В Москве шел парад, мы узнали о нем уже потом, тогда просто поздравили друг друга. С праздником, с удачей, но предстояло еще вернуться в штаб.

Петя сказал, что теперь уж точно надо возвращаться. Долго выходили. Линия фронта совсем близко. По лесу ходят и наши, и немцы, и не знаешь, на кого наткнешься. Единственный путь через полузамерзшее озеро. И я провалилась в полынью, сама не знаю как, замерзла и простыла.

Нас очень хвалили, обещали представить к награде. Ребята собираются на новое задание, а я лежу с температурой. Уговариваю взять меня. Нужно поправиться поскорее, нужно выздороветь, но вместо этого все лежу и плачу от досады, горю как в огне. Как же обидно, как же некстати, но я встану, на войне нет болезней. Вчера дошла до командира, уговорила, упросила послать меня. Ему сложно со мной спорить, согласился, сказал, что если послезавтра температура спадет, то я иду. Но что он сам проверит лично, и чтобы я не думала ему сочинять.

Написала маме радостное письмо, что у меня все хорошо и, как только вернусь с задания, дадут отпуск и я их проведаю. Некоторых уже отпускали, пока я валялась с температурой. На этот раз задание серьезное, сложнее. И это будет настоящее дело.

Видно, Бог последний раз попытался меня удержать, уберечь, температура была высокая, но девчонки откуда-то добыли мед и малину, отпаивали меня, да и клюква Наташина помогла. И стало лучше. Теперь я точно иду. Почему-то такое чувство, будто это очень важное задание, что я обязательно должна пойти.

Мы до сих пор не верим, что вернулись с прошлого задания все. И с удивлением смотрим друг на друга.

Вера пришла и читала мне стихи. Оказывается, она Маяковского тоже любит. Особенно это, одно из моих самых-самых:

Разрезая носом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростные,
гонят лодки парусные,
Вечером,
а также к ночи,
плавать в море трудно очень
Все покрыто скалами,
скалами немалыми.

А мне вспомнилось его: «Летчики-пилоты...». Я смеялась и плакала, девочки подумали, у меня бред. Нет. Было хорошо и горько. И я не знаю, как объяснить. Так хорошо от его слов, и так горько, что его нет. И никогда уже не будет.

Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы...

* * *

Удивительное чувство – спать на простыне после лесного лапника и листьев, удивительно и то, что можно спать. Но теперь не до сна, совсем. Скоро мы уходим. И как-то по-собачьи ноет внутри. Какое-то предчувствие, которое никогда никому не смогу объяснить. Перед вылетом попрощалась с комнатой и с кошкой. Девчонки ругались, говорят нельзя прощаться, надо говорить «до свидания».

Ночь опять такая хоть глаз выколи. Только на линии фронта где-то ухают разрывы, рассыпаются пламенем, как фейерверки, по всему небу. Очень боюсь упасть плохо, что-то сломать и стать обузой, нет, мне нельзя.

И все же сломала ногу, но не я, Наташа. Как-то неудачно брякнулась и вот. Мы связали ветки и уложили ее, а про оружие что-то и не сообразили забрать, дураки. И только отвернулись, она крикнула: «Прощайте, ребята!» и застрелилась. Не хотела быть обузой. Это первый раз вот так. Она первая из нас. Наташа. Клюква наша. Бедная моя. Как же это?

Но нет времени жалеть, нет возможности плакать. Ее серые глаза открыты, и она с надеждой смотрит в небо. Пока ребята не видят, я крещу ее потихоньку и про себя молю, чтобы Бог простил ее и принял туда, где всегда хорошо. Отец говорил, что после смерти человека надо отпеть, а как это отпеть, я и не знаю. Мы ведь даже его не отпевали, мама побоялась. Прости, папочка. Я теперь за тебя буду просить.

Мы закапываем Наташу, сооружаем то ли крест, то ли табличку, хоть бы самим потом не забыть, найти это место. Написать родителям. Нет, лучше не писать, лучше не говорить ничего, не рассказывать, как глупо и быстро, нет, пусть она будет героем, она и была героем всегда.

У всех на душе горько. Глухое молчание. И кажется, каждый винит себя. Почему я не догадалась, не забрала у нее наган, почему... не убергла... Но «если бы» – уже нет. И Наташи уже нет, веселой, сероглазой. Нет.

Ребята спокойнее, или делают вид, а мы с девочками переглядываемся и не решаемся сказать ни слова. Нельзя. Впереди линия фронта, самое трудное, но перейти надо сейчас, как можно быстрее, до рассвета, успеть. Идем цепочкой, смотрим в затылки друг другу и больше

ничего не видим. Вдруг где-то совсем рядом громкие хлопки, крики. Падаем, едва успеваю выставить вперед руки. Все так быстро, ничего не разобрать, взвожу курок. Взлетают осветительные ракеты. Немцы. Боже мой, сколько их. Ребята уже стреляют. Приказ рассредоточиться и отходить в чашу.

Я стреляю и не вижу, попадаю или нет, ползу к лесу, поглубже. Бьет автоматная очередь, ярким светом разрезает ночь, ребята хлопают в ответ из пистолетов. Бой неравный. Мы отходим все дальше. Я хочу остаться прикрыть их, глаза свыклись, и я стреляю в немцев, они замечают и открывают ответный, опять отползаю, свистят пули, очереди и никак ничего не понять. Боря оттаскивает меня за плечо. Кричит: «Отходим!» Он старший, он приказывает, гонит глубже в лес, а сам старается нас прикрыть. Это несправедливо, я тоже бы могла. Но в памяти опять слышатся гневные слова майора: «Ты запомни, приказ есть приказ! Ты поняла?! Приказы надо выполнять!»

Выполняю. Запыхавшиеся, собираемся на поляне, но нет Лиды, нет еще мальчиков. Ждем до рассвета. Ужасно холодно, сильнее всего мерзнут ноги в сапогах, кажется, их никогда ничем не согреть. Мы с Верой и Клавой укладываемся на лапнике, греемся друг об друга, меняемся, по очереди ложимся в середину, и все равно холод непреодолимый, будто внутри.

Я просилась, чтобы меня послали в разведку, но Боря отправил Васю. Его долго не было, он сказал, что раненых нет, все мертвы, принес их вещмешки и оружие. Мне почему-то до сих пор не верится. Как-то он странно сказал. Я очень прошу дать мне сходить захоронить, но Борис непреклонен, нужно приступать к заданию, не до того.

Мы помним наизусть все села, в которых должны сжечь немцев, но их слишком много, вдвое больше, чем нас, оставшихся, а это значит, не успеем, провалим задание. Боря предлагает разделиться. Вера с Клавой идут с Пашей, а мы с Васей остаемся с Борей. Прощаемся и расходимся. Опять же глупо, не говорю никому, но такое чувство будто навсегда. У всех такое чувство, и в горле ком. Девочки. Отдала Клаве свой пистолет, у меня ведь самовзвод, тульский, а я и из обычного хорошо стреляю. Ей нужнее. Хотела поспорить, но, видно, не решилась, знала, бесполезно. Вера белокурая, даже ресницы светлые – снежная королева. Может, наколдует нам снег?

И только мы разошлись, как и вправду пошел снег, первый в этом, году, белый, холодный. Я ловлю его ртом, пью его. Нас всех мучала жажда, пить хотелось нестерпимо, а как назло ни лужицы, ни снега. И вот теперь настоящий подарок. От Веры? От Бога? Он идет сейчас медленно, плавно. Мне всегда казалось, что снежинки играют свою музыку, танцуют разные танцы. Когда медленно, то кружат вальс, а потом закручивают кадрили, выделявают мазурку. За одну ночь насыпало столько снега, хоть ныряй с головой. От него как будто стало теплее или от того, что мы идем, быстро, продираемся сквозь чашу. Солнце вышло и слепит в глаза, отражается от снега, на деревьях капельки, блестят и леденеют бриллиантами.

Сухари кончились, осталась одна вобла. Боря разделил на всех. Вася проглотил свой кусочек сразу и с грустью посмотрел на мой.

– На, возьми, – говорю я. – Я не хочу, правда. Бери.

Он мотает головой, но я вижу, как ему хочется взять. Всовываю ему в руку. Мне не жалко. Он краснеет.

– Спасибо.

Вася немного странный, неразговорчивый, как будто чужой, он с нами первый раз идет, я совсем не знаю его. Может, поэтому так. Будто он нас стесняется. Смотрит, будто мы московские какие-то другие, а он из деревни, крестьянский сын, уже на оккупированной территории был, видел немцев, бежал, чтобы воевать. Признался, что писать почти не умеет, школа была далеко, работать надо было. Я обещала научить его писать. Пишу на снегу ему буквы, научила писать имя. Он первый раз улыбнулся, глаза у него такие зеленые, словно трава летом, были грустные, а теперь заблестели. Мне кажется, он хороший, добрый.

Боря закуривает в рукав, ему не нравится Вася, не верит он ему, не нравится, что я с ним болтаю вот так просто, что он взял мою часть воблы. Борька очень справедливый, но, наверное, немного заносчивый, как я когда-то, он хочет, чтобы все было по правилам. Он смелый, добрый, и он все равно относится ко мне как к девушке, не как к бойцу, он жалеет меня. И обижается, не от того, что я поделилась с Васей, а не с ним, а оттого, что Вася взял. Боря хотел мне свой кусок отдать, он бы и Васе отдал. Он настоящий командир, так похож на моего Шурика. Мы с ним сразу поняли друг друга, хоть и ссорились сначала, но теперь он как брат, он понимает меня, знает мое упрямство.

Как жалко, что девочки ушли. Как хорошо здесь в лесу. Как хочется жить и забыть о войне. Мне сейчас не верится, что мы идем на задание. Кажется, будто в школе урок физкультуры в лесу или мы пошли на лыжах, или в пионерский поход, как бывало. Вот сейчас разожжем костер, поставим палатки, возьмем гитару и всю ночь проболтаем, пропоем, будем жарить хлеб и колбасу.

Но нет ни колбасы, ни хлеба, ни палаток, и костер разжигать нельзя. Мы идем с Борей в разведку, деревня совсем близко. Боря специально не берет Васю, хочет проверить его, вдруг сбежит. Почему-то упорно не хочет ему верить, не говорит, но я вижу по глазам, чувствую.

Подход к деревне неудобный, после леса открытое поле, все просматривается как на ладони. Перебегаем с Борькой дорогу, и укладываемся, недалеко от деревенской школы, здесь лес ближе, лежим в кустах. Солнце уходит, набегают тучи, нас укутывает снегом, подмораживает. Немцы выносят из школы парты, рубят на дрова. Вот гады.

Они совсем близко в двух шагах, кажется, вот-вот увидят нас. Но они не видят, проходят мимо. Двое останавливаются покурить рядом с нами. Они разговаривают и не думают уходить. Рука затекла и колет тысячью иголок, от холода ноют ноги, но нельзя шевельнуться, нельзя пикнуть. Иногда время тянется невыносимо, как же мы дотерпели, как уползли, мне все время казалось, что сейчас не выдержу, так холодно было. Щеки обжег мороз, ресницы покрылись инеем, снег набился в сапоги, под полушубок.

Мы возвращаемся. Вася на месте, Борька смотрит с удивлением, но молчит. Мы разведали, в каком доме конюшня, штаб и больше всего немцев. Боря поручает мне конюшню, Васе – дом с немцами, а себе берет штаб. Нам нужно только поджечь и быстро незаметно в лес. Несложно. Боря ждет первой темноты, а Вася говорит, что надо подождать ночи.

– Может, еще до утра подождать?! Боишься, так и скажи. Можешь не идти, я тебя снимаю с задания.

Борька будто нашел подтверждение своим догадкам и будто бы даже обрадовался. Но Вася ведь прав, надо было это мне сказать, меня бы Борька послушал, надо было раньше, а теперь уже поздно... упрямый, как мой Шурик. Теперь ни за что не согласится.

– Я просто предложил. Ты же командир. А на задание пойду, не имеешь права не взять! – обиженно бурчит Вася.

И снова замолкает, будто прячется в скорлупку, даже со мной говорить не хочет. Ребята пьют по глотку спирта, уговаривают меня, но я не могу, никак не могу пить этот спирт, он обжигает и такой гадкий на вкус. Я топлю в ладошках снег и слизываю его, он как мороженое. То самое вкусное, которое мы ели с ним, я словно бы вижу его улыбку, такую ласковую, нежную... Слышу это его: «Таня... Танечка...» Надеваю его рукавицы, они меня греют теплее всего, руки не мерзнут, он говорил, и на войне они были с ним, значит, они чувствовали тепло его рук, набрали его много-много и теперь отдают понемножку, по чуть-чутьочку, мне. Словно бы он здесь со мной, словно бы живой... Прижимаюсь к ним щекой. С ним ничего не страшно, и умирать не страшно.

* * *

Темнеет. Мы прячем вещи, закапываем в снег. В деревне расходимся на три стороны, молча, без слов, все в напряжении. Я иду к конюшне, бросаю бутылки быстро и сразу все. Прячусь за сараем. Конюшня горит. Немцы бегут, крики, горит машина, из конюшни выскакивают горящие лошади. Бедные. Лошадей мне жаль, они ведь не виноваты, они живые. Но не должно быть жалости, это война. Они не жалели грудных детишек, не жалели женщин и стариков... Им не будет пощады.

Штаб тоже горит, и немцы шумят, бегают, тушат. Значит, Боря справился, молодец. А в конце, где немецкие солдаты, где должен был быть Вася, – ничего. Может, не успел, может, еще не было возможности... Он же не мог предать, передумать, нет, не мог. Не верю. Может, пойти туда, узнать... помочь... вдруг его схватили... Борька бы сказал, нет, ни в коем случае, был приказ возвращаться в лес, нельзя себя обнаружить. Но ведь и товарищей бросать нельзя... А что бы сделал А. Г.? Он бы пошел. Может быть, выждал, когда утихнет, но пошел.

Сердце колотится бешено, но некогда думать. Я быстро иду к лесу, иду через Васину сторону, может, удастся разглядеть, разведать, что с ним.

– Эй, стой. Куда идешь?

Я вздрагиваю. Оборачиваюсь, старик с бородой и винтовкой, на рукаве – повязка, немецкий староста. Лицо красное, в нос бьет запах спирта. Пьяный? Похоже.

– На станцию, к матери в Москву еду, – вырвалось как-то сразу, не думая.

– Эвон, как далеко. Ну ступай, ступай, – кивает, прищуривая глаз.

Иду медленно, а надо бы бежать побыстрее, но ноги как ватные. Дорога просматривается насквозь, она длинная, идет вдоль всей деревни, надо было огородами, с другого края незаметно, дожждаться ночи. Но я иду в сторону Васи, нащупываю пистолет в кармане. Если бежать, будет заметно сразу, а так ведь могут не обратить внимания, не заметить. В Москву к маме. Москва ведь там. Медным холодным солнцем светит луна. Круглая, белая, как пустое блюдо. Снег потрескивает под ногами.

Кто-то тяжелый обхватывает меня за плечи сзади, пытается заломить руки, кричит по-немецки: «Стой!» Я борюсь с ним достаю пистолет, но он сильный, такой сильный, что скручивает руки, я выбиваюсь, пытаюсь оттолкнуться. Он не один, сзади тот самый старик и еще два немца с оружием.

После я тысячу раз буду обдумывать, что надо было сделать, как убежать, что все сделала глупо, не так. Не верится, что попалась так просто. Думала, всегда смогу вырваться, думала, так не может быть, я сильная, умею стрелять, всегда успею выстрелить. Невезение, глупость, судьба, что это?.. Уже не важно... Уже не важно...

Немцы благодарят старика, дают ему бутылку водки, тащат меня в штаб, я упираюсь ногами. Что-то же можно сделать? Что-то нужно... Но что?.. Как? Руки связаны сзади. Я пытаюсь развязать веревку, вытащить их. У меня очень тонкие запястья, самые тонкие в нашем классе, я выпутаюсь, но он так крепко связал. Веревка врежется в кожу, немеют руки. Только чуть-чуть расшатала.

Меня вталкивают в избу, я чуть не падаю. В доме две девочки и женщина, их выгоняют на улицу, а маленькая затаивается на печке. Я улыбаюсь ей. Мне жаль ее и страшно за нее, почему-то не за себя. В Москве в бомбоубежище, я видела ребят из детского дома. Там были две девочки-близнецы – Ксюша и Матреша, их деревню сожгли немцы, а мать накрыла их своим телом, и они уцелели, им года по три-четыре, они долго жили на пепелище, нашли ямку от бомбы и в ней жили, партизаны их переправили в Москву. Сколько их таких было... сколько их таких есть... Вчера на поле видели повешенных маленьких мальчиков... Но нет, надо быть сильной. Надо собрать весь дух, что у меня есть, пусть пытаются, убьют, но не сломят... никогда... буду стоять насмерть за них... за маму, за Шурика... им не взять Москвы... А Москва сейчас – это я, это Вера, Борис... Это все мы...

Мать девочек замешкалась, увидела меня и будто остолбенела, будто думала, что сделать, чем помочь и не могла сообразить. Я говорю ей глазами, беги, иди скорее, забери девочек... Но немец выталкивает ее из избы силой. Словно бы он тут хозяин... Ненадолго... Пусть все мы умрем, но выгоним их... отомстим... Мамочка, отомстим. За нами правда, и поэтому с нами Бог. Надо только не бояться, не думать, не чувствовать, надо вытерпеть.

Меня ведут к полковнику. Он сидит за столом, важный, как король на троне, в очках и фуражке и с противными гитлеровскими усами. Вот интересно, у них так модно или их заставляют, чтобы все как один походили на подлеца Гитлера. Я смотрю ему в глаза, он ежится, точно я бью его больно, отводит взгляд. Отводит и начинает допрос на немецком, рядом переводчик. Хотя я и так понимаю. Мне хочется закричать: «Эй, фриц, нечего было тратиться. У меня по немецкому пятерка. Я Гете в подлиннике прочитать могу по памяти. Только Гете тебе не брат, и не нужен он тебе, у тебя нынче фюрер со своей бандой. А Гете нынче с нами, он теперь русский, он теперь наш, а не ваш, вы сожгли всех на костре. Вы просто бандиты и разбойники, вы никакие не немцы».

– Ваше имя?

– Таня.

– Что вы делали в деревне? Какое у вас задание?

Попробовать легенду, нет, не поверит, но надо, как учили, стоять до конца, вдруг повезет.

– Я из соседней деревни. Гостила у бабушки, шла на станцию, чтобы вернуться к маме в Москву.

Просто какая-то Красная Шапочка, не умею я врать, ерунда это все, лучше сказать правду, все равно убьют, но может потянуть время, дать Боре с Васей возможность уйти. А вдруг поверят и отпустят.

Полковник с усмешкой смотрит на меня.

– Ваш сослуживец Василий уже рассказал нам все. Говорите правду. Это вы подожгли конюшню?

Не может быть. Вася? Нет, не верю, они его заставили, он не мог сказать. Не мог предать... Нет... Или Боря был прав?.. Нет, тысячу раз нет, такого не может быть, потому что не может быть никогда. Вася честный, он бы не мог, они его пытали, убили, мучили... что с ним... Правду говорить легче.

– Да, я.

Уже не выпутаться, и я иду на это, иду к нему, иду к А. Г., я сама так решила. Это главное, остальное не имеет смысла сейчас. Пусть расстреляют.

– Какое у вас было задание?

– Уничтожить вас!

– Сколько вас?

– Я одна.

Он злится, подходит ближе и бьет со всей силы по щеке. Резко, больно, лицо горит.

– Сколько вас? Говори!

– Не скажу!

Я набираю оставшуюся слюну изо всех сил и плюю в него. Он вытирается платком, злится, в ярости. Снова бьет по щеке.

– Говорите! Когда вы перешли фронт? Где находится ваш штаб?

Они будут повторять эти вопросы всю ночь, все время.

– Я ничего вам скажу!

Так говорил Мальчиш-Кибальчиш, так говорил он, так говорила Таня, так говорю я.

– Вы можете спасти свою жизнь и послужить Германии. Ваш друг уже согласился с нами сотрудничать. Мы можем предложить вам выгодные условия. Скоро мы возьмем Москву...

Я перебила:

– Вам не взять Москвы! Уходите отсюда пока целы! Я не буду с вами сотрудничать, можете меня расстрелять! Я ничего вам не скажу!

Он улыбается с издевкой, и, мне кажется, у него в глазах бегают маленькие чертики, через очки они скачут черными бликами.

– Хорошо. Посмотрим...

Он показывает солдатам на лавку, приказывает меня раздеть. Я сжимаю зубы, они снимают все до исподнего, оставляют только трусы. Стыдно. И я сама ложусь на лавку, чтобы они не смотрели на грудь, вижу их ухмылки, сейчас будут бить. Их четверо, они бьют солдатскими ремнями, бьют со всей силы, словно отбивая мясо. Я стискиваю зубы. После нескольких ударов, они подходят и спрашивают, я мотаю головой, говорить уже не могу. Во рту одна кровь, сгустки, смешанные со слюной, гадкий свинцовый вкус. Ужасно хочется пить. Они продолжают, кровь разбрызгивается фонтаном, брызги летят в стороны. На мне нет живого места, мне кажется, сзади одно сплошное мясо, одна кровотокающая рана. Слезы сами льются от боли, волосы слиплись на затылке. Мне все время кажется, что я уже умерла. А они все бьют и бьют.

Наверное, когда я начала терять сознание, им приказали остановиться. На меня накинули рубашку и повели на улицу в белье, в другую избу, там повторяется все то же. Какая-то женщина кидается на меня с помоями, кричит, что я сожгла ее дом, а немцы целы, другая отгоняет ее со слезами. Неужели они все целы, неужели ни один не пострадал,

нет, машина горела, я сама видела, и конюшня, и со стороны Бори был огонь.

Сдирают ногти щипцами, адская боль, и нет сил заорать. Я всегда боялась этого больше всего. Мне казалось, это очень страшно и непереносимо больно. Когда я лежала в больнице с менингитом и делали уколы в спинной мозг, я думала, больнее этого ничего нет. А мама все сидела рядом и со слезами на глазах просила: «Потерпи, еще немножечко потерпи». Мне сейчас кажется, она опять рядом, опять просит: потерпи еще немножечко. А я говорю ей: «Мамочка, я терплю, я у тебя сильная, я все смогу, ты не бойся. Я потерплю». И изо всех сил зову Бога, зову, как отец меня учил, если будет совсем тяжело, просите, он поможет. Отец говорил, он никогда никого не оставляет, помогает всем, даже если и медлит помочь, надо просить. Теперь я прошу его, особенно уже не о себе, уже о мамочке, о Шурке, о ребятах, пусть простит и сохранит их, пусть муки мои будут не зря. Отец говорил, страданиями душа очищается...

Меня выгоняют на мороз в одном белье, я иду как пьяная, голова кружится, иду босиком по снегу, горит все тело, ног не чувствую, рубашка противно липнет к кровотокающей спине. Меня водит молодой солдат, наверное, он мне ровесник, и он отчего-то зол на меня, он ненавидит меня, за что... Наверное, за то, что из-за меня он не спит, что ему приходится ходить со мной по морозу. Минут через пятнадцать он замерзает, и возвращаемся отогреваться, и так все время, мне кажется всю ночь. Ноги черные, в избе они бьют тысячами иголок так, что невозможно сидеть, стоять, лежать, хочется умереть. Они распухли. И каждый раз мне кажется, сейчас я упаду и больше никогда не встану. Как они идут, я не понимаю, я пытаюсь шевелить ими, но это уже не мои ноги, они не слушаются. Снег мягкий, скрипит. Мне кажется, я иду к нему, бегу в теплых валенках на нашу опушку, и там всегда светит солнце, от него тепло, оно греет, а здесь ночь и холод до зубов. Неужели эта окровавленная девочка в рубашке, обмороженная, – это я? Разве это я? Разве я бы могла? Это Бог.

Все проходит, все можно пережить, надо вытерпеть, вытерпеть весь свой путь. Я думаю о них обо всех, о замученных, о детях, о людях, о солдатах, они увидят, что я смогла, и значит, и они смогут, значит, смогут победить. Есть женщины, которые рожают детей, а есть женщины, которые идут умирать, чтобы жили дети, чтобы продолжалась жизнь на земле.

Мы все готовы были умереть, но никто почему-то не думал, что это будет именно с ним. В детстве я всегда мечтала, что когда вырасту и выйду замуж, у меня будет длинная-предлинная кружевная белая фата, такая длинная, что можно завернуться целиком. Я заворачивалась в занавеску, а мама смеялась. Не будет у меня фаты и свадьбы не будет, и меня не будет.

Было очень страшно и больно, но об этом никто никогда не узнает, никто не узнает, как мне было, кроме него и Бога, эта моя ненаписанная повесть. Уйдет, погибнет, вместе со мной. Пусть за меня напишут другие, пусть напишут от сердца, чтобы знали люди.

* * *

Теперь время тянется бесконечно, кажется, никогда не пройдет эта боль. Идти нет сил, но я иду, немец держит сзади штык, и стоит

остановиться, как он впивается в спину, входит в рану, словно режет наживую, мне хочется закричать, но нет сил, я искусила все губы до крови. Трясет, знобит, мороз пробивает до костей, и от него никуда не спрятаться.

В избе пьяные солдаты, они хохочут. Может, я уже в аду? От тепла расходится боль, горит все тело. Пить, как же хочется пить, кажется, что отдала бы все за один маленький глоточек, во рту только кровь, я пью ее и захлебываюсь, от мороза кашель, сопли, все с кровью, то жар, то озноб. Наверное, я уже не здесь, наверное, я уже умерла. Вся изба плывет, будто отраженная на воде. Вода... Пить... Как же хочется пить... Наверное, я говорю это вслух, потому что хозяйка избы идет за черпаком и хочет дать мне. Но немец выбивает у нее из рук, подносит мне к губам керосиновую лампу. И снова боль, резкая, горят губы, я отшатываюсь.

Немец орет, что поджигатель должен пить керосин. Солдаты оживляются, подносят к моему лицу горячие спички, близко, обжигают и отводят, я отворачиваюсь, они смеются. Один, что посмелее, побалагуристее, пьянее других, берет пилу и проводит по спине. Все тело сводит боль, адская, непередаваемая, от которой можно только заорать страшно, не по-человечески. Я кричу, но голоса нет, как хорошо, что голоса нет.

Мне кажется, никогда не кончится эта ночь, никогда не уйдет боль, как ни повернись, она режет на части, кровоточит, отключает сознание. Мне все время кажется, будто меня уже нет, может, я уже там, может, уже умерла, и только голоса, звуки, вытрясают обратно.

Немцы уходят спать, со мной остается старый солдат. Что ждать от него, смотрю с ужасом. Но он кидает мне подушку и укладывается на печь. Ночью нужно спать, у немцев все по порядку, по дьявольскому распорядку, который хоть умри нельзя нарушать. Я не могу лечь, любое движение боль, страшная, и руки связаны – не повернуться. Он, видно, заметил, развязал мне руки, погрозил пальцем и лег спать, поглядывая на меня. Знал, что не сбегу, не смогу, а значит, можно спать.

Из сеней вышла женщина, похожая на маму, или мне сейчас так кажется, что все женщины похожи на маму. Она спрашивает у немца о чем-то, не могу разобрать, тот кивает, и она приносит мне воды, целый ковшик. Я выпиваю сразу весь, выхлебываю, будто прошла всю пустыню без воды, будто месяц не пила... И словно бы жизнь возвращается, я еще есть, я что-то чувствую кроме боли.

– Спасибо, спасибо... – шепчу окровавленными губами и сама не слышу своего голоса.

У женщины в глазах слезы. Она гладит меня по голове, как мама в тот самый последний день дома. Плачет, а сделать ничего не может. Никому мне не помочь, и никто не смог бы это изменить, даже он. А. Г. тоже знал, что так будет, знал и боялся за меня, пытался сказать, и не мог... А я не могла уберечь его. Уже все решено, уже все уготовано...

Лежать больно на всем, не только на спине, стонет все тело, саднит спина, горят огнем ноги, стреляют, режут тысячью ножей. Спать невозможно, но я проваливаюсь в темноту и, наверное, задремываю, потому что вижу, как в избу входит папа. Я испуганно оглядываю избу, не видит ли кто его, но немец спит, а женщины нет. Я кричу ему:

– Папа, уходи отсюда. Уходи скорее. Здесь немцы.

Он смотрит на меня с улыбкой.

– Ну что ты, Зоинька. Не бойся, ничего не бойся. Они не могут мне ничего сделать.

И тут вдруг я понимаю, что папа умер десять лет назад, его давно уже нет. Комок подходит к горлу, и я плачу, обнимаю его.

– Папочка, я так скучала по тебе, мне так не хватает тебя.

Я рыдаю в голос. Он гладит по спине.

– Ты у меня сильная, ты у меня храбрая. Я теперь всегда буду рядом. Ты прости меня. Мы теперь всегда будем вместе. Еще совсем немного. Помолись, как я тебя учил. Помнишь? Помолись.

И я читаю молитву, слова откуда-то приходят сами, я не помню их, не знаю, что это за молитва, но повторяю снова и снова, беззвучно шепчу губами.

У папы в руке крестик, он благословляет меня и исчезает, тает, становится прозрачным, невидимым...

Я оглядываюсь по избе – никого, немец спит. Я встаю, но будто не иду, а лечу, я такая легкая как перышко. Я в белой рубашке, только крови совсем нет, ни капли, и боли не чувствую. Я скорее бегу из избы, фашисты спят и будто не видят меня, никто не замечает меня, я иду по лесу, занесенному снегом, тороплюсь к условленному месту и думаю: только бы успеть... И вдруг выхожу к озеру, застывшему, стеклянному, припорошенному, как каток у нас во дворе. А он стоит на том берегу и зовет: «Идите сюда!» А по озеру стреляют немцы, простреливают насквозь, и я боюсь, не решаюсь, думаю ползти... И вдруг бегу к нему со всех ног, разбегаюсь и лечу, свистят пули, разрывы, кругом раненые, вся река покрывается телами, заливается кровью, становится красной, а в нас не попадают, будто бы нас нет. Я вся в крови, в одной рубашке, и мне стыдно, что он видит меня такой. А он стирает кровь, берет меня за руки, смотрит в глаза.

– Вот и встретились! Я так ждал вас, Таня, – он улыбается, так ласково, по-детски.

Я открываю глаза. Рядом сидит женщина, она вытирает кровь со лба.

– Чья ты, девочка? Откуда ты? Как тебя звать?

– Таня. Из Москвы. А вам зачем?

У нее в глазах слезы.

– Помолюсь за тебя, доченька. Родители-то есть у тебя?

– Мамочка только и брат.

Она гладит меня по голове, и мне кажется, она нереальная, она будто ангел. Есть ли она? Была ли она? Или привиделось?

У нее печальное доброе лицо, и оно будто светится, расплывается. Она плачет.

К ней подбегает девочка.

– Фашисты виселицу строят у школы. Велели всем прийти.

Ее голос звенит звоночком, и как бы грустно она ни говорила, голос все равно радостный, потому что детский. Мать шикает на нее.

А я улыбаюсь.

– Слава Богу! Хорошо!

– Господи, Господи! – Женщина крестится.

А мне становится радостно – значит, уже скоро, значит, уже чуть-чуть. Как хорошо. Я улыбаюсь.

Они пугаются, смотрят на меня, как на блаженную, ненормальную. Как всю жизнь смотрели в школе.

Спасибо тебе, Господи, Спасибо.

* * *

Боль возвращается с новой силой, напоминает о себе. Фашисты выгоняют женщину с девочкой и снова начинают допрос. Опять сдирают ногти, а я не плачу, я смеюсь, как ненормальная, я уже не здесь.

Я смеюсь каким-то странным смехом, немцам становится страшно, и даже один из них, тот, что старый, крестится по-своему, через левое плечо.

А мне смешно оттого, что они ничего не могут мне сделать, ничего... Они в оторопи смотрят на меня. А я улыбаюсь сквозь боль, рассматриваю их лица, и мне становится жаль их. Сейчас меня не станет, а их будут убивать, убьют их всех, они будут мучиться, мерзнуть, и им не будет пощады, их не простят. А я прощаю, прощаю их всех. Теперь мне легко.

Они делят мою одежду. Молодому досталась шапка и меховая куртка, а двум другим – сапоги и рукавицы. Его рукавицы, с его теплотой и нежностью. Впрочем, теперь мне не жаль, это ничего уже не значит, все это уже не важно.

Женщина помогает натянуть мне чулки на распухшие синие ноги. Они вешают на меня табличку с надписью «Поджигатель». Ведут под руки, но я отталкиваю их, иду сама, теперь я могу. Теперь боль ни о чем. Это уже не я.

И отчего-то все видится по-другому, с жалостью, лица, наши, немецкие, я будто вижу, что случится с каждым, а сказать – не поверят, я будто уже знаю что-то, что им не узнать и не могу объяснить никак.

Я иду на казнь. Все смотрят молча, кто-то стирает слезу, кто-то отворачивается. Они жалеют меня, а я их. Женщина, которая вчера меня ругала, все еще злится, бьет мне палкой по ногам, что-то кричит, но я давно не чувствую ног, как они идут, не знаю, может, по инерции. Мне уже все равно, пусть бьет, вдруг ей от этого легче. Пусть. Пусть только простит меня.

Тихо. Солнышко поблескивает на снегу. Ветра нет. Елки стоят нарядные, осыпанные снегом, точно длинной фатой. Еще несколько секунд, и меня не будет, а все это будет жить. И моя липа будет жить, цвести, расти. И они встретят победу, увидят, как наши дойдут до Берлина, как будут плакать по погибшим в этот счастливый день. Он ведь будет. Он обязательно будет. И он не забудется. И в этот момент отчаянно хочется жить, развязать руки и убежать в лес... далеко... Но нет... Мне уже не убежать... Мне уже не миновать... Отец говорил, умирать не страшно. И я иду к нему, иду к А. Г., иду к Богу. Это мое счастье, которого не понять, это мое... Мамочка, милая мамочка, ты прости меня. Шурка, и ты не злись. Родной мой братик, однажды ты поймешь... обязательно поймешь... Я вас очень люблю... любила... Простите... Нельзя иначе... Не смогу...

Только бы успеть им сказать, только бы они услышали, только бы поняли, только бы простили... только бы хватило силы, времени, голоса.

Но теперь на все хватит, все успеется. Меня ставят на ящики от снарядов. Вдали виднеется золотой маленький куполок церкви со снятым крестом. Я смотрю на блестящую на солнце маковку, от нее льются лучики, солнечные, теплые, вот бы стать ими, слиться с этим светом, раствориться в нем. Может, оно так и бывает, ведь я видела – там есть свет, там только свет, самый яркий, какой не представить и не описать.

У людей испуганные лица, даже у той женщины, что ударила, теперь испуганное, грустное лицо. Я смотрю на нее, на них на всех, и мне хочется их всех обнять. Так хочется помочь им всем, сделать их счастливыми, спасти их, если б я могла... Осталось несколько секунд, но кажется, в них можно прожить сто жизней. Каждое мгновение – вечность. Если б остаться жить хоть еще на час, я бы обязательно сделала столько, сколько не успела за всю жизнь. Но я могу только говорить, сказать как можно больше, успеть...

Немец наводит объектив, прицеливается фотографировать и никак не приладится.

– Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, бейте фашистов, жгите, травите, выгоняйте с нашей земли!

Мой голос звучит громко, радостно, он уже будто не мой. Фашист, кажется, понял без переводчика, хотел ударить, но я перехватила его руку. Я сейчас не чувствую боли, и во мне столько силы, что хватит на всех.

– Мне не страшно умирать! Это счастье – умереть за свой народ!

Полковник занервничал, стал торопить фотографа. Я повернулась к нему, надо сказать ему, надо сказать сейчас.

– Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас много миллионов, всех не перевешаете! Вам будут мстить за меня! Пока не поздно сдавайтесь в плен! Все равно победа будет за нами! Потому что за нами правда и с нами Бог!

Немец накинул петлю, мне сдавило горло, я ухватилась руками, какой-то нечеловеческой силой раздвинула ее.

– Прощайте! Не бойтесь! Боритесь!

Фашист затянул петлю. Раздался крик, точно выстрел в тишину. Может быть, кричала та женщина, похожая на мать, а может, это заплакал лес, застонала земля. Птицы слетели с деревьев. И стало тихо, так тихо, что не слышно ничего.

Все разошлись.

* * *

Фронт растянулся. Дороги разбиты. Все еще бомбят. Петр ехал уже несколько недель и теперь явственно понял, здесь застрял надолго. И больше всего тяготило бездействие.

Он ехал по заданию редакции писать о партизанке Тане, которую казнили немцы, а она никого не выдала и спасла свой отряд, о ней рассказали вышедшие из окружения ребята. Но там сейчас бои, и теперь не проехать, что делать, очерк ждут в редакции со дня на день. Петр ходил по комнате, как тигр в клетке, курил, злясь на себя, на дороги, на немцев, на проклятую войну, как в дверь вошел старичок, маленький, седенький, в дырявой одежде.

– Ты, что ль, тут будешь писатель?

– Я корреспондент из газеты. А тебе зачем, отец?

– Да вот... – старичок помялся, – сказывали тебе про партизанку надо. Так у нас была одна...

– Где?

– Да вот отселева километров пять по прямой через лес, у меня дочка в том селе...

Петр поначалу расстроено махнул рукой.

– Да нет, мне под Вязьму надо.

Старик уж было хотел идти.

– Ну, коли не пойдет...

– погоди, отец. Расскажи, что там приключилось.

Он остановил старика и усадил перед собой.

– Ну что рассказать... Был у дочери, как немцы подошли. Девочку там казнили. И так мне запомнилось. Ее вешали, а она говорила, ей петлю на шею, а она все говорила. Сказывала: боритесь товарищи, победа за нами будет. Бейте супостатов...

– А как звали-то ее?

– Ой, этого не скажу, не знаю. Это только Бог знает. Да, может, кто из тамошних что расскажет. У меня-то и память уже никуда...

Петр посмотрел в окно, сквозь лес шла дорога.

– Туда, что ли, по прямой?

Обернулся, старика уже не было. Кинулся за ним, но во дворе сидели только солдаты, они курили и старика не видели.

Кто-то будто повел его, и тогда он сам не мог объяснить, почему самовольно, без приказа, быстрым шагом побежал искать то село. Стучал во все дома, расспрашивал, отвечали неохотно. Но вдруг...

– Кажется, Таней она назвалась... Пытали ее, мучали сильно, а она все на своем стояла...

«Таней... мистика какая-то», – подумалось вдруг.

Тоже Таня. Только другая. И все больше затягивала, брала за душу история, рассказанная местными. И написалась быстро, сама собой. И покоя не давала, будто сама хотела что рассказать, будто звала. Потом очерки, расследование, мама, Шурик, звание Героя, статьи, повести, столько всего. Хорошего, плохого, разного. Верят, не верят. И дважды казнят.

Ну а после будут говорить, говорить, говорить... Говорят.

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

ПЛОТИНА

Истерзав зубную щётку, Пётр Алексеевич зашёл в кухню. Нина уже хлопотала у плиты, перемешивая половником в большом закопчённом чугуне корм скотине. Вокруг неё, задрав хвост, кругами ходила рыжая Рыська. Проснулся и хозяин. Сначала из-за печи показался его нос, – здесь, в закутке за печью, на тёплых кирпичках лежанки Пал Палыч нередко ночевал, набегавшись по лесу или промёрзнув на озере, – понемногу нос прибывал, увеличивался в размерах, и наконец Пал Палыч предстал целиком, в футболке и кальсонах. Прижав локти к бокам, он повёл плечами – в организме его при этом что-то хрустнуло.

Пока хозяин раскочегаривал в котельной дровяной котёл, а хозяйка задавала фураж поросятам, Пётр Алексеевич рассматривал зелёное убранство кухни. С мая по октябрь в цветнике перед домом и вдоль дорожек во дворе стараниями Нины, сменяя друг друга, пестрели мышинный гиацинт, лапчатка, флоксы, клематисы, розы, живучка, нивяник, циния, ухватистая ипомея, георгины, гладиолусы, мохнатые хризантемы и чёрт знает что ещё. Не довольствуясь милостью природы, благосклонной к ботанике от силы полгода, в доме Нина тоже насаждала декоративную флору: повсюду на подоконниках – цветы и жирные суккуленты в горшках, по углам гостиной – деревья и папоротник в кадках, а в кухне под потолком по натянутым струнам полз многометровый тропический вьюн. Имён экзотической зелени Нина не помнила – звала каждую хворостину по-свойски. Так диковинный папоротник в гостиной стал павлином, а вьюн – ползушкой.

Появившись в кухне, Пал Палыч – теперь на нём были соответствующие случаю штаны – сообщил:

– Что-то кости ломит. – Влажные белёсые волосы на его голове ершились, растрёпанные полотенцем. Пригладив их пятернёй, он задрал футболку и почесал плоский живот. – И пузо шкрябётся.

Садясь вслед за Пал Палычем за накрытый к завтраку стол, Пётр Алексеевич улыбался. Хозяин, пусть иной раз и жаловался на здоровье, со всей очевидностью относился к числу тех осуждённых на плаху, чей приговор не спешат приводить в исполнение, бесконечно откладывая роковые сроки. Более того, не вызывало сомнений, что он непременно будет помилован и проживёт ещё долгие счастливые дни, на которые, возможно, и сам не рассчитывал.

«И всё здесь этак, – извлёк из головы мысль Петр Алексеевич. – Жизнь разгоняется, хочет обскакать само время – её уже не отличить от телевизора с его опустошающим мельканием, – а здесь как будто бы ещё не запрягли...» Однако он тут же понял, что сам с мыслью поспешил – перемены растеклись по всем щелям, – не так давно Пал Палыч рассказывал о местных цыганах: вчера они топили сахар и отливали петушков на палочке, а нынче на электронных весах фасуют героин.

На завтрак Нина приготовила пшённую кашу и глазунью с салом. Как бы на выбор, хотя не возбранялось, подобно Пал Палычу, положить себе в тарелку сразу то и это. Тут же на столе – нарезанные камамбер, холодного копчения клыкчак и сыровяленая колбаса, привезённые Петром Алексеевичем в качестве гостинцев. Как всегда в этом хлебо-сольном доме – всё с избытком.

– У нас раньше как? – говорил Пал Палыч, продолжая начатый ещё вчера сумбурный краеведческий обзор. – В каждом сяле свой праздник гуляли – там Покров, тут Вознясение. На какой престольный царкву святили, тот день, значит, и главное на приходе вяселье. В ином месте, бывало, ня то что праздник – целая ярмарка. Вот и ходили люди из дяревни в дяревню: парни – девок поглядеть, большаки – погулять да погостить. А у материной родни Сдвижанье сбрызгивали – это конец сентября, когда змеи пярэд зимой друг к дружке в клубок сдвигаются...

– Балаболишь всё. – В кухню вошла Нина – случай добродушно пожуричь мужа она не упускала. – Сказал тоже – Сдвижанье... Креста Воздвижанье. Ня язык – помело. Пярэд людя́м стыдно.

– Вот помру, – сообщил Пал Палыч, – останешься одна, как в жопе дырочка, тогда начнёшь меня добром поминать и прощение просить. Но я ня прощу, ня надейся. Жалей живого, а ня мёртвого – мёртвого жалеть ня надо, мёртвого надо помнить.

– Ой, прямо сердце затёпалось. Помрёт он... Типун на язык, – махнула рукой Нина. – Только и знаешь, что им трэхать – чистое помело.

– Что ни скажу, – уплетая клыкчака на хлебе, пожаловался Петру Алексеевичу Пал Палыч, – всё буду пярэд ней как вша пярэд соколóm.

– Так и есть. – Погружённая в мелкие хозяйственные хлопоты, за стол Нина не садилась. – Старый балабол.

– Видали, шишка-крутышка! Может, и старый, да в кулак ня храплю. – В глазах Пал Палыча блеснул азарт. – Чарна зямля, да на ней хлеб сеют, бел снег, да на нём собаки серют.

Нина в карман за словом не полезла:

– Вот тоже ухарь! Дорогой подарочек! Да такой товар в базарный день – за пяточок большой пучок! Здоров, как борóв, а и глуп, что пуп.

Пётр Алексеевич едва сдерживался, чтобы не прыснуть в тарелку, – кусочек сала тихо хрюкал у него во рту.

Октябрь подходил к концу. Утки из прудов, канав и мочил ушли на озёра, где сбились в стада и ожидали первых заморозков – тогда всё живое и трепещущее замрёт, впадёт в тихий обморок (а то, что не замрёт

и не впадёт, обретёт удивлённый, удручённый или скорбный вид), и они наконец осознают утрату рая, который и людям и зверям открывается лишь в обстоятельствах потерянности, – осознают и полетят на юг, в надежде отыскать пропажу. Но заморозков всё не было – остатки бурых листьев тут и там сухо шуршали на деревьях, грибы в лесу стояли крепкие, не *скляклись*, однако бобр уже перелинял, и шкура у него была, как говорил Пал Палыч, *гожая* – можно брать. На бобра он нынче Петра Алексеевича и пригласил. То есть само собой и пернатых по озёрам можно погонять на вечерке, да вот только не видать что-то ни серого гуся, ни северной утки – октябрь стоял мягкий, душевный, а гусь, когда летит клином, на озеро лишь в холодную ночь садится – в тёплую разве из-под облаков поκληчет. Есть, конечно, на озере местная утка, но её в вечернюю зорьку на перелёте будет не густо.

Каждый ухаб капканы в багажнике приветствовали металлическим брюзжанием. Не доезжая Тайлова, Пал Палыч показал отворот с просёлка, и Пётр Алексеевич вывел машину на едва приметную лесную дорогу. Недолго проехав по гребню пологого, вытянутого валом холма, решили остановиться – дорога здесь почти терялась в зарослях наступающего с двух сторон молодого осинника. Дальше, закинув за плечи рюкзаки и ружья, пошли пешком.

Сразу за лесом начинался широкий луг, покрытый рослой жёлто-бурой осокой и пожухлыми мётлами лабазника. Между вершинами сухих трав тут и там были перекинуты невесомые осенние паутинки. Скоро вышли к извию небольшой речки, Старой Льсты, по высокому берегу которой тянулись кусты лозы, а напротив, по низкому, стояло сырое чернолесье: ольха, осина, берёза, ивняк – всё вперемешку.

Пошли вдоль берега, петляя между кустов. В небе над лугом и рекой закладывал круги ястреб. Пётр Алексеевич засмотрелся: ястреб – лесная птица, на просторе увидишь не часто.

– Тут, Пётр Ляксеич, осторожно, – предупредил шагавший впереди Пал Палыч. – Бобры лозу режут, а у ямли сук острый остаётся – ровно шип. Сапог враз пропорете.

Пётр Алексеевич бдительно посмотрел под ноги – действительно, по краям кустов из земли, точно колья в волчьей яме, торчали останки срезанных ивовых веток.

За очередным поворотом речки показалась бобровая плотина – низкий берег за ней был подтоплен, чахлые деревца стояли прямо в воде. Как рассказывал накануне Петру Алексеевичу Пал Палыч, главный, помимо охотника, враг у бобра – волк, медведь, россомаха, рысь, лиса; на суше бобр неуклюж, зато по воде легко уйдёт от любого преследователя, да и зимой в спячку не впадает, шерудит, хрустит запасёнными ветками. За тем и плотина – безопасный доступ к корму по речному разливу и гарантия глубины русла, чтобы река, чего доброго, не промёрзла до дна, потому как выходы из нор и хаток у бобров устроены под водой.

Внезапно из прибрежной травы, едва не из-под ног Пал Палыча, вытягивая изумрудную шею и торопливо хлопая крыльями, взвился невесть как очутившийся тут одинокий селезень. Набирая высоту, он пошёл к чернолесью. Ястреб тут же сорвался с неба наперерез добыче, но Пал Палыч оказался проворней – двумя выстрелами сбил утку, и та комом рухнула в запруженный ольшаник. Ястреб, однако, не убоившись ружейного грома, устремился за ней следом.

– Вот бес! – Пал Палыч подтянул болотники и, побрякивая капканами в рюкзаке, поспешил по плотине на тот берег Старой Лысты отбивать у разбойника трофей.

Вскоре над кронами деревьев, размашисто орудуя рябыми махалками, взмыл к небу оставшийся без поживы ястреб. Должно быть, это он загнал сюда отбитого от стаи селезня, а теперь Пал Палыч лишил его заслуженной трапезы.

Вода под плотиной стояла ниже на полметра. Пётр Алексеевич тоже подтянул болотники и ступил на скреплённые землёй и илом ветки – сооружение оказалось надёжным и, слегка пружиня, держало его вес. Некоторые ветки дали корни и побеги, желая укрепиться здесь навсегда. Бобровая постройка тянулась метров на двадцать; Пётр Алексеевич не успел дойти и до середины, как на другом краю появился Пал Палыч с селезнем в руках. Подвесив рюкзак на сук осины, некогда росшей на берегу, а теперь оказавшейся в запруде, он развязал горловину, достал пару капканов, а утку бросил в объёмистые недра. На тот же сук повесил и ружьё.

– Хороший селезень, – доложил Пал Палыч, – нагулянный, жирный – кожа под пяром жёлтая, что топлёное масло.

С этими словами он принялся разбрасывать сапогом ветки, пробивать и протаптывать в плотине брешь, куда вскоре с шипением устремилась вода.

– Помогайте, Пётр Ляксеич, а я капканы насторожу.

Повесив и своё ружьё на осину, Пётр Алексеевич бодро принялся за дело. Пал Палыч тем временем ловко насторожил два капкана, навязав на затворные крючки паутинку из капроновой нити, аккуратно положил их на плотину и стал выгребать и вытаптывать ещё одну пробоину – метрах в семи от первой. Затем на дне перед проделанными брешами осторожно, чтобы невзначай не коснуться нитей, установил взведённые железные клещи, обмотав прикреплённые к ним металлические тросики один вокруг давешней осины, другой вокруг торчащей из плотины коряги.

– Как сойдёт вода, – пояснил Пал Палыч свои манипуляции, – бобры, чтоб ход в нору ня обнажился, придут чинить запруду. Авось кого и прищемит.

Обратно шли тем же путём. Возле погрызенных кустов лозы Пал Палыч выбрал место со свежими срезами и белыми, но не до конца ещё обглоданными от коры сучьями, спустился к воде и поставил перед отчётливо заметным в прибрежной траве бобровым лазом еще один капкан. Чтобы было куда навязать тросик – без того зверь уйдёт вместе с капканом, – пришлось вбить кол, тут же вырубленный в лозянке.

– Летом бобры возле запруды ня сидят, по всей реке разбредаются, – говорил Пал Палыч, продираясь сквозь сухую луговую траву. – Тогда капканы больше на лазах ставлю. Лучше, где осина только-только свалена или сук лозы до бела ня весь ещё погрызен. Там в воду – капкан, а на берегу на ветку бобровую струю вешаю. Они струёй участок метят – если учуют чужого, враз идут разбираться.

– Так летом шкура ж не товарная, – удивился Пётр Алексеевич.

– А ня для шкуры. С них летом – мясо и струя. Она ж целебная – двадцать пять рублей за грамм.

– Ого!

– За шкуру столько ня возьмёшь.

– А мясо как? На что похоже?

- А он как заяц. Только водяной. То же питание.
- Небось, лицензию на бобра не берёте. – Уверенный в ответе, Пётр Алексеевич скорее утверждал, чем спрашивал.
- Раздвигая грудью высокую осоку, Пал Палыч рассмеялся.
- Скажете тоже, Пётр Ляксеич, лицензию...
- А охотовед застучает?
- На всё воля Божья, – озорно, не рядясь даже в театральное смирение, откликнулся Пал Палыч.
- Пётр Алексеевич такую первобытную беспечность не одобрял:
- Воля Божья – суд царёв.

На Селецком озере у Пал Палыча стояли сети. Озеро было большое, со сложным рисунком берегов, как бы разделённое на несколько вольных пространств – каждое со своими заливами, загубинами и камышовыми островками, – соединённых между собой протоками и неприметными проходами в густых зарослях тросты. По разным концам озера расположились несколько деревень, но между собой рыбаки ладили – места хватало всем. На тайловском берегу под присмотром приятеля, медвежеватога Володи, Пал Палыч держал лодку-плоскодонку.

Пётр Алексеевич, бросив на нос лодки ружьё и поставив между ног прихваченное из багажника ведро, сел на вёсла. Пал Палыч по колению в чёрной илистой жиже вывел лодку подальше от болотистого берега, заскочил на корму и, орудуя шестом в помощь Петру Алексеевичу, вытолкал плоскодонку с заросшего ершистой подводной травой мелководья на глубину.

– А вот ещё был случай, – усевшись на борт кормы и положив на колени винчестер, сообщил Пал Палыч. – Тому лет тридцать уже или около... Левым веслом сильнее бярите, Пётр Ляксеич. – Пал Палыч вытянул руку, указывая, где именно находится левое весло. – В Великих Луках чувствовали ветярана, и нас по областному указанию каким-то боком к тому делу прилепили, хотя где мы и где те Луки. Решили мы тогда от нашего охотхозяйства вручить ему медвежьё шкуру. Хрипатов Ромка без лицензии медведя взял, а наш охотовед тогдашний – дельный мужик – шкуру у него изъял, но делу ход ня дал – мол, самооборона, всё такое. Шкура хорошая – ковёр ковром. Хочешь – на пол, хочешь – на стену, а хочешь – на лавку. Милое дело. – Пал Палыч снова вытянул руку, уже без слов указывая, каким веслом Петру Алексеевичу следует орудовать сильнее. – Приехали мы в Великие Луки – зал, сцена, стол под кумачом, а у трибуны – подставочка. Ветяран-то хромый – одна нога другой короче. Тузы речей наговорили, мы шкуру вручили, а потом – застолье. Хорошо в Великих Луках угощали. Заполночь уже домой вярнулись. Смотрим, а шкура-то в багажнике у охотоведа так и лежит.

– Как это? – Пётр Алексеевич запутался веслом в скользких косах зеленовато-жёлтой тины. – Что ж вы ветерану вручили?

– Её самую и вручили.

– А что в багажнике?

– Она. – Пал Палыч мотнул головой под негромкий хохоток. – Потом мы её ещё чатыре раза заслуженным товарищам дарили – на пятый только хозяйина признала.

На глади озера, но выходя из облака, то пропадая, играло солнце. Дунул прохладный ветер, подняв небольшую рябь и завернув тут и там листья кувшинок, потом притих. Лодка шла к стене камыша.

– Вон туда грабте, – указал Пал Палыч, и Пётр Алексеевич оглянулся в направлении вытянутой руки. – Там проход в тросте. Видите?

Пётр Алексеевич увидел.

Когда плоскодонка вписалась в узкий проход среди камышовых зарослей, Пал Палыч встал и, опираясь о борт, вышел из лодки. Глубина здесь была чуть выше колена.

– Сходите, Пётр Ляксеич, – скомандовал Пал Палыч. – Там закол будет, на руках лодку проведем.

Камыш стоял почти вплотную к бортам – вёслами толком не махнёшь, разве только шестом тыркать. Нашупав ногой топкое дно, Пётр Алексеевич вылез из качающейся лодки. Вдвоём они повели плоскодонку по проходу – Пал Палыч тянул за нос, Пётр Алексеевич толкал с кормы. За старым заколом, проходя который посудина проскребла бортами по вбитым двумя рядами в дно склизким столбикам (между ними догнивали плотно уложенные прутья лозы), камыш редел и проход расширялся. Вновь забравшись в лодку, вышли на чистую воду к торчащей неподалёку жердине: от неё тянулся пунктир поплавок, едва заметных на взблескивающей ряби – опять дыхнул студёный ветерок.

– Хотел профессору историю сравнить, да случай всё ня подходил. – Пал Палыч, сидя боком на борту кормы, поднимал из воды фрагмент сети, встряхивал, освобождая от нанесённых за ночь ветром водорослей, отцеплял засевшую в ячейх рыбу и бросал в ведро у ног Петра Алексеевича, потом вытягивал следующий. – Грабте потише, а то ня успеваю.

– А вы мне расскажите. – Пётр Алексеевич, подгребая против ветра и стараясь не зацепить веслом сетку, удерживал лодку на месте.

– Я тогда в техникуме учился, в Себяже. Преподаватель по математике у нас – женщина. Лет на семь, должно, всего и старше. Красивая такая – маленькая, кругленькая, в очках. Мой друг Мишка Кудрявцев – мы с им с одной группы были – и говорит: Паш, а она ничего, ты как – стал бы? А я ему честно: знаешь, Миш, просить ня буду, но если дала бы, я б ня отказался. – Пал Палыч негромко, но заразительно, с переливом рассмеялся. – Учимся, значит. Первый курс прошёл. На втором курсе где-то после Нового года, к ясны ближе, на уроке спрашивает домашнее задание. Одного спрашивает – ня знает, другого спрашивает – ня знает. Вызывает отличницу – отличница ня знает. Красивая наша разозлилась, вляпила три двойки: всем, говорит, приготовить домашнее задание – проверю, у кого ня сделано, всем двойки поставлю. Ёлки-молалки, а в тот день ня сделал я домашнее задание – бегал на соревнованиях. А она по рядам ходит – два, два, два... Ко мне подошла – у меня ня сделано. Я говорю: ня ставьте мне двойку, я за весь учебный период один раз домашнее задание ня сделал – и то на соревнованиях был, по бегу соревновался.

В ведре, разбрызгивая зачерпнутую из-за борта для рыбьего жизнеобеспечения воду, уже бились два толстохвостых линя, краснопёрка и щука.

– А она? – Пётр Алексеевич следил за ловкими руками Пал Палыча, слегка покрасневшими от октябрьской воды.

– Нет, говорит, поставлю. И так мне обидно сделалось, что разозлился. Если, говорю, легче будет, поставьте и вторую в одну клеточку. А она тоже вся от злости искрит – поставлю, говорит. Потом сразу домашнее задание закрыла и новую тему рассказала. Мне тема была ня сложная, но я обиделся. Она мне: иди к доске. А я уже на принцип –

ня знаю, говорю. Она: я тебе сказала – к доске. Я думаю: что я залупаюсь? Пошёл. Она: пиши. Пишу примеры. Она: решай. Ну, говорю, я же сказал – ня знаю. Садись, два. И вкатила мне вторую двойку в ту же клеточку. Ну, всё, думаю, унижаться ня буду – ня стану исправлять, раз она такая зляка.

– И что?

– После она меня ещё вызывала и всё на двойки сводила. Потом вясной, в мае уже, за десятый класс предметы закрываем, чтобы перейти на специальные – зоотехника и всё такое. Уроки кончились, я было уже домой собравши, а тут нам с Мишкой полы мыть – график. Каждый день по два человека после занятий в своём классе полы мыли. Так заведёно было.

В ведро полетела ещё одна щука – тут Пал Палыч помучился, выпутывая из сети глубоко засевшую и зацепившуюся жабрами добычу.

– Моем мы с Мишкой пол, а в тот день как раз журнал оценок никто ня взял в учительскую. Почему – ня знаю. Я скорей посмотреть. По математике и правда – в одной клеточке две двойки и ещё две-три потом. Штук, словом, пять. А по остальным... Гляжу по физике – одна четвёрка, остальные пятёрки. И по другим так же. Ну, думаю, коза, я тебе покажу! И с этого дня, вот как полы мыл, я по физике – никаких пропусков. А их и так не было. Все лабораторные до экзамена – сплошные пятёрки. Экзамен по физике – билет тащу, отвечаю. Преподаватель говорит: по билету у тебя пять. Лабораторные смотрит – пять. Посещение смотрит – стопроцентное. Выпускная – законная пятёрка. Иди, говорит. Я пошёл. Через два дня – экзамен по математике, а у меня хвосты. Было ж как – экзамен ня сдашь, пока все зачёты ня получишь и все двойки ня исправишь. А тут мне сразу – иди экзамен сдавай. Я: а как же хвосты? А ня колышет – иди, ты допущен. Ага, думаю, коза, допустила... Прихожу на экзамен – все сдали, я последний. Бяру билет, кладу зачётку, сажусь. Первый вопрос знаю, второй знаю, третий – нет. Ну, думаю, два вопроса ответу влёгкую – тройка есть. А они, преподаватели, любили, чтобы ты писал. Чтобы листок тебе, ручка и – шкряби. А я ня любил писать, так сижу. Пяредо мной как раз девчонка отвечает и запуталась, ня в понятии. Я подсказать хочу, да никак ня подскажешь. Математичка видит, что я ня пишу, думает, что ничего ня знаю, говорит: помогай. Я из-за парты встаю и говорю: так, так и так. Она: садись. Та девчонка опять отвечает и опять ня знает. Мне – помогай. Я опять ответил. Садись. Потом третий раз помочь просит. Я третий раз ответил. Девчонке поставила три, меня вызывает к столу. Подхожу, она бярёт зачётку, ставит три. Ложи, говорит, билет. Я ложу. Иди. Вот так, даже по билету спрашивать ня стала.

Пал Палыч просмотрел сеть до конца, расправил край, подтянул и бросил в воду.

– Пётр Ляксеич, туда тяперь давайте, от того мыска у меня ещё сетка поставлена.

– А зачем вы, Пал Палыч, это профессору хотели рассказать? – разворачивая лодку носом к камышовому мыску, спросил Пётр Алексеевич.

– Как зачем? А на заметку. Тут же – педагогика.

– Да? – почесал лоб Пётр Алексеевич. – Глубоковато для меня – в толк не возьму.

– А проще некуда. Если дала б она в начале – я б у ней на пятёрки учился.

Ветер стих, вода безмятежно всплескивала под веслом. Солнце, вырвавшееся из облачного заточения, залило озёрную ширь и, не грея, высверкивало в каждой капле так, что слепли глаза.

– Хорошо... – блаженно сощурился Пал Палыч. – Что, Пётр Ляксеич, для меня счастье? А вот это – озеро, лес, река, маленькая рюмочка да со своим человеком покалякать.

– И всё?

Пал Палыч сквозь прищур внимательно посмотрел на Пётра Алексеевича.

– Вы, что ли, Пётр Ляксеич, об этом... Так вот что я скажу: для бабы всегда главное – любовь, а для нас, мужиков, – волюшка и справедливость.

– А если выбирать? – не отцеплялся Пётр Алексеевич. – Если ребром встанет: или то, или другое?

– Тогда известно, – Пал Палыч, не имея власти изменить ход вещей, развёл руками, – если выбирать, так мы за волю.

Неожиданно для себя Пётр Алексеевич молитвенно подумал: «Да пребудет с вами, Пал Палыч, благословение тех сил, которые уже подарили вам такую жизнь и такую судьбу».

За всё время, пока проверяли четыре сетки и гребли обратно, под выстрел не взлетела ни одна утка – пуганые стада сидели вдалеке на безопасной глади. Подставлялись только лебеди – их за грациозность тут жалели, а они пользовались и дразнили.

Понемногу холодало. Когда подъехали к дому, небо уже окончательно расчистилось и просияло – температура упала градуса на три. Ночью вполне могло и приморозить.

На крыльце Пал Палыча и Петра Алексеевича встретила Нина – глаза её были мокры. Оказалось, пока они таскались с бобровой плотины на озеро и там смотрели сети, ястреб утащил Пятнушку. Во дворе среди Нининых клумб вечно болталось несколько прикормленных сердобольной хозяйкой не то приبلудных, не то соседских кошек. В дом допускалась только одна любимица – рыжая Рыська, остальным дорога туда была Пал Палычем заказана, но Нина настояла, чтобы в холода и непогоду кошкам разрешалось заходить в котельную и в подпол. Состояла в этой дворовой банде и полугодовалая кошечка Пятнушка – бесстыжая попрошайка, пушистым хвостом и белым пятном на мордочке проложившая дорогу к чувствительному Нининому сердцу.

Далеко ястреб Пятнушку не уволок, расклевал тут же, на огороде, прямо на чёрном картофельном поле. Нина качала воду в баню, а когда увидела пирующего разбойника, от кошки уже оставались кровавые ошметки. Их Пал Палычу было велено предать земле за сараем.

– Ну что с им делать? – взяв лопату, воззвал невесть к кому Пал Палыч. – Мы у него – утку, он у нас – кошку. Вишь, как хитро в природе... – Он обернулся к Петру Алексеевичу. – На той неделе я у него вяхиря забрал – он в лесу пряследовал, а я ствол поднял – бух! – и мой вяхирь. Так он в тот же день у нас курёнка утащил, шельмец.

Церемония похорон много времени не заняла, но Нина до вечера оставалась мрачной и неразговорчивой.

После на скорую руку перекусили, и Пал Палыч отправился топить баню. Пока та калилась и настаивалась, прикидывали, не съездить ли на вечерку в Михалкино – там можно взять лодку у рыжего старовера Андрея, – авось на Михалкинском озере богаче будет утки, а то и сядет

подкормиться гусь. Разумеется, речь шла о вечёрке завтрашней – кто ж после бани двинет на охоту? Только деляга и прохвост.

Жар был что надо – жгло нос и ломило зубы, – парились долго, в три захода и в два веника. Когда вышли из бани, на дворе уже темнело.

Нина тем временем пожарила рыбу и накрыла к ужину стол, а как мужчины вернулись в дом, с траурным лицом отправилась им на смену. Сказала, чтобы её не ждали – сыта.

– Мы, Пётр Ляксеич, на природной еде – и здоровы, – указал на стол, как на наглядное пособие, распаренный Пал Палыч. – Мясо, рыба, картошка, сало, яйца, овощи, грибы, заготовки разные – всё своё. Или из леса да озера. А кто на магазинную еду перейдёт, тот сразу хворый делается – сила уходит. Замечено... – Пал Палыч задумался в поисках подходящего примера. – Да хоть бы по детям и внукам. Приезжают хвилье, а как на нашем-то подкормятся – другое дело. – На лице Пал Палыча выступил банный пот, и он утёр его рукавом рубашки. – Про вяттеринарию поздно понял – ня моё. Мне бы в охотоведы. Запах этот от сумки вяттеринарной... Коровий послед, слизь эта... За ноздри корову дяржать... Терпеть ня мог. А кабана разделать – ня ня брезгую, чисто всё будет, аккуратно. Это мясо – есть-то надо. Кролика забить? Жалко, а что делать. Ня стану – внуки будут расти на полуфабрикатах, на химии этой. А мне хочется, чтоб росли здоровы, чтоб со стоячим, чтоб им люблю девку обнять и обласкать, чтоб продолжался род. Об этом забота.

Пока Пётр Алексеевич открывал привезённую с собой бутылку и разливал в рюмки водку, хозяин свёл разговор с даров земли и леса на подрастающих внуков.

– Разные оба – небо и вода. Вот линь да карась – им надо, чтобы погрязней, они и там. А на чистой воде им ня очень, ня уютно чувствуют – там уклея да голавль. Так и человек. Тёма, старший, ближе к технике – мопед, компьютер, а Максим к музыке – пианина электрическая ему куплена. Но оба – баре: подай это, подай то. Брызгливые – ты ложкой чайной посласлил чай в стакане, они её уж ня возьмут. А что ей в кипятке – какая разнища? Глупости. У нас этот номер ня особо проходит: ня бярёшь – мой сам. И ведь пойдёт, помое... – Пал Палыч вздохнул, беря со стола рюмку. – Ня то мы прожили, когда дятьми были: с одной чашки ели суп, второе – всё. Семь дятей – посуды же ня напасёшься. И ня дай Бог – пока батька ня помолится, ня вздумай ложку взять. А ня втерпеть – есть хочется. Только ложкой туда – батька своей тябе в лобешник... А мамка садилась последняя – вот как было.

Чокнулись и выпили. Кладя себе на тарелку сладкого линя, Пал Палыч снова вернулся к теме здорового чревоугодия.

– Мы детям и мясо, и рыбу, и картошку свою в город даём. Так они ня очень, привыкли к магазинному – заевши. Крольчатина им уже ня нравится – ня надо им, вишь, кроликов. И лещ со щукой – больно костлявы. И дичину ня берут – утку, там, тетярева – жёстко им. А свинина годится и кабана тоже – этих только дай. – Пориция привередливые городские вкусы, хозяин недовольно наморщил лоб. – А наша-то свинина – ня то что с магазина, другое качество. Вот мне сваты рассказывали случай. Они, сваты, с Опочки, а дело при Великолукском мясокомбинате было. Тётка там одна на свиноферме работала, знакомая им. А у них как? Кто при ферме, тем своих животных держать няльзя, чтобы ня занести заразу – ящур, чуму африканскую или чего там. А она держала – поросёнок был у ней. И как-то изловчилась с фермы утянуть мяшок добавки. Ну, слышали, наверно – на фермах свиньям в корм добавки сы-

плют. Она ня знала, что им ня одну дают, а комплекс – взяла что увидала. И стала той добавкой поросёнка-то подкармливать. Он и пошёл у ней расти, как на дрожжах – мясо так его и раздувает. Всё рос и рос, покуда на нём, на живом прямо, шкура ня лопнула. – Пал Палыч свёл и развёл над столом ладони, показывая, как лопнула на поросёнке шкура. – Кровя-то, говорили, так и брызнула. Для шкуры своя, оказывается, добавка полагается, чтоб эластичность повышалась, а у ней вона...

– А кто у вас сваты? – любопытно спросил Пётр Алексеевич.

– Хорошие сваты. Он уж на пенсии, а она – музейный работник. По краеведению. Статьи пишет – давала Нине поглядеть. Название ещё такое... О роли полотенца в будни и в праздники. Вроде того. Что говорить – хорошие сваты, – для убедительности повторил Пал Палыч. – На свадьбу дятей столько гостей назвали – оливье готовили в бетономешалке.

Пётр Алексеевич повторно наполнил рюмки.

– Я про свинью-то, чтоб понятно было, какое оно в магазине – мясо. – Пал Палыч неторопливо разбирал вилкой линия. – А этим – кролик уже ня то. Такие стали дети – перяборчивые. А мальцы ничего ещё, едят у нас, что дадут. Их Нина по этой части балует – каких рахат-лукумов только ня придумает. Вон сколько припасено.

Пал Палыч поднялся со стула, распахнул дверцу морозильной камеры и выдвинул один из пластиковых ящичков. Он доверху был набит пакетами со свежемороженой зеленью – ледяная петрушка, укроп, стрелки лука.

– Ня то, – задвинул Пал Палыч ящик обратно и выдвинул другой.

В этом, распределённые по прозрачным контейнерам, лежали давленная с сахаром клубника – домашний сорбет – и зазеленелая, подёрнутая кристальной белизной малина – рассыпчатая, ягодка к ягодке. Чтобы добиться такого сказочного вида, её Нина, похоже, морозила разложенной на доске поштучно, как пельмени.

Утром, выглянув в окно, Пётр Алексеевич обнаружил, что мир, точно Нинина малина, сплошь покрыт искристо-белым инеем – и деревья, и провода, и пожухлая, местами под изморосью ещё зеленоватая трава, и шиферная крыша сарая. Только чёрная земля на огороде заиндевелила выборочно – пятнами. Часа два-три – и эта красота исчезнет. Пётр Алексеевич ощутил в себе неопишное чувство – поэтическое ожидание зимы. Такой зимы, какая представляется в рождественских фантазиях – белой, пушистой, покатою, с кружащимися в воздухе хлопьями. Он вспомнил, как однажды рассуждал про снег его приятель Иванюта – поэт, заведующий складом при типографии Русского географического общества, где Пётр Алексеевич занимал должность главного технолога. Иванюта говорил, что снег – это не напасть, не падение в испуг, беспмятство и пустоту. Снег – это мириады и мириады маленьких штучек, которые похожи на звёзды – у них есть центр, ось симметрии и лучи. Они, представь себе, сияют! Из них можно вылепить бабу. Они хрустят под ногами, как огурцы. Рождённые нулём, они умирают на ресницах. Они располагают к холодной водке и горячему огню. Под ними можно проспать до весны. Говорят, они убили динозавров. Они – на самом краю видимого мира, но их подлинность не вызывает сомнения...

Он был забавен, этот Иванюта. Некоторые его суждения запомнились Петру Алексеевичу крепко. Например, он утверждал, что единственная подлинная свобода художника – его самобытность. В отсутствие

самобытности у художника всегда есть господин – любовь. Тот, кто лишён оригинальности, рабски подражает тому, кого любит. Освободить его, разбивать цепи – бесполезно, он тут же закуёт себя в другие.

Пётр Алексеевич задернул занавеску и, сладко потянувшись, неопишное чувство приструнил: придёт зима, куда ей деться – ещё и надоест.

Позавтракав, собрались на Старую Льсту смотреть капканы. Когда обувались в прихожей, Пал Палыч указал Петру Алексеевичу на большой мешок для строительного мусора, лежащий на шкафу.

– Бобровые шкуры, – пояснил он. – Пятнадцать штук. Махрой перьясыпаны.

– Что не сдаёте? – Не дожидаясь ответа, Пётр Алексеевич сообразил: – Ах, да, вы ж без лицензии...

– Ня в этом дело. – Пал Палыч распахнул входную дверь, открывая вид на заиндевелый цветник и вертящихся на крыльце кошек. – Пошли! Пошли! – Он сапогом отогнал норовящую прорваться в дом банду. – Профессор шкуры хочет взять. Там есть у него вроде кому щипать и мездрить. Хорошее дело – шубу жане справит.

– Все, что ли, ему?

– А ня знаю. У нас шкуры самовольные, какая ня захочет – та вернётся.

Уловить момент, когда Пал Палыч переставал быть серьёзным и начинал скоморошить, Петру Алексеевичу удавалось не всегда. Иной раз доходило до недоумения. Немного поразмышляв о своеобразии человеческой натуры, Пётр Алексеевич решил, что самобытность к лицу не одним только поэтам, после чего положил ружья на заднее сиденье машины и завёл двигатель.

Доехали без приключений, дивясь сквозь стёкла преобразившемуся за ночь и местами уже оттаявшему пространству.

– Матки дважды кроливши, а я кролей ещё ня резал, – делился по пути домашними заботами Пал Палыч.

– Что так?

– А ня растут. – Пал Палыч пожал плечами. – Ня знаю, в чём дело. Нету роста. Может, зерна им? Так зерном кормить – в копейку встанет.

– А вы скажите сватам, чтоб у своей знакомой разузнали, – посоветовал Пётр Алексеевич. – Вдруг у неё прикормка поросычья завалялась.

Пал Палыч с переливом рассмеялся.

На повороте с просёлка в чащу Пётр Алексеевич словно в первый раз увидел рощицу с изогнутыми причудливой дугой и в разные стороны склонёнными берёзками. Спросил у Пал Палыча: что за притча? Оказалось – пригнуло зимой тяжёлым снегом, теперь так и растут.

Оставили машину на прежнем месте, прошли по лесу и с холма спустились к лугу. Луг блистал – вершины трав, связанные провисшими паутинками, всё ещё были покрыты белейшим игольчатым инеем, и казалось, что воздух, колеблемый лёгким ветром, наполняет ледяной звон. Пётр Алексеевич про себя отметил, что тут, на Псковщине, уже в который раз доводится ему наслаждаться пейзажами в тысячу раз прекраснее тех, которыми пройдохи путешественники потчуют посетителей своих сайтов.

У лозовых кустов ночью бобр не ходил – капкан в воде был по-прежнему взведён и насторожен. На подходе к плотине Пал Палыч остановился и прислушался, после чего ускорил шаг. Пётр Алексеевич слегка отстал, а Пал Палыч тут и вовсе припустил, снимая на ходу рюкзак и извлекая из него топор. Поспешил и Пётр Алексеевич.

В капкан у осины передней лапой угодил молодой бобр – перевалившись под плотину, он упорно бился с железом, но тросик, привязанный к стволу, не давал ему уйти. Подоспевший Пал Палыч звезданул бобра обухом по голове, и зверь затих.

– Всё, – укладывая мокрую добычу в рюкзак, сказал Пал Палыч, – можно снимать капканы. Другие сюда ня пойдут – у них оповящение.

Переставив на озере сети, к обеду вернулись в Новоржев. От кристальной утренней сказки не осталось и следа – линии проводов уныло перечёркивали белёсое небо, оттаявшая трава была вялой и скользкой, голые деревья потемнели и сделались чернее прежнего.

Ночной заморозок укрепил вчерашние намерения – на вечерней зорьке решили с болванами попытать счастья в Михалкине.

Пал Палыч отправился с рюкзаком в сарай свежевать бобра. Собаки, запертые в вольере, учуяли звериный дух и зашлись истошным лаем. Пётр Алексеевич отнёс ружья в дом и поспешил следом за Пал Палычем – не столько в помощь, Пал Палыч прекрасно справится и без него, сколько из любопытства – ему было интересно взглянуть, в каком месте бобрового организма находится целебная струя.

Из-за дверей сарая, перекрываемые лаем, раздавались голоса. Пётр Алексеевич прислушался.

– А ня бяри в голову, – говорил Пал Палыч. – Что делать – так в природе заведёно. Мы – у него, он – у нас.

– Как ня бяри? – Тон Нининого голоса был непререкаем, будто у строгого учителя. – Что ты его дразнишь? Что злобишь? Ты его или пристрели, или ня забижай, раз он такой мстивый. И у него, поди, своя гордость есть и самолюбие. А ты с-под носа забираешь. Кому понравится?

Пётр Алексеевич поднял голову: над домом, очерчивая круг, по широкой дуге шёл ястреб.

Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Периковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

РЕКВИЕМ ПО ДЕРЕВНЕ

Барабанка

Над деревней рано-рано,
Громкий, слышно за версту,
Деревянный, барабанный
Раздается перестук.

Инструмента проще нету –
На веревочке доска.
И стучит пастух все лето,
Чтоб собрать свои войска.

Над запрудой спозаранку
Зябкий стелется туман.
Издаlechа барабанка
Будит сонные дома.

Новый день несет заботы,
А предвестник их – пастух.
Открываются ворота
Под веселый перестук.

Лихо свистнет хворостина –
Просыпайся веселей!
Радостно мычит скотина,
Чуя вольный дух полей.

...Это было, да не стало.
Зорька ранняя тиха,
Потому, коль нету стада,
Нет тогда и пастуха.

Но сквозь сон из синей рани
Часто слышу дробный стук...
Он был мастер барабанить
Однорукий наш пастух.

Бабушкины песни

Тонкий месяц скрыли тучи,
Снег всю ночь идет.
– Ванька-ключник, злой разлучник, –
Бабушка поет.

Русу косу расплетает,
Стелет мне постель.
За окошком тьма густая,
За окошком – степь.

Стынут уголья за дверцей,
Ветер стих в трубе.
– Помолись, родное сердце,
Добрых снов тебе!

От лампы хрупкий лучик
Освещает дом.
Ванька-ключник, злой разлучник...
Степь да степь кругом...

Дядя Миша

Снеговья почти до крыши,
А в избенке маленькой
Старый конюх дядя Миша
Подшивает валенки.

Дяде Мише снятся кони,
Жеребята резвые.
Дяди Мишины ладони
Дратвою изрезаны.

То-то – семеро по лавкам
И больших и маленьких:
Старший Колька, младший Славка –
Всех обуй-ка в валенки!

В ярком инее деревья,
Белые-пребелые!..
К дяде Мише вся деревня
Обуваться бегала.

Жили гладко, да не сладко...
Саночки кленовые!
Тут прокладка, там заплатка –
Валенки как новые!

Приутихли ребяташки,
Пусто на завалинках...
Шли за гробом дяди Миши
Все в подшитых валенках.

Перекати-поле

*Смотришь – через поле
Перекати-поле
Прыгает, как мяч.*

А. Фет

Спьяну, что ли, сдуру ли
Так не повезло –
Будто ветром сдунуло
Да и понесло.

В небе хмарь да вороны,
Высверки да гром.
На четыре стороны
Степь да степь кругом!

Из башки не выдует
Скоро этот хмель.
Позади забытые
Тридевять земель.

Мы своё оттопали.
Чей теперь черед?
Дует ветер во поле –
И несёт, несёт...

* * *

Вечер безоблачно-ясен,
Скоро закат догорит.
Снова отец Афанасий
К службе вечерней звонит.

В маленькой церкви безлюдно,
Певчие тянут не в лад.
Перед иконами чудно
Тонкие свечи горят.

Дым из кадила тает
Облачком возле икон.

Батюшка ровно читает
Людям Великий канон.

Сердце сожмется невольно...
Что там за свет впереди?
Батюшка, что же так больно,
Что же так тяжело в груди?

Дальнее это мерцанье
Как в темноте пронести?
Батюшка, на покаянье
Душу мою отпусти!

Этот ли труд совершая,
Сердце покой обретет?..
В маленькой церкви большая,
Вечная служба идет.

На кладбище с внуком

*Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.*

Мф.5:4

Густа зеленая трава
Родительских могил.
Усопшим не нужны слова,
И я слова забыл.

Тосклив кладбищенский пустырь,
Где, выстроившись в ряд,
Восьмиконечные кресты
Сиротами стоят.

Плющом ограда увита.
Могильный свят покой...
Тепла от солнышка плита
На ощупь под рукой.

И потускнели письма,мена,
И покосился крест.
Шепчу чуть слышно имена
И от Матфея текст.

Блаженны плачущие днесь –
Утешатся в раю...
А я как будто и не здесь,
И сам не свой стою.

Не удержать – текут года,
Как из горсти песок.
Для них я делал ли тогда,
При жизни, все, что мог?

Живым что нужно от живых?..
Спрошу, себя виня,
Любил ли я всем сердцем их –
Так, как они меня?..

Что я скажу при встрече им,
К коленям их припав?..
Мы, что имеем – не храним
И плачем, потеряв.

А внук, внимательный пацан,
Сказал: «Послушай, дед,
Ты старше своего отца
Уже на десять лет!»

И сердце вздрогнуло в груди,
Как под ножом лоза.
И свет, что вечно впереди,
Мне ослепил глаза.

И я стоял, как у огня
Стоит бездомный пес,
Но даже ветром у меня
Не вышибало слез.

Душа как комната пуста –
Без окон, без дверей.
Не на холме лежит плита,
А на груди моей.

Прошу у Господа: прости,
Когда прощенья нет!
Дай мне увидеть на пути
Твой незакатный свет!

Пошли душе моей приют,
Введи в последний храм...
Я так хочу заплакать *тут*
И радоваться *там!*

* * *

Так живу я на краю,
А точнее, с краю.
Как там, Господи, в раю?
Ничего не знаю.

У меня тут тоже сад –
Яблоня да вишня.
До соплей я, Боже, рад,
Что вот так все вышло.

Что живу без суеты –
Домик в три окошка.
Только я и только ты,
Да собака с кошкой.

Что молиться я могу
Искренне, недолго.
На высоком берегу
Постоять над Волгой.

И надеяться, что рай
На небе такой же.
... Ты чуть-чуть мне силы дай,
Милостивый Боже!

Чтоб дожить мне на краю,
С совестью не споря...
Как там, Господи, в раю?..
Как на Горе-море!

Дом на краю деревни

До окошек заросший бурьяном,
Покосились столбы у ворот...
И сказал мне пастух полупьяный:
– В этом доме никто не живет!

Жили-были... Ушли-позабыли.
Серый камень лежит у крыльца.
Так кладут оберег на могиле
У подножия голубца.

По тропинке, заросшей крапивой,
Проберусь осторожно к окну.
Загляну, повинуюсь порыву,
В паутинную глубину.

Стул без ножки... Тряпье на кровати...
С фотографии на стене
Смотрит девочка в белом платье,
Улыбаясь застенчиво мне.

Я представил, как полночью зыбкой,
Когда лунный колеблется свет,
В этом доме живет улыбка
Человека, которого нет.

Жили-были... Когда-нибудь так же
В запустение дом мой придет.
И пастух хрипло дачнику скажет:
– В этом доме никто не живет!

Живу и помню

И не плачется здесь, и не молится,
Но куда мне от памяти деться?
Я усну. Мне приснится околица
Деревеньки из дальнего детства.

В той деревне дома неказистые,
Пацаны поголовно босые.
Там поют из окошек транзисторы –
Все про Родину, про Россию.

Там рубаха на мне с прорехами
И пилотка из старой газеты.
Там Гагарин кричит: «Поехали!»,
Улыбаясь нам из ракеты.

Комсомольцы там с коммунистами
Пятилетку дают за три года.
А мальчишки ныряют с пристани
В золотую от солнца воду.

Там туманы стоят над плёсами,
А по Волге, как белые птицы,
Пароходы плывут колесные,
И сверкают алмазами спицы.

Там поют про такую Родину,
Для которой я что-то значу...
Там отец мой и мать похоронены.
Там люблю я, смеюсь и плачу.

Реквием по деревне

Так и жили мы, сами с усами,
Нынче озимь, а завтра – жнивье.
Заметало деревню большими снегами,
Поливало дождями её.

Полыхали над нею закаты,
Стороной обходила беда.
И горела над каждой избой небогатой
Золотая Христова звезда.

Срубы ставили. Травы косили.
В белом храме крестили детей.
Это было когда-то моею Россией,
Это было Отчизной моей.

На полях вырастали деревья,
На дорогах – полынь-лебеда.
И в помине давно уже нет той деревни,
Как и не было никогда!

* * *

Где я был...А где я не был?!
Но скажу вам без затей –
Нет нигде такого неба,
Как на Родине моей!

Где на солнечном просторе,
Подмывая берега,
Катит волны Горя-моря
Волга-матушка река.

Где живут родные люди,
Где меня пока что ждут.
И ругаются, и любят,
Но в беде не предают.

И когда б меня спросили,
Я отвечу, не совру:
Я люблю мою Россию,
Где родился и умру!

Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Родился в 1973 году в г. Горьком. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Работал охранником, дворником, поваром, PR-специалистом, маркетологом, райтером. В настоящее время – главный специалист аудио-видеолаборатории Волго-Вятского филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Автор книги стихов «Верхняя часть». Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

А КТО СКАЗАЛ, БУДТО ЖИЗНЬ ЛЕГКА?

Песенка

Хорошо встретить вас куплетом,
Про смешное такое всё вам
Спеть... Никак не могу о светлом,
Не могу никак о весёлом.

Голова вон совсем седая,
Да умишка совсем немного
Ниоткуда да в никуда я
Всё выводывал путь-дорогу.

Озадачивался ответом
Всё о смысле жизни путём,
Тьмой густою шёл да к рассвету,
Да встречал рассвет за рассолом.

Всё боялся, что опоздаю,
Шею выверну или ногу,
Но ни в те, ни в иные дали
Не отъехал, и слава богу!

Братцы, я к вам теперь с приветом.
Только что-то ни то ни сё он.
Я пока не могу о светлом,
Не могу пока о весёлом.

День пустоты

Должен остаться один.
Мысли темны и густы
Мнятся. Необходим
День пустоты.

Не говорить с собой,
Закоченеть, остыть.
Снимет, убьет всю боль
День пустоты.

Был вот, да вышел весь
В чернь – немота и стыд.
Просто измерь и взвесь
День пустоты.

Глупая суть вещей.
Чёрканные листы.
И ничего вообще.
День пустоты.

Довлеет дневи...

«Довлеет дневи»... давай, долей,
Теперь чего уж... «злоба его»
И сорок восемь всего рублей
В кармане звякнут. И ничего.

И ничего. Только на проезд.
Как ни заходишь, а всё не в масть
Один денёк можно не поесть,
А Бог, он милостив, он подаст.

Подаст ломоть и ещё чутка,
А вслед опять рубанет с локтя,
А кто сказал, будто жизнь легка?
Сейчас схватила и жмет в когтях...

«Довлеет дневи злоба его»,
Пока деньгами берут – давай.
И не проси больше ничего,
Не верь, не бойся...
Пиши слова.

Улица Столетова, улица Углова

Улица Столетова,
Улица Углова
Ну с какого этого? –
Вроде ни с какого.

Липицы зеленые,
Клен американский,
Водочка паленая
Да базар пацанский,

Лица закаленные –
Ходят человеки

Детской у районной
Да у библиотеки

Имени Чекалина
Пионера Сани,
Павшего за Сталина,
По-напротив в баню

Имени чекалика
С водочкой паленой.
Выпьют там по маленькой
С сладким иль соленым

Соком или без него,
Шкодят, безобразят –
Развлеченья местные
Не разнообразны.

Подобрать бы слово,
Только что-то нет его.
Улица Углова,
Улица Столетова...

Баночка

Жить, друзья, хорошо и здорово –
У меня вот такие мысли.
Вскрылась баночка с помидорами,
Помидоры чуть-чуть подкисли
Да по верху заплесневели,
Все равно мы их все подъели.

Все подъели на эти праздники.
Не должна пропадать закуска.
Под грибочек сопливо-масляный,
Под напиток известный русский.
Понемножечку-понемножечку
Да под жареную картошечку

Ну а вам всем добра и поровну
И удачи, и счастья. Лишь бы
Только баночка с помидорами,
Но никто никогда из ближних.
Потихонечку-потихонечку.
Без болезных да без покойничков.

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ХОЧУ В СЕМЬЮ

1

В день похорон жены своей Глафиры Алексей Александрович Вашурин сразу после поминок, назначенных в обычной столовой рядом с кладбищем, не заходя домой, отправился на вокзал, а оттуда прямоком в родную деревню. Сначала до райцентра Семеново на электричке, потом на автобусе двадцать километров и там от трассы пешком ещё пару. Да какая она родная, деревня эта, если за последние двадцать лет и был-то там всего ничего, раз пять, не больше; а в последние годы, как похоронил отца с матерью своих, так и не бывал вовсе. По большому счету его Емелино – это и не деревня, а довольно большое село.

Заявление на административный отпуск он на заводе загодя написал, «до востребования» вроде как, ещё до смерти Глафиры – никто и не возражал, ожидаемо было. Кому он там шибко нужен, на заводе, – вахтер в ватнике.

Глафира была ему чудесной, настоящей женой – с любовью, заботой, нежностью, если бы не два больших «но»: были они с ней не расписаны, вроде как «гражданский брак» это называется теперь, и не было у них детишек общих. А были бы, так, может, и зарегистрировались ещё.

Барьером для неосуществленного их загса была причина, о которой знал лишь Вашурин, а Глафира его, может быть, только догадывалась. При расставании в больнице в последний раз после операции лечащий врач, профессор-кардиолог, сморщившись и жалостливо, пожимая руку Алексею Александровичу, предупредил его: «А с сосудами у вас всё очень и очень скверно! В любой момент там всё может лопнуть!»

Потому шли они с Глафирой к своему концу наперегонки, да вот Глафира выиграла: рак скоротечный.

Родня Глафирина как стая налетела, даже погрузить не дали как следует. Только и разговоров все три дня: кому, да чего, да сколько. Машина «Лада-Ларгус» была на Любавина записана, и относительно неё претензий никаких не было. Квартира, в которой они жили с Глафирой, по документам Ваньке отходила, сыну её старшему от первого брака, а тапочки протертые и пачку старых газет, что на кухне в углу лежат, пусть делят эти налетевшие вместе с холодильником и панелью-плазмой, что на стенке на крючке висит.

У Вашурина своя квартира есть двухкомнатная, которую они с Глафирой сдавали паре молодых женатиков с ребёнком, для собственной финансовой поддержки.

Так, рядом с Иваном, сыном её, и просидел Алексей Александрович на стуле около гроба два дня последних. Молча просидели – они и в светлые-то дни не больно разговаривали друг с другом. Если что и было дорого в этом доме Алексею Александровичу, так то уже в гробу лежало, а хвататься за барахло нажитое – только душу травить. Паспорт да права водительские в кармане, деньги на карточке и счет в банке, телефон есть; договорились, что на девятый день он придет и у Ивана что-то свое, что-то такое, что, может, ещё и понадобится, заберет.

На поминках ему не пилося, не поминалось, а в Семенове на станции засвербило: зашел в буфет вокзальный да махнул сто пятьдесят и кружку пива какого-то немецкого.

Водитель автобуса высадил его на трассе. Хотя раньше, когда и асфальта-то ещё не было, а было всё щебенено и забутовано, заходил автобус в село. А теперь – нет. Зато асфальт теперь – и от трассы до села. Успел к себе ещё засветло. Шел меж полей: жаворонков уже не слышно, поздно, не утро раннее, отрезвонились, но ласточек в небе чистом прорва, и высоко все – завтра снова ведро будет. Воздух встал в ожидании лета – не шелохнется. А зелень листвы свежая-свежая – не запылилась, не задумалась ещё.

Дом его, точнее родительский, самый видный когда-то в селе был, стоял дом на пригорке, над прудом сельским, прямо напротив храма. Да и сейчас он видный – место такое. Только качнулся ли он или задохнулся, а может, и оглох, и ослеп сразу: и окна все целы, только крест-накрест досками заколочены, и как будто паутиной покрылся весь он.

От дома дорога спускалась к дамбе, а за ней уже шел главный порядок, улица Центральная. Пруд этот обустроивал отец когда-то, когда сам Вашурин ещё пацаном был. Строился он как пожарный водоем, но сразу и мальков карпа запустили, и мостки для купания наладили. Пруд красивый когда-то был, да и сейчас ничего, правда, наполовину камышом берега уже заросли и от мостков остались только сходни гнилые без перил, на которые ступить страшно. Кувшинок желтые мячики радостно светятся, а вот лилии белые болотные уже уснули, наверное, уползли под воду, на ночь спрятались.

Решил Алексей Александрович заглянуть сначала к соседу Николаю, чтобы прояснить обстановку местную, а для того надо было в магазин зайти за бутылкой. Но Николай уже на завалинке сидит и подманивает Вашурина к себе пальцем. Алексей Александрович и подошел, уселся. Николая в деревне «комсомольцем» звали: и голос начальственный, а толку нет, и знает всё, а рассказывать начнет – всё переверт.

– За бутылкой не ходи, я сегодня норму выполнил, – начал он солидно поставленным голосом и строго посматривая, – завтра сходишь.

– Хорошо, завтра схожу, – поддержал солидный мужской разговор Алексей, усаживаясь рядом.

– Ну, и что?

– Что – что?

– Чего приехал, спрашиваю? Мне же знать надо, с меня спросят.

– Кто?

– Ты, Алексей Александрович, дурачком не прикидывайся. Знаешь ты всё. Надолго, спрашиваю, приехал?

– Сам не знаю, может, на день, а может, навсегда. Закопал я сегодня Глафиру свою.

– Это жену, что ли?

– Жену, жену.

– А как же ты теперь жить-то будешь? Пенсия-то у тебя большая ли?

– Большая, большая, подполковничья.

– А-а, ну это другое дело. Так тебе теперь просто жить негде, что ли? Мне говорили, что ты там, в городе, на птичьих правах жил. Так, смотришь, и пригодится теперь батькин куток, – Николай подернул головой в сторону заколоченной вашуринской избы.

– Может, и пригодится, – поддакнул Алексей Александрович. – А скажи лучше, Коля, топор у тебя есть? И вообще, помоги мне: надо запоны с окон и дверей снять. Ну, доски отодрать нужно.

– Топор, говоришь? Не знаю, есть ли. Пойду у Архиповны попрошу – не знаю, даст ли. Я у неё ведро на прошлой неделе эмалированное украл и пропил. В смысле: продал, а потом деньги уже пропил. Я ж не знал, что её ведро. Смотрю, стоит – я и взял. Так что, может, и не даст. Сходи сам к ней – она ведь сродница тебе. Ты, может, забыл, что у тебя здесь половина деревни родня? По крайней мере, в старые-то времена Вашуриных тут у нас – через дом жили. А уж помочь доски-то отодрать – я тебе помогу.

Николай встал, и его крепко качнуло – стало заметно, что он не просто пьян, а совершенно никакой.

Архиповна, а точнее, тётка Наталья, или просто Наталья, топор не дала, а усадила Александра Алексеевича за стол и велела ждать сына Сашку, который вот-вот явится. А как только шлёпнул выключатель вспекувшегося электрического чайника, в дверях появился и Сашка. На тракторе припылил, трактор под окошком бросил, в избу шумно зашёл.

– Са-ашк, знакомься, – протянула голосом тётка Наталья, – это дядька твой, Алексей Александрович, троюродный или пятиюродный и не сосчитаю уже сейчас. Так, ты чай знаешь его! Когда он в армию уходил, мне, наверное, семь лет было, а сейчас он уже полковник, поди.

– Да нет, Наташ, подполковник.

– Как же так – и в прошлый раз, пять лет назад подполковником был?

– Так я же на пенсии уже десять лет. Мы, военные легчики, рано на пенсию уходим.

– Про твою Глафиру я всё знаю и про рак её. Звонила подруга мне. Я от неё про вас с Глафирой всё знаю. А сейчас скидывай своё шобоньё. Сашка сейчас там баню ладит – банный день у нас сегодня, попаришься, городской мусор смоешь, повечеряем, спать мы тебя у себя уложим, а с утра Сашка тебе поможет с домом разобраться. Как раз завтра, послезавтра выходные. Делов там немало, наверное.

Сидели вечером допоздна: всё про жизнь говорили, и самовар чая выпили (самовар, правда, электрический), и самогонки попробовали, и наливки на каких-то лесных ягодах. У Натальи беда схожая была – похоронила она мужа, и года не прошло.

– Я тебя, Алексей, тут в деревне быстро к кому ни на то пристрою – баб молодых да хороших у нас много. Это мне уже ничего не надо, а вам, мужикам, если со здоровьем всё в порядке, то и до восьмидесяти лет только подавай. Вот я на десять лет тебя младше, а рядом нас поставь, так тебе на десять лет меньше дадут.

– «Дадут», «дадут» – а чего подавай-то? – не понял, но почему-то встрепенулся Алексей Александрович.

– Чего, чего – наше, бабье! А со здоровьем у тебя как?

– Как, как – хорошо. Три стена, это железяки такие, в сердце торчат, два инфаркта было, по три таблетки каждый день пью, одну утром, две вечером. И так всю жизнь пить буду.

– В смысле – до самой смерти?

– Нет, не до самой смерти, а доктор сказал, что всю жизнь.

– А у тебя ведь где-то и сын есть?

– Да должен быть, а вот где – и сам не знаю. Когда благоверная моя двадцать лет назад от меня сбежала, испугалась гарнизонной жизни, то я долго не знал – куда. А потом, лет через пять уже, мне сказали, что она в Калининграде. Поехал я туда на сына посмотреть, неделю там прожил, всё искал их, да так и не нашел.

Так за житейскими разговорами полночи и просидели.

2

За то время, что дом приводил в порядок, и топор, и калёвка, и стамеска как приросли к рукам-то, родными стали. Алексей Александрович и не представлял, сколько инструмента отличного, красивого да сручного в запасах у батьки его родного лежало. Сердце, а может, и не сердце, а что-то другое, там, внутри, задрожало прямо, затрепетало при виде всех этих богатств. Хороший инструмент, и столярный, и слесарный, – это радость для мужика нормального. Нормальный мужик гаечный ключ на дороге увидит, машину остановит, выйдет, подберёт, а потом уж дальше поедет.

А тут – наверное, он родился столяром, да не знал! А вот теперь разглядел или разузнал.

В батьку, значит, пошел – батька столяром был. И понял Вашурин вдруг, и сам расшифровал для себя даже – чем столяр от плотника отличается: столяр столы, то есть мебель красивую, делает, а плотник топором плоты из брёвен работает.

С домом действительно всё в порядке было, ревизию с Сашкой сделали капитальную: столбы и фундаментные, что под срубом, и под печкой русской которые, сохранились прекрасно. Печка нигде не потрескалась и не дымит. Дров в дровянике на две зимы хватит. А вот баня – того, подвела: щели между венцами такие, что ладонь пролезает, но соседский Сашка посмотрел, в загривке почесал и сказал, что всё это чепуха: не мхом, так паклей пробьём!

Трава первая, майская, еще не озаботила пока – позже выкосит, забор качнувшийся выправил, крышу шиферную менять надо, но потерпит ещё. А вот наличники, когда-то голубенькие, выцвели до серого и протрещались гнилою трухой начали. Архиповна, то есть тётка Наталья,

велела наличники менять, сказала, что наличники – вход в душу хозяйскую: хозяин поменялся, и наличники менять надо.

Пошел пешком Алексей Вашурин в соседнюю деревню Губино за пять километров к какому-то своему очередному родному племяннику Стасу – даже представить себе он не мог, сколько у него тут в округе родни всякой дальней, а все его помнят. Стас был мастер на все руки, но Вашурину нужны были только новые наличники на окна, восемь штук, и размеры он снял и на бумажке записал.

Стас был мужиком мелким, молчаливым и, чувствуется, с хитринкой деревенской, молча и прищурившись разглядывал он Вашурину, пока тот ему выкладывал свою просьбу.

– А ты Вашурин ли? – спросил вдруг Стас.

– Вашурин, Вашурин – ответил Алексей Александрович.

– Дяди Сашин сын?

– Точно.

– Так пойдем в сарай. И как же это дяди Саши Вашурина сын наличники на окна на стороне заказывает, и деньги ещё платить собирается?

Сарай у Стаса был шесть на восемь, и убиралась в сарае не только машина, но и большая мастерская.

– Вот смотри – тут одному дачнику ту же работу работаю: тоже ему надо восемь наличников. Орнаменты, рисунки под прорези – я тебе сколько хочешь дам, да сам ты нарисуешь лучше, каких душе захочется, хоть с ромашками, хоть с фараонками. Доски, хоть липовой, хоть сосновой, хоть березовой, хоть любой толщины, на лесопилке за бутылку тебе мужики сколько хочешь настрогают и нарежут. Лесопилка сейчас у кооператоров городских на бывшей ферме колхозной, в аренде, что ли. Помнишь где? На полпути от нас к вам.

– Это где голые деревья сухие стоят, что ли?

– Да, да, да, голые берёзы высохшие, правильно сказал ты – голые. Сам ты, Вашурин, наличники себе сделаешь, не могу поверить, чтобы дяди Сашин сын столярку кому-нибудь заказывал. Так что смотри здесь всё, спрашивай: тут вот наличники от доски до готовых, вон уже покрашенные в голубенькую стоят. Краску там у вас, на селе, в хозяйственном, не бери, неправильная она у вас, не масляная, бодяжная, дождём смоеется. За краской в район езжай, в Семенов.

Так без заказа и ушел от Стаса Вашурин к себе домой.

А в город он съездил на девятый день: на могилку к Глафире ходил, с завода уволился, у Ивана какую-то мелочовку забрал, по рюмке с ним выпили, помянули. На квартиру свою, которую сдавал, заглянул, поговорил с квартирантами, объяснил, что едет жить в деревню, а надолго ли – не знает. А на другой день уже на машине своей, не новенькой, но и не убитой «Ладе-Ларгус», в деревню покатыл – решил, значит.

Скоро наличники на окнах избы его засияли новые, яркие, жёлтые. Сам сработал, и нетрудно вовсе. Пока пилил, резал, красил, устанавливал, думалось всё время: подполковник, летчик-испытатель, неужели я не могу делать обычную мужскую работу, которую выполняют все мужики на всём земном шаре? Да любую мужскую работу подполковник, летчик-испытатель, сможет сработать.

Самое любопытное во всей этой истории с наличниками случилось на другой день после того, как засветились они, жёлтенькие, на всю деревню своим жёлтыми глазами. Пришел к Вашурину дачник-москвич, который купил тут же, в деревне, дом уже несколько лет как, и приезжает он жить сюда только летом с семьёй да с детьми, чтобы порыба-

чить, да поохотиться, да позагорать и покупаться, да сходить в лес за грибами-ягодами. А точнее, не пришел он, а приехал на «гелентвагене» своем, и сам пузатый такой, того и гляди, треснет.

– Хозяин, – говорит он, обращаясь к Вашурину, – мне такие же наличники нужны. Сделай, прошу тебя. Бабки плачу сразу, прямо сейчас.

Хотел было Вашурин поначалу отказаться от предложения толстяка: показалось ему, что вот это барское отношение нового русского богатея к его, вашуринскому, мастеровому умению унижает его же офицерский статус. Но как-то быстро сообразилось у него в голове, что, только зарекомендовав себя сельским, деревенским мастером, он сможет завоевать и положение, и уважение своих односельчан, с одной стороны, новых, а с другой – очень даже родных. Да и москвича этого, который к нему пришел с просьбой. А ведь так и бывало в жизни Вашурина, и не раз, что приходили к нему, правда, уже при других обстоятельствах. И поехал он к заказчику первому своему окошки замерять.

А через короткий срок к нему с заявками уже чуть не со всего района приезжать стали. Оно и понятно: Вашурин намастырился не просто треугольнички да кружочки в дощечках своих наличников прорезывать, а мог увековечить он и год установки дома, или инициалы хозяина, или кота злого и шипящего, или мышку-норушку. В общем, с фантазией мог работать Вашурин по дереву.

И оттого, что столько людей его знают и его работу знают, и оттого, что нужен он им, теплее как-то становилось.

3

Мальчик незнакомый, лет шести-семи, сидел на крыльце вашуринской избы. Он шмыгал сопливым своим носом, выдувая из него пузырь, и водил пальцем по доскам половиц, как бы что-то рисуя по памяти. Он не плакал, но вздрагивал остатками рыданий, и на грязных щеках его были видны полоски, следы высохших слез.

Вашурин был не готов к такой встрече, тем не менее он тоже уселся на свое крыльцо с мальчиком рядом и спросил:

– Тебя как зовут, пацан?

– Иван. Ваня меня зовут.

– А ты где живешь?

– На том конце, – мальчик махнул рукой куда-то в сторону леса.

– А ты что – плакал, что ли? Тебя обидел кто?

– Обидела мамка. Она набила меня.

– За что?

– Ни за что – она пьяная.

– Понятно. А ты ел чего-нибудь сегодня?

– Нет.

– А вчера?

– Хлеб.

– Понятно. Сейчас я тебе дам мыло, полотенце – умоешься, а потом мы с тобой будем есть макароны с тушенкой. Будешь?

Мальчик кивнул головой.

Ваня хотя и умылся, но грязь с него по-прежнему готова была кусками отваливаться. И Вашурин, по натуре абсолютный аккуратист, испугался, что с ним тихая истерика случится от внешнего вида мальчика. У Вани кроссовки были без шнурков, а если внимательно приглядеться, то можно было заметить, что и из разных пар они, хотя это и не очень

бросалось в глаза из-за пыли, футболка была надета наизнанку, а штаны порваны на обеих коленках. У Вашурина засвербело всё внутри – поправить бы как-то Ванин внешний вид, но он понимал, что такие вещи так просто не делаются. Хотя что-то перещелкнуло у Вашурина в голове и затеплилось что-то, и чувство это было ему незнакомо.

После макарон Алексей Александрович похлопал Ваню по плечу, пригласил приходить завтра, а сам уселся разбираться с бумагами: надо было платить налоги за дом, да переводить землю на себя, да прописываться в деревне, чтобы пенсию здесь получать. Дел делать – не переделывать. Ваня тем временем, взяв маленькое ведёрко в сарае и подобрав нужную тряпку, занялся мытьем колес вашуриной машины. Да так старательно, да так въедливо он отмывал диски колёс, что подивился Вашурин, заметив это, когда вышел через час во двор покурить, и подумал, что напрасно он заподозрил мальчика в неряшливости: «Нет, аккуратный он. Тут другое что-то».

Вечером, правда, ещё засветло, июньские вечера длинные да теплые, сидели вдвоем за столом, пили молоко с хлебом. Через день Вашурин брал у тетки Натальи кринку молока и десяток яиц. И вообще, надо сказать, деревня богатая была: стадо деревенское – тридцать коров, не считая коз и овец. После молока вышли на крыльцо, и Вашурин спросил у мальчика

– Ну что, Ваня, до дому добежишь?

– Добегу, – с глубоким тяжелым вздохом ответил Ваня и пошел по дамбе на ту сторону.

Вашурин вроде как даже и не удивился, увидев рано утром на крыльце свернувшегося калачиком и завернувшегося в старый рваный половик спящего Ваню. Ну прямо как собачка какая. Вашурин взял мальчика на руки и отнес его в дом, и положил его на кушетку, накрыл своим одеялом – мальчик не проснулся.

Вашурин обычно не завтракал с утра, только кружку кофе сладкого растворимого выпивал. Так и в этот день. Он уже работал в крытом дворе, который когда-то у родителей скотным был – и для коровы, и для поросенка, и под курей, а вот теперь, вычищенный, да облагороженный, да освещенный, в мастерскую превратился, когда к нему вышел заспанный Ваня.

– Ты чего не дома ночевал? – без обиняков и даже сердито спросил Вашурин.

– А там, дома, мамки не было, а какие-то двое мужиков пьяные ругались – я и вернулся сюда.

– Что за мужики? Незнакомые, что ли?

– Незнакомые. То есть – не наши, они из Горюнова, из деревни соседней. Я их там видел.

– Так, давай, я тебе молока налью и яичницу сделаю. Ты ешь, а я пока к тетке Наталье схожу. Посоветоваться мне надо.

Тетка Наталья в огороде возилась.

– Присядь, – махнула она на завалинку, поняв, зачем пришел Вашурин.

Тетка Наталья популярно и на пальцах объяснила ему, что в районе у них ни материнских прав, ни прав человека, никакой социальной защиты нет; ни матери-одиночки, ни матери-алкоголички никого тут не интересуют, море их.

– Школа у нас в селе одна на всю округу. Мальчику Ване в школу идти в этом году – как и куда он пойдет, непонятно. Мы, бабы, думаем –

ничего придумать не можем. Мать его, Ирка, спилась за год – в прошлом году мужа ее Серёгу, мужика работающего, трактором задавило. Так вот: год – и от бабы ничего не осталось.

Она не наша, не местная, Серёга её из Прибалтики привёз, из Латвии, что ли. Рига – это Латвия? Ездил он туда к друзьям отдыхать да и познакомился. Она и говорит-то так, что половины слов не поймёшь. Ильзой её по-ихнему звать. Это наши уже стали её Иркой звать, а сейчас уж и вообще: Ирка-Криводырка. Поначалу приехала – по деревне в шортах, коротеньких штанишках таких ходила, девок наших курить да пиво пить учила. Дома у неё всегда всё было чистенько да аккуратно, а вот огородом заниматься она – ни-ни! Хотя мне говорили, что там, в Латвии, народ хозяйственный в смысле огородов. Да, видать, с гнильцой в любом народе экземпляры попадаются.

Родительских прав её не лишишь, мы уже думали – там у неё свои варианты и прихваты есть. Не такая она дура, или – не так уж она пока ещё и спилась. Но очень быстро она катится. Скорее всего замерзнет Ванька Иркин этой зимой, как прошлой зимой в Горюнове уже было: двоих ребятишек малолетних, мальчишку с девчонкой, заперли в феврале в чулане холодном (это при минус-то тридцати), чтобы не орали и не мешали вино пить. Потом заснули родители счастливые и забыли их там; проснулись, а в чулане не детишки, а ледышки замороженные – аж звенят!

В общем, беда, и не знаю, что тебе посоветовать. А ты сходи да познакомься с ней. Только предупреждаю – хамоватая, да наглая она, да беспардонная.

4

Ирка сидела на завалинке своей избёнки в таком непотребном виде, что Иркой её, и Ильзой тоже, назвать было сложно: что-то истерзанное, оборванное, мычащее и ни на что не похожее, но живое. Алексей Александрович даже засомневался – а не подойти ли сюда в другой раз или попозднее! Хотя ничего не изменится – это было очевидно.

– Любезнейшая, – обратился Вашурин к этому существу, которое пыталось, опираясь на руку, удержаться на завалинке и не свалиться.

Как ни странно, существо отреагировало и, встрепенувшись, превратилось в женщину. В грязную, непричесанную, растрёпанную, с мутными глазами и даже с синяком, но женщину – это было очевидно.

– Мужчина, присядьте на минуточку – я сейчас приду в себя, – Ирка пыталась усидеть на завалинке и не упасть на землю. – Мужчина, опохмели меня, а то я сейчас умру.

– Любезнейшая, – попытался Вашурин ещё раз пробиться к сознанию пьяной женщины, – это вас зовут Ильзой? И не вы ли мать мальчика Вани?

Кажется, вроде пробился!

– Да, я – Ильзе. Ваня – мой сын. А что с ним?

– Да ничего. Просто он ночевал сегодня на крыльце моего дома, и я заволновался – не бросились ли вы искать его.

– Нет, не бросилась. И это... он предупредил меня, что будет ночевать у товарища. А ты кто? И зачем тебе мой Ваня?

– Мне ваш Ваня не нужен. Но, видимо, он и вам не нужен. А фамилия моя Вашурин. И потому – если будете искать Ваню, то он у меня переночует, и вам волноваться не следует.

– Как это? И почему у тебя? А ты не этого, в смысле того?

– Что того?

– Ну, не с мальчиками любишь того?

– Нет, я не с мальчиками. А про меня можешь расспросить у тётки Натальи.

– Тогда я скажу тебе так, – в голосе у пьяной женщины прорезались театральные нотки, – сейчас ты мне приведешь ко мне моего Ваню, и я займусь его воспитанием. Или, вообще-то, есть вариант замены. Ты слушаешь меня?

– Слушаю, слушаю...

– Ты идешь сейчас в магазин, покупаешь мне мой продукт, приносишь бутылку сюда и можешь идти воспитывать моего Ваньку.

После этих слов пьяная женщина всё же не удержалась на завалинке и, взмахнув рукой, свалилась на землю. Какое-то время она, стоя на карачках, пыталась подняться, но силы все же оставили её, и она, свалившись, уснула под окнами своей избы.

Ни за какой бутылкой Вашурин, конечно, не пошел, а пошел он через всё село к себе домой, наполненный омерзением. Много он видел грязи на своем веку: и в деревне у себя, пока пацаном был, и в солдатском быту, и в офицерском, и на войне... Но женщина, жена, мать были всегда понятиями святыми при любых обстоятельствах, в любых склоках, в любых конфликтах, самых безобразных и самых кровавых, а тут...

Ваня перемыл все тарелки, стаканы, кружки и кастрюли в доме и теперь из маленького полиэтиленового ведра мыл полы в большой комнате: видимо, помнил ещё, как это делала когда-то его мать.

– Ты к мамке ходил? – спросил он, стоя с тряпкой в руке и глядя на Вашурину взрослыми и умными глазами.

– Ходил, – ответил Вашурин.

– И что?

– Да ничего. Ты сейчас полы домоешь, и мы с тобой поедem в район, купим кое-что тебе из одежды – вечером баню топить будем. Ты баню топить умеешь?

– Умею. Меня папка учил, пока он жив был.

В райцентре, в Семенове в смысле, в магазине купили Ване и штаны, и маек три штуки, и носки, и трусы, и кроссовки, и ещё всякого барахла не перечесать, и в «Продукты» зашли.

Вечером после бани чай пили с пряниками детскими.

Потом Ваня лег спать – в чистую постель на свежую простыню, Вашурин обустроил ему лежанку на надувном матрасе на полу около печки.

– Вашурин, а как мне теперь тебя звать? – спросил, уже лёжа и высунув только что нос из-под одеяла, мальчик.

– Как, как – так и зови: Алексей Александрович.

– Нет, так не пойдет!

– Почему же?

– А потому, что у нас с тобой теперь семья. Давай я тебя буду звать папа Алёша?

– Ну, давай, я не против.

– Ещё я хотел спросить у тебя, папа Алёша.

– Что?

– Вот ты таблетки какие-то пьёшь и утром, и вечером, это что – ты больной, что ли?

– Да, у меня сердце большое, и в кровеносных сосудах, которые к сердцу подходят, у меня стоят стенты – гильзочки такие расширительные. Но однажды они меня не спасут, и тогда я засну навсегда или не проснусь.

– В смысле – умрёшь?

– Да, но ты не бойся – все когда-нибудь умирают.

– А я не боюсь – я видел мёртвых. И знаешь, что ещё, Вашурин? В смысле – знаешь что, папа Лёша?

– Что?

– Женщина нам с тобой нужна.

– В смысле? Зачем нам женщина?

– Ну как же? У нас получается не полная семья. А если будет женщина, то будет настоящая семья. Ты не волнуйся – я не бабу тебе предлагаю. Не то чтобы там жениться тебе надо. Нет – просто в доме нужна женская рука. Я это точно знаю. Ну, про это мы завтра с тобой поговорим.

На том Ваня и заснул.

5

Если назавтра разговора про женскую руку в доме и не произошло, то это совсем не значит, что про неё кто-то забыл. Женская рука в доме появилась через два дня. И проявилась она в самом неожиданном качестве.

Уже второй месяц Вашурин думал, как ему обустроить огород и усад, который тянулся от дома прямо к оврагу, а дальше спускался к пруду. Когда-то, в детстве, там, на грядках, и репа, и морковь, и редиска, и лук, и чеснок, и огурцы росли и проживали – да всё, чем жив русский деревенский человек. Да и под картошку пятнадцать соток, которые польнью сейчас заросли, стоят неприкаянные. Земля там как пух должна быть: десятки лет весь навоз из коровника, перепрев, прямым ходом в эту землю шел.

Вашурин вернулся домой далеко после обеда: в район заказ отвозил. Зайдя в избу, он окликнул своего Ваню – ответ послышался с участка. Прямо под окном, выходящим в огород, он увидел своего мальчика; Ваня был не один: с ним копалась в земле ещё какая-то девочка. Девочка была постарше Вани, но уж больно худа: ножки и ручки будто спичечки, шейка – хворостиночка, косички – хвостики мышьиные. Штаны мальчишечьи на девочке перекособочены и почти сваливаются, а торчат их них острые косточки, пергаментной кожицей прикрытые. Майка на ней тоже была не поймешь с чьего плеча, а обута она в сапожки резиновые.

Вашурин вышел через двор на свой заросший и неухоженный пока что огород. Небольшой клочок земли, буквально два квадратных метра, прямо рядом с завалинкой, был старательно вскопан и обихожен граблями, и лопата ржавая и грабли из сарая валялись рядом. Девочка оторвалась от грядки своей и устала на Вашурину с застывшим лицом, выразившим неопределённое состояние: то ли радость от встречи, то ли вынужденное признание какой-то своей вины за неизвестное пока что ей самой неправомерное действие.

– Давай знакомиться, – сказал Вашурин, обращаясь к девочке, но ответил за неё Ваня.

– Знакомься, папа Лёша. Это – Танька, подружка моя. Это я так придумал её называть – подружка. Помнишь, я тебе говорил, что нам

в доме женщина нужна? Так вот, Танька у нас с тобой хозяйкой в доме будет. И будет тогда у нас с тобой настоящая семья!

– Это я уже понял. А что вы тут делаете?

– Лук сажаем.

– А зачем вы лук сажаете?

– Как же? Он же расти будет. Лук должен расти.

– Так, – ответил Вашурин, – я что-то приустал, видимо, с дороги и не очень хорошо понимаю вас. Давай пройдем в дом, сядем и поговорим на эту тему серьезно.

– Пойдем, поговорим, – откликнулся Ваня, – а ты, Танька, сажай пока свой лук.

– Не-ет, Ваня. Пусть твоя Танечка идет в избу с нами. Раз мы с тобой семья, то я хочу познакомиться со всеми твоими друзьями, чтобы знать про тебя всё-всё-всё.

В избу, точнее в горницу, прошли все трое уже босиком, так часто летом в деревнях наших поступают. Ребята уселись на стулья, а Вашурин, включив электрический чайник, прошел к кухонной раковине помыть руки. Только после этого уселся он рядом с ребятами.

– Вот теперь, Таня, расскажи мне, кто ты и откуда и как здесь появилась и зачем?

– Давай, я расскажу, папа Лёша? Так...

– Нет, ты, Ваня, помолчи. Я хочу Таню послушать. Ну-у?

– Я из Семенова к бабушке приехала. Меня мамка выгнала, – просто и без запинки ответила девочка.

– И где же живёт твоя бабушка?

– Нигде она не живёт – она умерла уже. Она почти год назад умерла.

– Так, а как же мама-то тебя к ней отправила?

– Так мамка пьяная, она и не помнит уже, что бабушка, то есть её мамка, уже умерла. Она, мамка моя, и осенью, когда бабушка умерла, к ней на похороны пьяная поехала, а назад привезли её на чужой машине какой-то и просто свалили около дома. А жила бабушка у Ваньки в соседнем дому, он сейчас заколоченный стоит.

– Так и куда же ты поехала?

– А не знаю я. Сейчас каникулы, я второй класс закончила, хватит. А раз мамка выгнала, значит – взрослая жизнь началась. Буду думать, как жить.

– Ну, думать, наверное, все же мы будем, взрослые, а вы всё равно ещё дети, у вас всё равно ещё детство.

– Нет, Вашурин, вы даже не понимаете, когда у нас взрослая жизнь начинается. И за дураков или за детей, Вашурин, ты нас не считай: таких, как мы с Ваней, ой, как много. И в семье каждому жить хочется, и даже не для того, чтобы детство было, а просто так. А – не получается! Вот я завтра буду стирать ваши с Ванькой майки с сорочками, я уже и корыто, и мыло, и порошок нашла. И стирать буду не по-детски, а по-взрослому. Мне ведь тоже в нормальную вашу семью хочется, – последние слова девочка произнесла совсем уже тихо, и Вашурин чуть расслышал их.

– Ты, папа Лёша, Таньку сразу не прогоняй, она нам пригодится, и вообще – я её хорошо знаю и поручиться за неё могу. Знаешь, она у своих никогда ничего не ворует. И главное: ты знаешь, она тоже хочет, чтобы у нас была семья. Как и мы с тобой. Давай её возьмём в нашу семью.

– Ладно, вы пока тут чай пейте, а я к тётке Наталье схожу. А потом надо и дом Танин просмотреть, проверить, что там осталось.

– Папа Лёша, ничего там не осталось, уж я-то знаю. Пионеры и комсомольцы уже всё, что можно было, сперли.

– А ты откуда знаешь? И кто такие пионеры и комсомольцы ваши?

– Дом этот с нами соседний, и я там всё вижу и всё знаю. Пионеры – это пацаны, которым надо украсть и продать, а комсомольцы – это мужики-пьяницы, которым бы только бы выпить, и всё. Ну, а для этого тоже – сначала украсть надо. Так что и не ходи туда.

– Ну, я всё же к тетке Наталье схожу, посоветуюсь. А вы что там, в огороде, делали?

– Папа Лёша, Танька моя, ну, наверное, теперь уже наша, любит, когда все вокруг цветет и растет, и плодоносит. Ну, она так говорит и так считает. И правильно это: все женщины должны в жизни рожать и растить, а если женщина не растит и не следит, чтобы правильно росло, и не воспитывает, и не ухаживает, то это и не женщина, а не поймешь что. Недоразумение! Или детей они должны родить и растить, или коров, или курей, или картошку, в конце концов. Вот Танька сегодня ukrала варешку, точнее, голичку с луком-севком, и сразу пришла ко мне, чтобы посадить. Мы уже грядку сделали – сейчас Танька сажать будет, а я буду следить.

6

Тетка Наталья только руками взмахнула, услышав от Вашурина про новую его девочку Таню.

– Ты, Алексей Александрович, совсем с ума не рехнулся? Я понимаю, что ты человек богатый и можешь себе позволить два рта детских прокормить, обушь их и одеть, но ведь учти – а все ли законы ты соблюдаешь? И на каждый роток не накинешь платок. А может, уже и разыскивают твою девочку, а ты её прячешь. А в милиции знают, где она?

– Знаешь что, Наташа, я ведь не для того к тебе пришел, чтобы эту девочку в детский приют отправить, а мать её родительских прав лишить. Это дело нехитрое и нашего с тобой ума для этого не потребуется. Только через пять или семь лет из этой девочки воровка или проститутка вырастет, через пятнадцать её уже кладбище ждёт. Редко кто из приютов этих детских современных в люди выбивается. Семья ей нужна.

– Знаю я это. Была я в таком приюте как-то раз. Это ведь у вас, в городе, ребятишки на улицу рвутся из под родительской опеки, стоят в подъездах, курят, дворовой романтикой наслаждаются. А у этих всё наоборот: улицы им – во, по самую маковку хватило, им в семью хочется. Вот ты возьми да усынови или удочери их обоих – вот и выход из положения. Сначала женись на Ванькиной Ирке-Криводырке, Ильзе в смысле, потом Ваньку усыновишь, а дальше – разводишься и Ваньку с собой оставляешь. Зная, что Ирка – алкашка, суд Ваньку с тобой оставит. А потом и с Таней, девочкой этой. Вот и вся проблема твоя решена. Зато будет у вас очень необычная семья.

– Это всё, Наташа, я бы, может, и проще сумел бы решить, да вот забывает ты, что недолго мне тут куковать осталось. Я же тебе говорил, что мы с Глафирой наперегонки шли, только она опередила меня. И рисковать ребятишками я не могу. Они этого удара могут не выдержать.

Вот сегодня очень горячо в груди было, так у меня перед инфарктом последним тоже было – очень горячо.

– Они, эти твои ребятишки, такие удары уже по жизни выдержали, что, по-моему, выдержат все что угодно. У нас на Руси такие кошмары семейные вечно творятся, что люди, то есть дети, железными вырастают. И все войнушки взрослые им потому забавами детскими и кажутся.

– Наташа, Наташа! А могу я ещё к тебе с одной просьбой?

– Да, конечно, Лёша.

– Вот, есть у меня заначка небольшая денежная, двадцать тысяч долларов, спрячь их у себя. Если мне понадобятся когда-то деньги такие, я у тебя их спрошу, а если что-то плохое случится со мной, то, прошу, – потрать их так, чтобы ребятишкам этим помочь. Или опекунство оформи, или в хороший детский дом определи их, есть сейчас частные, хорошие, – Вашурин передал тётке Наталии сверток, упакованный в полиэтиленовый пакет.

– Лёша, я ничего в этих долларах не понимаю и понимать не хочу. Вот как дал ты мне этот сверточек, так я его и сохраню. Не волнуйся!

Дети сидели за столом, когда Вашурин вернулся.

– А вы чего сидите? Я думал, что вы уже поели.

– Нет, папа Лёша, если уж мы теперь семья, то должны, как и положено в семье, завтракать и ужинать вместе.

– Ну, хорошо, я не против. А что у нас на ужин сегодня?

– А Танька наша сварила кашу гречневую, а я за молоком сбегал.

– Тогда я руки сейчас мигом помою и уже готов.

– Так, – уже садясь за стол, объявил Вашурин, – завтра мы втроем с Таней и с теткой Натальей едем в район, в Семенов, – надо кое-что прикупить. Ты, Ваня, остаешься завтра за старшего в доме. Ясно?

– Ясно, – ответили хором.

– Таня, ты сейчас идешь ночевать к тетке Наталье, а завтра уже мы определим тебе место здесь в нашей избе. Ясно?

– Ясно.

– Если ясно, то ещё – сначала постриги ногти, прежде чем пойдешь к тетке Наталье. А то у тебя под ногтями траурные ленточки видны.

– Хорошо. Папа Лёша, а мне завтра с утра сюда приходиться или вы сами зайдёте за нами к тётке Наталье, и мы оттуда уже поедем?

Наутро к тётке Наталье прибежал с выпученными глазами Ваня.

– Тетка Наталья, а папа Алёша умер. Я его толкал-толкал, а он ничего. Я за ногу потрогал его, а он ещё вовсе не холодный, а тёплый. Его хоронить надо.

– Ох, вы, горе вы моё луковое! – запричитала тётка Наталья, и сразу видно стало, что она тоже уже годах. – Тащи, Ваня, свою Таньку сюда. В сенях она чего-то колушается. Сидите здесь на диване и ждите меня.

Тётка Наталья накинула на голову темный платок огромный какой-то, махнула им, как крылом, и, что-то про себя шепча вполголоса, вышла на улицу.

– Танька, – шепотом вдруг спросил Ваня у своей подружки, когда они уже сидели рядом на диване, – а давай папу Алёшу похороним в огороде у нас. Я по телеку слышал, что в Америке сейчас делают семейные кладбища. Вот и у нас будет свое кладбище, прямо под окнами.

– Нет, Вань, наверное, это не разрешат. Это что же – кто где захочет, то там кого угодно и хоронить будет? Нет.

– Ну, кого хочешь, где хочешь – нельзя! А вот заслуженных, необычных людей можно. Вон я по телевизору видел, что для фараонов

пирамиды в Египте прямо посреди пустыни ставят, а мавзолеей Ленину, что на Красной площади? Я считаю, что Вашурина можно в огороде у нас похоронить. Земля-то в том огороде его, Вашурина. И будет у нас своё семейное кладбище.

– А жалко, что Вашурин умер, – не успела я в семье пожить.

– Конечно, жалко. Я вот и успел немножко, а всё равно жалко.

Послышался стук входной двери. На улице послышался голос тетки Натальи, она что-то спрашивала у своих курей и у петуха ихнего, рассчитывая их поругать. В избу вошел Вашурин.

– Что же ты Ваня, друг мой ситный, будил меня так плохо? Тётку Наталью напугал до полусмерти. Да уже и похоронить меня решили, что ли? Где хоронить-то будешь?

– В огороде. Да не буду я тебя хоронить – что ты чепуху какую-то мелешь? Мы ещё за грибами всей семьёй с тобой и с Танькой сегодня пойдём.

Ренат БЕККИН

Родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «юрист-международник со знанием иностранных языков».

Публиковался в журналах «Новая Юность», «Нева», «Урал» и других. Профессор Российской академии наук. В 2007–2012 гг. – главный редактор литературно-философского журнала «Четки». Основатель и заведующий (2010–2015) кафедры востоковедения и исламоведения в Казанском федеральном университете.

Живет в Стокгольме.

ИСТОРИЯ ОДНОГО АСПИРАНТА

«Сифилитик»

Пришлось все-таки сдать «студень». Сначала хотел посеять – оставить на память. Не поверили. Не позволили: «Знаем мы вас: как только заканчивать – половина теряет студенческие. Поищи хорошенько – может, найдешь!» Поискал. В кармане. Внутреннем. Нашел. Отдал как последнюю сотню. А взамен получил диплом с неправильными отметками. Махнул, не глядя, маленькую красную корочку на большую синюю.

Не то чтобы ему было очень жаль изъятого документа. Он не был сентиментальным юношей. В конце концов, «студень» – это всего лишь картонка с фоткой и печатями. Фотка ужасная, а на печатях не распознать букв. Но «студень» – это, пожалуй, последнее, что еще связывало его с тем периодом в жизни, который называется студенчеством. Вернул билет – распрощался с беззаботной юностью.

Пять лет – невыносимо малая величина, пушинка на подоле вечности, как сказал бы какой-нибудь арабский мудрец. Вот учатся же медики семь или сколько там лет. Надо было на врача идти, там и девчонки прикольные в белых халатиках!

Но не на медицинский же ему сейчас ломиться! Раньше надо было думать, туда просто так не попадешь. Это не родной И-Эм-Пэ, Институт международного права. Тут готовиться надо. Или, может, снова у себя в институте на первый курс податься? Только на другой факультет, конечно. А что, было бы прикольно все обнулить, начать студенческую жизнь с чистого листа...

Только вот засада: в И-Эм-Пэ его знала каждая собака, начальник курса уже года два с ним не здоровался, старушки-гардеробщицы за глаза именовали его «вонючим быдлом», а преподаватель арабского по-

сле госэкзамена даже вlepил ему пощечину. Поэтому двери заведения, который он только что довольно бесславно окончил, были открыты для него лишь на платной основе. Идти же в другой вуз не было ни сил, ни желания: приемная комиссия, медкомиссия, мандатная комиссия... Бюрократия!

Повстречал в институте очкарика Лапидуса – поступает в аспирантуру. И ему посоветовал. Спросил Лапидуса: зачем?

– Как зачем? – изумился очкарик. – Во-первых, общагу дают. Если договоришься, один в комнате будешь жить. Во-вторых, от армии закосить можно. Но, самое главное, пока работу нормальную не нашел, несколько лет перекантоваться можно. Стипендия, правда, небольшая. Но если научрук нормальный, с голоду умереть не даст.

Аспирантура? Почему бы и нет? Он вспомнил свою покойную бабуку. Уже будучи на смертном одре, Алина Юрьевна больно, до синяков, цапнула его за руку и прокричала в самое ухо: «Пиши диссертацию, Володька, сукин сын!», после чего с довольной усмешкой испустила дух.

Он так и не понял тогда, почему в такой ответственный момент бабука думала о столь приземленных вещах. Куда больше его смущало то, что завет Алины Юрьевны был адресован какому-то сукину сыну Володьке, а не ему, у которого даже друга с таким именем не водилось. Казалось, он накрепко забыл о том случае, а вот нет: вспомнил, едва только Лапидус заговорил об аспирантуре. Кажется, самое время уважить покойную, которая отдала последние пятнадцать лет своей жизни воспитанию непокорного внука.

В тот же день отыскал отдел аспирантуры. Простоял, как дурак, полчаса, но никто не появился. На двери обнаружил список документов для поступления.

На следующий день чудом застал начальницу аспирантуры Раису Яковлевну. С издевкой поинтересовалась, на какую кафедру собирается поступать. Задумался. Куда? Какие там у нас кафедры? Международного права? Нет уж, сорри! Что еще? Можно подумать? Думать, но не затягивать. Окей, и на том спасибо. Когда можно зайти? После разговора с завкафедрой? Какой кафедры? Решать самому?

Два дня пил пиво и выдумывал, какую кафедру предпочесть. А было их всего шесть: международного, конституционного, уголовного, административного, предпринимательского и европейского. Кафедра прав ребенка – не в счет. Да и не кафедра это вовсе.

Международное право по известным ему одному причинам отпало сразу. Он и соваться туда не стал. На других кафедрах был один и тот же разговор.

– Ну, где же вы раньше были?... Хорошо, какая у вас тема?... Извините, но эта проблематика нам не очень интересна. У нас другой профиль... Вам лучше к Ивану Ивановичу на кафедру...

Иван Иванович как раз и возглавлял ту самую странную кафедру прав ребенка, на которой не то что аспирантов – преподавателей никаких не имелось. Кроме, конечно же, самого Ивана Ивановича, за которым был записан один курс по правам ребенка, но который он фактически не вел, поскольку большую часть времени проводил в командировках, преимущественно зарубежных. Поэтому, если кто-то в институте говорил «послать к Ивану Ивановичу», это означало на местном диалекте эзопова языка отправить человека туда, куда Макар телят не гонял.

Сам Иван Иванович подобно известному римскому божеству обладал всего двумя состояниями: он либо находился в командировке, либо готовился к ней. В первом случае, по рассказам немногочисленных счастливых свидетелей, Иван Иванович был в превосходном настроении, во втором же – сильно нервничал и мог даже накричать на подвернувшегося под горячую руку студента.

Когда в дверь кафедры прав ребенка раздался негромкий стук, Иван Иванович как раз пребывал во втором своем состоянии. Он мерил шагами линолеум, бормотал какие-то приказания, визжал на секретаршу и заливался сатанинским смехом, когда ему звонило начальство. Черный в полоску костюм делал сорокалетнего, не успевшего еще полысеть и поседеть заведующего кафедрой несколько стройнее и моложе.

Обнаружив неизвестного ему человека с виноватой физиономией, он уже собирался вытолкать его за дверь, как вдруг услышал два слова: «аспирантура» и «диссертация». Слова эти с недавних пор имели для Ивана Ивановича волшебное значение. Во время одной из зарубежных поездок, на одной из конференций, слушая одного заслуженного ученого – профессора и доктора наук, с трудом (по причине болезни) выговаривавшего слова и буквы, – Иван Иванович подумал: «А не сделать ли мне диссер?... Столько материала зря пропадает!» (Иван Иванович то ли из страха, то ли из уважения, то ли по какой-то другой причине никогда не произносил слово «диссертация» полностью.)

Вот только проблема: Иван Иванович с трудом выражал свои мысли, особенно на бумаге. Что оставалось делать? Нанять какого-нибудь студентика, как в прошлый раз, с кандидатской? Но кандидатская – не докторская. Студенту такая работка не по зубам. Вот, аспирантику – может быть. И Иван Иванович стал осторожно приглядываться к обретавшимся на факультете аспирантам. Зайдет, бывало, на другую кафедру – вроде как чай с сухариками покушать, с коллегами новости обсудить, а заодно и выведать про аспирантиков.

Дело было щекотливое. Иван Иванович по вполне понятным причинам боялся, что кто-нибудь случайно или умышленно раскроет его замысел. Но уж очень хотелось ему стать доктором наук. Не важно каких, но лучше – юридических. Все-таки как ни крути, а доктор юридических наук – это звучит гордо!

Иван Иванович внимательно посмотрел на аспиранта, отчего-то хлюпавшего носом.

«Сифилитик», – без злобы подумал завкафедрой.

Грязные черные волосы, не то чтобы длинные, но и нельзя сказать, что короткие. Большие карие, с красными белками глаза. Под небольшим носом что-то наподобие усов, какие носили продавцы порнографической продукции в пригородных электричках лет десять назад. Худое, нескладное, наверняка не имевшее особого успеха у женщин тело в дешевой, давно не стиранной толстовке. Брюки без стрелок – судя по всему, дежурные. Ботинки на выброс, запылившиеся, со шнурками без металлических наконечников.

«Пожалуй, этот может подойти. Судя по всему, ему очень хочется в аспирантуру и у него совсем нет денег», – предположил про себя Иван Иванович, а вслух сказал:

– А что, голубчик, публикации у вас имеются? (Иван Иванович всех, кто был ниже его по социальной лестнице, именовал голубчиками.)

– Есть. То есть я хотел сказать, что они в печати, – заволновался «сифилитик». Это очкарик Лапидус, не видевший в нем конкурента, надоумил его отвечать подобным образом на вопрос о публикациях.

– Сколько статей? Или, может быть, монографий? – осторожно, но с умыслом пошутил Иван Иванович.

– Одна статья, но я сейчас заканчиваю другую, – соврал «сифилитик».

– На какую тему? – благодушно поверил Иван Иванович.

– По правам ребенка...

– Права ребенка... Неплохо. Это наш профиль, – произнес заветную фразу Иван Иванович, но, вспомнив, что ему через час надлежит ехать в аэропорт, вновь зашагал от одной стены к другой, немного наклонив вперед верхнюю часть тела.

– Знаете что, голубчик, вот вам моя визитка. Позвоните через неделю – я сейчас улетаю на Игуасу. Я буду иметь вас в своих планах... да, и для убедительности, так сказать, бросьте мне на электронную почту свою статью. Посмотрю, на что вы способны.

В тот же вечер на почту Ивану Ивановичу пришла статья, по всем канонам жанра похищенная из интернета и в некотором смысле творчески переработанная до необходимой неузнаваемости. Еще через неделю Иван Иванович приказал секретарше распечатать присланный текст. Но так как у него совсем не было времени, а на следующей неделе его ждал Нью-Йорк, он успел осилить только название статьи и первые две строчки.

Так у Ивана Ивановича появился первый аспирант...

Иван Иванович был деловой человек. Если кто-то обращался к нему с просьбой или, упаси боже, мольбой о помощи, он неизменно задавал свой любимый вопрос: «А в чем мой интерес?» В случае с новым аспирантом Иван Иванович ни в коем случае не хотел отходить от своего золотого правила. Несмотря на плотный график, он вызвал к себе своего первого ученика.

Если бы кто-то из тех, кто мало знал Ивана Ивановича, увидел его в тот момент, он непременно решил бы, что перед ним совершенно другой человек. Этот вечно спешащий куда-то бесцеремонный рыжеволосый мужчина предстал перед аспирантом в образе обходительного джентльмена, гостеприимного хозяина и старого приятеля одновременно. Он любезно попросил секретаршу приготовить чаю, после чего закрылся со своим аспирантом в кабинете и попросил никого и ни под каким предлогом к нему не пускать. Даже наглого низкорослого студента-якута из Белгорода.

– Еще раз поздравляю вас с зачислением в аспирантуру, – Иван Иванович крепко пожал руку гостя.

– Но меня еще не зачислили...

– Это нюансы, формальности... Главное, что я беру вас.

Затем Иван Иванович замолчал и стал ждать, когда аспирант отхлебнет чаю, привезенного из Китая для особых случаев.

– Кстати, неплохо бы вина выпить, – в наигранной задумчивости произнес Иван Иванович. – Что думаете?

Аспирант сначала немного смутился, но потом согласился.

– Когда планируете начать работать над диссер... диссертацией? – пошел в атаку Иван Иванович после того, как аспирант отхлебнул из бокала.

– Так мы же... это... тему еще не согласовали...

– Ах, да... Так какая там у нас тема? – Иван Иванович вдруг закопшился в лежавших у него на столе бумагах.

– Я бы хотел писать про права ребенка.

– Ну, знаете ли, права ребенка – это слишком широко, – Иван Иванович оторвался от бумаг, мечтательно приоткрыл рот и вонзил палец в ухо.

– Понимаю, Иван Иванович. Может быть, вы мне что-то посоветуете?

Иван Иванович ликовал, что все идет по намеченному плану, но ради проформы пожурил аспиранта.

– Нельзя так, голубчик! Это вам не студенческие годы. Аспирантура требует серьезной и самостоятельной, подчеркиваю: самостоятельной работы! Вам же предстоит писать свою работу, а не мне, слава богу. Вам и формулировать тему. Я же не знаю, что вам интересно. Я знаю, что интересно мне, – после последней своей фразы Иван Иванович вдруг замолчал, справедливо решив, что несколько увлекся.

– Может быть, я выберу права ребенка в России, – произнес аспирант, выдрессированный Лапидусом и немного осмелевший то ли от выпитого вина, то ли от чая для особых случаев.

– Права ребенка в России? Права ребенка – это, голубчик, банально. Столько уже по этой теме написано... Вам и не снилось, наверное. Не думаю, что вы сможете сказать что-то новое.

– Иван Иванович, а что, по-вашему, сейчас актуально?

– Ну, есть много интересных тем, – посмотрел в потолок Иван Иванович, словно там у него были намалеваны эти самые темы. – Например, права ребенка по мусульманскому праву.

Заметив, как перепугался его аспирант, Иван Иванович захохотал, как будто ему в тот момент позвонило начальство или попался на глаза наглый низкорослый студент из Белгорода.

– Не так страшен черт, как его малютка, – как говорят в народе. Не боги горшки обжигают! Вы меня спросили об актуальной теме – я вам ответил. Я тоже занимаюсь ей и смогу вам, так сказать, оказать посильную помощь.

Иван Иванович соврал. Темой этой он никогда не занимался и имел о ней такое же представление, какое имеет свежерожденный огородный крот об океанском прибое. На одной конференции, проходившей за рубежом, американский коллега сообщил ему, что данная тема после 11 сентября вызывает большой интерес и под нее легко можно получить грант, да не один! К тому же в этой проблематике мало кто смыслит, и если в диссертации будут допущены какие-то ошибки, то члены диссертационного совета могут их просто не заметить.

Так была сформулирована первая тема первой диссертации на кафедре прав ребенка...

Теперь Ивану Ивановичу оставалось всего лишь уговорить аспиранта написать за него докторскую. Легко сказать: всего лишь!

– Знаете, какой объем должен быть у диссертации? – спросил Иван Иванович, постукивая пальцами по столу.

– Сто пятьдесят страниц, кажется, – робко предположил будущий аспирант.

– Сто пятьдесят страниц – это, голубчик, идеал. Но поскольку, как показывает опыт, мало кто способен достичь этого самого идеала, то я вам настоятельно советую написать триста страниц... Можно, конечно, и больше. Но не меньше! А я уж потом сделаю из этого компота произведение искусства. Отделю, так сказать, зерна от плевел.

Иван Иванович знал, о чем говорил. Триста страниц составлял объем средней докторской диссертации. Сто пятьдесят страниц – кандидатской.

Аспирант понимающе кивнул головой. В тот момент он готов был согласиться даже на пятьсот, да что там... на целую тысячу страниц. Он был счастлив, что такой важный человек, как Иван Иванович, не только взял его, бездельника, в аспирантуру, но и предложил ему свою помощь. Жизнь продолжается! Спасибо Лapidусу. Бабуля, я тебя обожаю!

А дальше было то, что обычно происходит с теми несчастными аспирантами, чьи научные руководители зачем-то пишут докторскую диссертацию. В промежутках между командировками Иван Иванович вызывал своего аспиранта и требовал от него подробного отчета. Чай, а тем более вино больше не предлагались. Аспирант приносил какие-то кусочки, фрагментики, из которых должен был прорасти большой серьезный текст. Иван Иванович просматривал их вполглаза и всякий раз недовольно бурчал: «Что это? Где же структура? Мысль теряется. Никакой концепции. Так, голубчик, нельзя. Да-а, много работы вы мне задали!» Аспирант смущенно, стараясь не быть заподозренным в черной неблагодарности и, упаси бог, в черном плагиате, вяло оправдывался. Ведь если бы не Иван Иванович, где бы он сейчас находился. В лучшем случае, служил бы сейчас Родине неизвестно где и неизвестно зачем!

Прошло три года. За это время разрозненные, стащенные из интернета и отсканированные из книг отрывки текста и кусочки мыслей слиплись с помощью аспирантского пота в один большой трехсотстраничный труд. Встречаясь каждый раз с аспирантом, Иван Иванович продолжал делать вид, что недоволен его работой, но тут же по-отечески успокаивал своего нерадивого ученика: ничего страшного, я сделаю из этого произведение искусства, дайте только срок, сами понимаете, защита докторской – не шутка!..

Наконец, в один из ничем не примечательных дней трудовой недели «диссер» Ивана Ивановича с блеском проскочил совет, получив одни белые шары. Проще говоря, Иван Иванович стал доктором.

На следующий день, не успев протрезветь после банкета, он уже дремал в самолете на пути в милый его сердцу Амстердам на очередную конференцию по правам ребенка. В кармане его черного пиджака в полосу, плотно обняв друг друга, покоились свежие визитки с надписью:

Ivan I. Bazhbanov
Institute of International Law
Head of Children Rights Department
Doctor of Sciences (in Law)
Doktor Yuridicheskikh Nauk

Напрасно неделю спустя аспирант Ивана Ивановича целый день кружил в ожидании возвращения своего научного руководителя вокруг кафедры, как пляшущий дервиш из ордена Мевлеви перед иностранными туристами. Только под вечер ему сообщили, что его шеф простудился в дороге и, возможно, появится только завтра. Послезавтра же Иван Иванович должен был лететь в Иерусалим участвовать в форуме по правам меньшинств.

Весь следующий день аспирант провел подле кафедры, опасаясь лишний раз отлучиться по нужде. Около пяти вечера на пороге кафедры появился загоревший Иван Иванович в белом плаще. Нервно пожав руку, дунул в лицо запахом незнакомой жвачки: «Привет! Как дела?» – и, не дождавшись ответа, побежал в свой кабинет.

У аспиранта задрожали губы.

– Иван Иванович! – закричал он вослед стремительно удалявшемуся доктору наук.

– Не сейчас, – махнул рукой Иван Иванович, – я буквально на пять минут. Завтра командировка! Разумеешь? Приходи через неделю, принеси, что ты там накатал.

Слово «накатал», на ходу брошенное Иваном Ивановичем, больно и стремительно ворвалось в оба аспирантских уха. После всего, что он сделал для своего шефа, говорить о его работе слово «накатал» показалось аспиранту верхом бесстыдства. Только сейчас он, освободившись от прилипшего к нему три года назад чувства благодарности к Ивану Ивановичу, осознал, что его использовали как самого последнего лоха. Он написал диссертацию, но не кандидатскую, а докторскую, и не для себя, а для человека, которому теперь не было до него никакого дела. Все эти мысли вдруг закрутились в голове аспиранта, но вместо всего этого он лишь пролепетал что-то типа: «Да как же это? Да я же...» Вид его в тот момент был до безобразия жалок. Нижняя губа его дрожала как у оскорбленного злыми мальчишками старика. Воспаленные глаза готовы были залиться слезами, но появление в тот момент в коридоре наглого низкорослого студента из Белгорода заставило аспиранта поспешно смахнуть пробившиеся на поверхность лица слезинки.

– На хрен эту диссертацию! Пошел он! Пусть только попросит меня о чем-нибудь, – бормотал аспирант, направляясь к автобусной остановке. Несколько раз он громко поклялся бросить все и никогда больше не заниматься этой проклятой диссертацией, но к концу недели, раздобрев от выпитого пива, он понял, что ему чего-то не хватает. Пытался смотреть телик, читать бесплатные газеты, но ощущение гармонии отчего-то не приходило – то радостное ощущение законченности, когда перед ним лежал готовый текст, когда к нему обращались за советом. За три года работы над диссертацией своего шефа он стал едва ли не лучшим в институте специалистом по мусульманскому праву. Даже студенты-кавказцы, смуглыми темпераментными кучками прописавшиеся на «Центре» – месте тусовок продвинутой молодежи института, – стали обращаться к нему за советом по вопросам шариата и уважительно именовали его «муаллим», что значит: учитель...

Накануне следующей встречи с Иваном Ивановичем он смастерил из докторской своего шефа недурственный текстишко, о котором на пятом курсе и мечтать не смел. Утром внимательно вымыл шею и надел чистую, подаренную матерью на 23 февраля рубашку.

На кафедре восседала чем-то недовольная секретарша с маленькими усиками под большими носорожьими ноздрями, надушенная какими-то подозрительно знакомыми духами.

«Еще немного, и меня перестанут сюда пускать», – подумал аспирант.

К двенадцати обещал быть? Ну-ну. Два часа ждать, значит.

Сидя по-студенчески на батарее в коридоре, он принялся листать диссертацию. Он почти выучил этот текст наизусть. Но ему доставляло удовольствие открывать и перечитывать диссертацию. Не ту рыхлую трехсотстраничную толстую, которая ушла от него, не попрощавшись, к Ивану Ивановичу, а эту, вдвое меньше своей прародительницы, появившуюся на свет в результате непростой хирургической операции над текстом. Диссертация стала как бы продолжением его самого. Он уже наверняка не знал, где кончается он сам и начинается диссертация.

Позвонила Наташка Петрова.

– Встретиться вечером?.. Можно попробовать... Я тоже... Конечно... А как же!.. Созвонимся... Обязательно... Пока...

12.10. На кафедре никого. Кроме секретарши. Но она не в счет. Пома-ячил, помозолил глаза, и усатая призналась, что Иван Иванович только что позвонил и сообщил, что сегодня не придет.

– Да вы что! А можно ему куда-нибудь позвонить? Это очень, очень срочно. Пожалуйста, я вас умоляю!

Сжалилась. Соединила.

– Иван Иванович, здравствуйте, это ваш аспирант.

– У тебя что-то срочное? Я сейчас занят. Приходи завтра! – после того как он стал доктором, Иван Иванович обращался к своему аспиранту на «ты» вместо прежнего «вы».

– Я хотел сказать, что у меня все готово. Может, я оставлю вам текст на вах... тьфу, на кафедре, у секретарши.

– Не секретарши, а секретаря, – сурово вмешалась секретарша.

– Простите у секретар... я, – исправился аспирант.

– Какой еще текст? – настороженно спросил Иван Иванович.

– Диссертации.

– Какой диссертации?! – окончательно перепугался Иван Иванович.

– Моей...

– Ах, твоей! – с облегчением вздохнул Иван Иванович. – Куда ты спешишь, голубчик? Вся жизнь у тебя впереди. Вот встретимся на кафедре и поговорим.

– Когда?

– Лови меня...

Конец связи.

По взгляду секретарши, которая оказалась никакой не секретаршей, а секретарем (не зря ему эти усы сразу не понравились!), он уяснил, что ловить своего шефа ему отныне придется вне стен кафедры. Напоследок усатая накарякала на бумажке номер телефона Ивана Ивановича.

– Вот, звоните.

Сделала она это, конечно, не по доброте души, а чтобы поменьше видеть аспиранта. Сам аспирант об этом, конечно, сразу догадался, но виду не подал и секретаршу поблагодарил. Как потом оказалось, зря. Сколько ни звонил он неуловимому Ивану Ивановичу, его телефон либо не отвечал, либо из него доносилось такое грубое и короткое «да», что говорить о диссертации представлялось вещью безрассудной.

Прошел месяц. Студенты уже успели сдать сессию, институт опустел, а Иван Иванович так и не прочитал диссертацию. В последний день перед началом каникул он сжалился и, призвав к себе аспиранта, задал вопрос: «Ну, что у тебя там, голубчик?»

«Голубчик» достал из рюкзака давным-давно распечатанный текст.

– Впереди у нас два месяца, я не спеша читаю, а в сентябре, даст бог, встретимся и поговорим.

1 сентября отдохнувший, с остатками загара на его и без того смуглом теле аспирант, узнал, что Иван Иванович в командировке и вернется через полторы недели. Секретарша, радикально поправившаяся, показала ему добрее, чем в прошлый раз.

Веселым и дружелюбным показался ему и Иван Иванович, пробежавший полторы недели спустя мимо него в белом плаще и шляпе с коричневым кожаным портфелем в того же цвета руке.

– Иван Иванович!
– Привет! Как дела? – Иван Иванович вяло пожал руку аспиранта и тут же поспешно одернул свою.
– Я к вам...
– Что у тебя?
– По поводу диссертации...
– Какой диссертации?! – Иван Иванович даже прекратил движение и повернулся всем своим туловищем в сторону аспиранта.
– Ну как же... Моей...
– Ах, да... Приноси, что написал, я посмотрю. Но не сейчас... Я только что вернулся. У нас юбилей ректора на носу. Готовиться надо. Разумеешь?

Аспирант почему-то посмотрел на нос Ивана Ивановича. Но не обнаружил там ничего нового, кроме небольшой бородавки, которую и прежде много раз видел. Затем он поглядел в глаза своему научному руководителю. Глаза были беспокойны. Аспирант знал, что так всегда бывает перед командировкой.

– Так я же вам перед каникулами... перед самыми каникулами отдал! – с надрывом крикнул аспирант.

Иван Иванович на секунду призадумался.

– Слушай, у меня летом на даче пожар был. Наверное, твоя диссертация вместе с другими моими бумагами сгорела. У тебя черновик хоть остался?

У аспиранта, не склонного к сентиментальности, после такого вопроса выступили на глазах слезы. И не потому, что у него не было черновика...

Неделю он пил пиво и валялся, как искалеченный пес в, общаге. Ближе к выходным позвал Наташку Петрову и так отделал ее, что она еле ноги унесла и больше никогда не звонила и не отвечала на звонки и сообщения.

В понедельник, окончательно раздавленный, он, проклиная себя за малодушие, набрал номер Ивана Ивановича. Тот прокричал, что он сейчас в Нью-Йорке, «на Генеральной ассамблее», на прощание почему-то сказал «салам алейкум» и отключил трубку.

Пришлось ползти на кафедру на поклон к усатой секретарше. Она сообщила нерадостную весть: Иван Иванович должен был прилететь только через неделю. Несколько раз улыбнувшись секретарше и презентовав ей коробку конфет «Коркунов», аспирант получил разрешение оставить на кафедре для Ивана Ивановича экземпляр диссертации.

Когда же теперь прийти? Через неделю? Значит, он приезжает числа восемнадцатого. В институт он придет числа девятнадцатого. Работу посмотрит... За сколько же он посмотрит работу? Как минимум за месяц. Лapidус, уже успевший к тому времени «остепениться», советовал ему не дергать по мелочам своего шефа, добавив шепотом: «ОНИ этого не любят!»

Аспирант решил отпустить своему руководителю на все про все месяц с небольшим: до середины октября, а потом напомнить, что у него кончается аспирантура, и его могут изгнать из общежития.

Все это время он лежал на кровати в общаге, смотрел телек, пил пиво и иногда почитывал книжки. Примерно в середине октября у него случилось отравление: съел шаурму на Киевском вокзале, пока встречал родителей. Дня два он валялся в беспамятстве. Не было сил допо-

лзти до туалета. Ведро, с помощью которого он по большим праздникам мыл пол, очень пригодилось.

Когда он пришел в себя, первое, что сделал, – позвонил научному руководителю.

– Иван Иванович?

– Кто это?

Вот так вопрос. Он проглотил слюну.

– Ваш аспирант. Я оставлял вам диссертацию на кафедре...

– Ах, да! Я получил, но пока не читал. У меня сейчас с глазами проблема. Собираюсь операцию делать. Позвони или заходи через пару месяцев.

– Но... Иван Иванович, у меня же срок в аспирантуре заканчивается!

– Когда?

– Через месяц.

– Ничего страшного. Совет все равно примет твою диссертацию к рассмотрению. Не переживай.

– Но меня из общежития могут выгнать!

– Кто?

– Директор общаги...

– А ты в общежитии живешь?.. Хорошо, я подумаю. Ладно, давай, заходи, если будешь в институте...

Дня через три, а может быть, и через два аспирант явился на кафедру. Перед тем как войти, предупредительно постучал. Затем осторожно просунул в дверь. Первое, что он увидел, была крепкая спина Ивана Ивановича, произносившего какую-то речь. За столом, на котором обычно безо всякого порядка валялись никого не интересовавшие издания по правам ребенка, сидели гости. Много гостей. Много еды. Все веселы. Смеются. Никто поначалу не заметил, как он вошел.

– Привет, ты ко мне? – Иван Иванович обернулся и с бокалом в руке быстро зашагал навстречу нежданному гостю.

– Да я...

– Слушай, я пока не читал. С глазами какая-то фигня. Я думаю, через месяц все будет нормально.

– Иван Иванович, а вы говорили, что можно будет насчет общежития вопрос решить...

– Какого общежития?

– Ну, моего. У меня скоро срок аспирантуры заканчивается.

– Ах, да! Я узнавал. Мне сказали, что в этом году еще даже не всех студентов расселили. Так что извини. Кстати, хочу тебя порадовать. Ты у меня теперь не один. В этом году еще один парень поступил. Толковый.

Вместо того чтобы удалиться, аспирант продолжал стоять.

– А у вас сегодня день рождения? – не зная, что еще сказать, спросил аспирант.

– Лучше, гораздо лучше, голубчик! – оживился Иван Иванович. – Сегодня мне из ВАКа докторский диплом. Вот обмываем. Так что это в каком-то смысле наш с тобой праздник. Разумеешь? Кстати, хочешь выпить? Сейчас я тебе налью...

– Нет, нет, спасибо. Я лучше потом, за свой диплом выпью, – сказал аспирант и, не попрощавшись, покинул кафедру.

«Завидует, сифилитик», – подумал Иван Иванович и, слегка поморщившись, осушил бокал...

Шахид

Стараясь не подглядывать в бумажку, аспирант, который отныне всеми окружающими именовался диссертантом, начал свое выступление. Однако никто из сидевших за столом пожилых людей, казалось, не слушал его. Один болезненного вида профессор уже минуты две, не выдавая эмоций, высасывал содержимое шоколадной конфеты. Двое других ели фрукты и что-то обсуждали горячим шепотом. Еще один немолодой мужчина, терзаемый изжогой, упрямо глотал колу, также стоявшую на столе, и напряженно глядел в давно немытое окно. Единственная в этом коллективе женщина демонстративно чистила ногти зубочисткой, которой до этого взяла с подноса, стоявшего перед ней, сочную сливу. Но попробовать сливу ей так и не удалось: фрукт укатился под стол на полпути к ее рту. Всего же за столом находилось пятнадцать человек.

Весенняя, почти летняя погода расслабляла. Диссертант говорил тихо, но уверенно, местами даже весело, как ему самому казалось. Как будто не было вышвырнутых в мусорную корзину пяти лет жизни, изнуряющего ожидания, глупых вопросов, унижительных шуток Ивана Ивановича, презрительных взглядов секретарши и надменного студента из Белгорода. Диссертант говорил так, как будто все, что он делал последние пять лет, не только не расходилось с его планами, а, напротив, превзошло все его ожидания.

Глядя на него, сложно было предположить, что всего каких-то три месяца назад он, в надетой наизнанку грязной футболке, лежал пьяный на полу и громко рыдал. Этот маленький, не имевший никаких амбиций человек, которого по определению невозможно было обидеть, валялся на полу и выл как ребенок, чьи права он изучал.

Все необходимые приготовления к защите он производил четко и спокойно, не чувствуя при этом ни обычного в таких случаях радостного возбуждения, ни гордости, что наконец вышел на финишную прямую. Накануне защиты он плотно поел и отправился спать раньше обычного, чтобы на следующий день лучше соображать и сохранять уверенность. Он даже не сообщил родителям о дате защите. Поглаженный им самим костюм бесстрастно ждал наступления утра на вешалке...

Защита была назначена на час дня. Встал он в пол-одиннадцатого. Поел, как обычно, пельменей. Выпил чая с сушками. По дороге в институт купил цветы, чтобы поставить на стол перед председателем совета. Приехал за час до защиты: добрый, вежливый, спокойный.

В коридоре встретил вечно пьяного профессора Шайтанова. Однако в этот раз ему показалось, что Шайтанов был пьян сильнее обычного. Всегда дружелюбный и приветливый, профессор, нос к носу столкнувшись в коридоре с аспирантом, даже не поздоровался с ним.

«Странно, – подумал аспирант. – Может, у него что-то болит?»

До последнего мгновения он опасался, что не наберется кворум, то есть такое количество членов диссертационного совета, которое позволило бы считать заседание действительным. Каждый вяло вплывавший в зал ученый вызывал у него радость. Один, два, три... Нужно было шестнадцать, включая тех, что числились в явочных листах. Шайтанов с красной мордой. Четыре. Не помню, как зовут этого деда... Пять. Вот еще двое. Шесть, семь. Супер!..

Итого набралось пятнадцать, а с явочным листом семнадцать, то есть на одного больше, чем нужно. В их числе – предписанные прави-

лами два доктора наук по его специальности. Теперь дело за малым – защититься. А потом... Он не думал, не хотел думать, что будет потом.

Отсутствие на защите научного руководителя больше не пугало его. Когда Иван Иванович сообщил ему на бегу в коридоре несколько дней назад, что не сможет присутствовать на защите из-за предстоявшей важной командировки в Рио-де-Жанейро, посвященной проблеме сексуальной эксплуатации детей, он поначалу не поверил свои ушам.

– Как же это... Вы же... – беспомощно запищал он.

– К сожалению, я не могу перенести свою поездку. Это очень важно, ректор не смог поехать и попросил меня. Но ты не беспокойся, я узнал: мое присутствие не обязательно.

– Но я...

– Не волнуйся. Я поговорю насчет тебя. Ты только это... подготовься нормально. Банкет организуй как следует. Разумеешь?

Иван Иванович легонько потрепал аспиранта по плечу, пожелал ни пуха и удалился с мыслью о командировке. Аспирант присел на батарею. Он произнес несколько крепких слов в ту сторону, куда удалился Иван Иванович. Не слишком громко, но и не то что бы совсем тихо. Пока он занимался бумажными делами, сопутствующими подготовке к защите, он забыл о том, что такое Иван Иванович. А Иван Иванович был человеком, живущим в самолете.

«Хотя... может, так даже лучше будет, – подумал аспирант. – В самом деле, какой от него толк? Он же ни хрена не знает – только испортит все... Мудак...»

И он перестал думать об Иване Ивановиче...

То, что его выступление никто не слушал, сначала пугало, а потом даже обрадовало. Появилась какая-то уверенность. Раз не слушают – значит, и допрашивать не особо будут. Судя по их физиономиям, многие из них впервые видят автореферат.

Закончив свое тихое, но уверенное выступление, диссертант сел за отведенный ему маленький столик за спиной председателя диссертационного совета – сухопарого старика-ветерана со строгим лицом и биоэлектрическими протезами «Страдивари» вместо обеих рук. Это название знали все студенты: до войны председатель совета, звавшийся мальчиком Лешей, обучался скрипичной игре. Его мечтой было сыграть на скрипке, сделанной Страдивари. Хотя бы один раз. Но война планы эти сначала отодвинула на неопределенное время, а в 1943 г. заставила о них забыть. Рядовой Алексей Никулин потерял обе кисти рук во время Курского сражения. И вот несколько лет назад внучка подарила ему новые протезы с музыкальным именем, напоминавшим ему об умершей мечте...

Как только диссертант занял свое место, вся масса до этого казавшихся безразличными пожилых людей неожиданно пришла в движение и принялась осыпать его вопросами, большинство которых не имело никакого отношения к его диссертации.

Но порядок есть порядок, и диссертанту ничего не оставалось, как терпеливо отвечать на все, о чем его спрашивали. Председатель совета уже поглядывал на часы, намереваясь перейти к следующей части заседания, как вдруг слова попросил профессор Шайтанов. Во время выступления диссертанта он, с прищуром склонившись над авторефератом, усиленно работал карандашом. Профессор Шайтанов был, пожалуй, единственным участником совета, за исключением председателя, кто не отвлекался на разговоры со своими соседями по столу.

– С любопытством, – начал Шайтанов, – я только что прочитал автореферат, который вы почему-то мне не отослали. Впрочем, пусть это останется на вашей совести!.. Так вот, значит... у меня возникли некоторые соображения. Вот вы тут на странице... секунду... странице семь утверждаете, что мусульманское право достаточно подробно регулирует права ребенка и потому вполне может быть использовано для регулирования прав детей и их защиты не только в мусульманских, но и других странах. Что вы хотели этим сказать?

– Спасибо за вопрос, Лука Андреевич, – отвечал аспирант. – Но сначала хотел бы прокомментировать ваше высказывание по поводу автореферата. Я лично занимался рассылкой и прекрасно помню, как отправлял вам автореферат. Может быть, у вас поменялся адрес?..

– Нет, адрес я пока, слава Аллаху, не поменял, – произнес непослушным языком Шайтанов, после чего поднялся с места и, подняв указательный палец к потолку и вращая глазами, добавил: – И не собираюсь!

– Странно, может, тогда проблемы с почтой. Что касается вашего вопроса. Вы, вероятно, имеете в виду тезисы, выносимые на защиту?

– Они самые, молодой человек.

– Изучая нормы мусульманского права, я пришел к выводу, что оно в определенных аспектах даже в большей степени, чем действующее международное право, защищает права ребенка. Поэтому наработанные мусульманско-правовой доктриной механизмы защиты прав ребенка вполне могут быть использованы в современном международном праве.

– То есть, вы, молодой человек, утверждаете, что международное право без шариата является неполноценным, – подхватил Шайтанов.

– Я этого не утверждаю, Лука Андреевич, – отвечал диссертант, убоившись такого серьезного обвинения, – я просто хотел сказать, что на то оно и международное право, что должно учитывать не только достижения европейской цивилизации, но и других цивилизаций. Семейные ценности на Западе находятся под угрозой...

– Пардон, – уже почти вскричал Шайтанов, – но что вы прикажете делать, если только европейская цивилизация смогла предложить человечеству адекватную и универсальную систему международного права?

– Ну, насчет универсальности, как видно (в том числе и из моей работы), есть определенные сомнения.

– Какие сомнения?! – взвился Шайтанов. – У кого? У вас? Или у бедуинов Аравийского полуострова?!

– Между прочим, те самые бедуины, о которых вы, Лука Андреевич, только что сказали, смогли существенно обогатить такую отрасль современного международного права, как гуманитарное право или право вооруженных конфликтов, – удивленный атакой Шайтанова, возразил диссертант. Теперь ему стоило опасаться не столько за судьбу бедуинов, сколько за свою собственную.

– Чем же это? – не отступал Шайтанов.

– В исламе еще в седьмом веке были сформулированы правила обращения с военнопленными. В то же время в Европе еще много столетий пленный не считался субъектом права.

– Где это? Покажите, пожалуйста, или приведите соответствующую суру! Ткните мне это место в Коране, – вскричал Шайтанов.

– К сожалению, я не помню на память, но я могу посмотреть.

– Я, с вашего позволения, вмешаюсь, – вступил в диалог председатель, – наша дискуссия немного вышла за рамки собственно предмета

исследования. Все-таки у нас пока еще светский вуз, а не медресе, и в данном случае ссылки на Коран вместо закона будут несколько неуместны. Тем более, что в работе диссертанта и без того немало подобных ссылок.

– Ну, зачем же вы так, Алексей Николаевич, – проблеял до этого никоим образом не заявлявший о себе старичок с красным морщинистым лицом и расплзшимся в районе лобовой части большим коричневым пятном. – Все зависит от целей, которые ставит перед собой выступающий. Мне кажется, что молодой человек поставил перед собой вполне конкретную цель: убедить нас в преимуществах одной из мировых религий, сиречь – ислама. Можно сказать, что это ему пока неплохо удастся, – сказав это, старичок с красно-коричневым лицом нехорошо засмеялся.

– То есть вы, Марат Яковлевич, хотите сказать, – на каменном лице председателя появилась какая-то странная гримаса, которую никак нельзя было считать улыбкой, – что диссертант прибыл к нам как... проповедник, или даже эмиссар.

– Или шахид, – раздалось со стороны Шайтанова.

Старичок с красно-коричневым лицом, владевший старинным словом «сиречь», а вслед за ним и все остальные пришли в восторг. В возникшем гуле диссертант сумел расслышать только зловещее слово: «шахид».

– Ну, какой же он шахид, – произнес председатель, увидевший, что его шутка увела внимание совета в другую степь, – наш диссертант вполне, судя по внешнему виду, цивилизованный человек...

– А Бен Ладен, значится по-вашему, не цивилизованный человек? – перебил председателя Шайтанов.

– Очень даже, – поспешил вставить старичок с красно-коричневым лицом.

Все это время онемевший диссертант сидел за спиной ветерана-председателя. Вся его уверенность, все умные взрослые слова, которые он до этого вполне уместно, как ему казалось, использовал в своем выступлении, вдруг вылетели из его головы и сердца.

Он уже не помнил точно, как председатель сумел одним движением своей неживой руки остановить оживший зал, как секретарь совета, похожий на внезапно разбуженного немолодого бобра, монотонным голосом огласил письменные отзывы ведущей организации, а также отзывы неофициальных оппонентов. Очнулся он лишь в середине речи второго оппонента, которому приходилось отдуваться за себя и за неявившегося по не очень уважительной причине первого оппонента. Речь его была бесцветна, и понять из нее хвалит он диссертацию или ругает, было решительно невозможно.

Председатель предоставил диссертанту слово для ответа на замечания оппонентов. Эта часть защиты была наименее сложной, поскольку по существующим правилам ответы на отзывы приготавливались заранее. Сначала аспирант прилежно пытался ответить на все замечания, но вскоре обнаружил, что его давно уже никто не слушает. Опытный председатель также заметил это и, подняв правую руку вверх, объявил начало финальной дискуссии.

– Почему в диссертации смешиваются понятия «мусульманское международное право» и «международное право»? – требовательно поинтересовался Шайтанов.

Диссертант уже открыл рот, чтобы ответить, но не успел.

– А потому, что автор пытается нам доказать, что одно не исключает другого, – любезно отвечал за диссертанта старичок с красно-коричневым лицом.

– Но ведь это же...

– Вот именно!

– Хорошо, а что тогда имел в виду автор, когда писал о взаимопроникновении международного права и...

– Нет уж, позвольте, Борис Борисович.

– А вы, Марат Яковлевич, не правы, ой как не правы!

Диссертант уже с трудом понимал, о чем спорят эти деятели науки и что здесь делает он. Председатель молча наблюдал за происходившим, но вскоре не вынес одиночества и обратился к женщине-профессору, по-прежнему занимавшейся своими ногтями. Он многообещающе произнес что-то вроде: «Однако», или «Да уж!» В ответ женщина только покачала головой и устало улыбнулась председателю, что означало по-видимому: «Да-да, мы-то с вами все это прекрасно понимаем».

Диссертант стоял за кафедрой и беспомощно глядел на членов совета. До него едва доносились некоторые реплики профессоров, особенно с дальнего конца стола. Слов профессора Шайтанова и вовсе нельзя было разобрать. Выходивший пару раз в ходе заседания профессор пришел в окончательную негодность, так что произносимые им слова не могли распознать даже сидевшие подле него друзья и коллеги.

Впрочем, один раз, когда диссертант очнулся на мгновение от своих раздумий, ему показалось, что Шайтанов отчетливо произносил слово «шахид», после чего образовалась пауза и все засмеялись – кто как мог. Даже председатель, страдавший от того, что не мог принять участие в дискуссии, изогнулся в коварной полуулыбке, после чего произнес: «Да уж!»

Прошло еще некоторое время, и члены совета окончательно позабыли о том, что они ранее обсуждали и перешли к воспоминаниям о своей молодости, ко временам, когда они сами защищались. Какие тогда были жесткие требования – не то что сейчас. Тогда просто так зеленым юнцом не сунешься. Подход был другой. Не было компьютеров, интернета, жизнь была тяжелая, а какие работы писали. На века!..

Старичок с красно-коричневым лицом даже вспомнил, как его избивали в парадной хулиганы, порвали прямо у него на глазах единственный экземпляр его диссертации, а потом помочились на разбросанные ошметки. Пришлось печатать все заново, по черновикам.

Наконец, председатель посчитал необходимым закрыть дискуссию. Участливо поглядев на диссертанта, притихшего за его спиной, он уныло объявил заключительное слово, призвав выступающего быть кратким (ветеран вспомнил, что обещал помочь своей любимой, но, увы, не очень способной внучке вечером с математикой).

Диссертант неуверенно направился к низенькой кафедре с гербом СССР. В руках у него был текст его выступления, написанный и много раз до полного запоминания прочитанный им накануне. Однако то ли от волнения, то ли по какой-то другой причине, он отложил в сторону заготовленный текст и принялся говорить то, чего он сам и все, кто его хорошо знал, вряд ли могли ожидать от него менее суток назад.

Говорить об этом уверенно нам позволяет следующее обстоятельство. Когда впоследствии были раскрыты все сопутствовавшие защите бумаги, выяснилось, что текст выступления диссертанта на бумаге не имел ничего общего с его заключительной речью перед советом.

– Уважаемый диссертационный совет! Уважаемый председатель! – начал диссертант. – Большое спасибо за то, что вы активно участвовали в обсуждении моей работы. Поверьте, мне сейчас не так просто говорить. Наверное, будет правдой, если я скажу, что после сегодняшней защиты я чувствую себя совсем другим человеком. Не знаю, лучше я стал или хуже. Не мне судить. Но то, что я стал за эти два часа умнее, – можете не сомневаться. Умнее не от умных советов, которых я, к сожалению, сегодня здесь не услышал. Я стал умнее от того, что я здесь увидел. Вы мне тут задавали много вопросов. А у меня к вам всем всего один маленький вопросик: «Да что же я вам всем такого сделал, что вы на меня так набросились? Чем же я провинился перед вами, Марат Яковлевич? Или перед вами, Лука Андреевич? Почему вы назвали меня шахидом, как будто я и в самом деле кого-то убил? Если я кого и убил, так это себя самого, ежедневно уничтожая время своей молодости бесполезной работой над никому не нужной диссертацией. Только что я услышал от вас о себе очень печальные и неприятные вещи, но разве такие слова звучали два года назад, когда все вы дружно под аплодисменты утвердили диссертацию моего научного руководителя Ивана Ивановича Бажбанова. А знаете ли вы, кто написал эту работу? Не догадываетесь? Я же и написал. Если бы вы внимательно присмотрелись к моей диссертации, то увидели бы, что она – всего лишь сокращенный вариант работы Ивана Ивановича...

В зале задвигались стулья.

– Уважаемый диссертант! Говорите по существу, пожалуйста, – вмешался председатель, почувствовав, что запахло жареным.

Женщина-профессор оставила, наконец, в покое ногти и с тревогой смотрела то на председателя, то на диссертанта. Другие члены совета находились в еще большем замешательстве.

– Да что же он такое говорит! – вдруг закричал старичок с красно-коричневым лицом.

– Да, извините, я уже заканчиваю, – стараясь не смотреть на забурливший зал, отвечал аспирант. – Я просто хотел сказать вам, что вы уже присудили мне два года назад докторскую степень, и мне фиолетово, как вы проголосуете на этот раз. Спасибо...

В зале начался суший переполох, как будто и в самом деле коварный шахид привел в действие свое взрывное устройство. Два профессора одновременно вскочили со своих мест, словно собираясь в тот же миг навалить зарвавшегося диссертанту. Шайтанов, раскрасневшийся, тряс руками и брызгал слюной. Старичок с красно-коричневым лицом также что-то кричал. Даже женщина с зубочисткой в руках покраснела и, сопровождая свои слова непонятными диссертанту жестами, о чем-то говорила старику-председателю.

Сам же председатель, со значительным видом восседавший в начале стола, внимательно смотрел на своих коллег. За долгие годы председательствования в совете он впервые сталкивался с подобной ситуацией (а видел он многое: и слезы, и злость, и тоску, и безысходность). Но ему никогда ранее не доводилось видеть столь вызывающего поведения – тем более от человека, которого он знал как робкого бездарного студента, регулярно мешавшего ему вести семинары своим вечным насморком.

А насчет Ивана Ивановича – неужели, правда? Впрочем, вполне возможно. Слишком уж грамотная для его уровня работа. Вот это да! Вляпались! Теперь от ВАКа пощады не жди. И ведь как назло он тогда

был председателем совета. Ведь действительно пропустили. Без возражений! Сам ректор на защиту приходил. Господи! Врагу не пожелаешь. Что же теперь делать?..

Таким невеселым размышлениям предавался председатель совета в то время, как его коллеги ходили, кричали, жестикулировали, смеялись и доедали остававшиеся на столе фрукты.

Что же делать? Как что? Продолжать заседание. Скорее выбирать счетную комиссию. Это позволит официально попросить диссертанта покинуть зал на время голосования... .

Когда же минут через десять из зала вышел секретарь совета, который был похож на бобра, выяснилось, что диссертант куда-то исчез. Но председатель – человек строгих порядков и старой закалки – ни в коем случае не намерен был отступить от «не нами», как он сам любил выражаться, придуманных правил и заявил, что результаты голосования будут объявлены и при отсутствии виновника переполоха.

– Наверное, перенервничал, – как бы в оправдание себе на случай, если опять выйдет конфуз, произнес председатель.

– Совесть замучила! – сказал старичок с красно-коричневым лицом.

– Председателя счетной комиссии прошу объявить результаты голосования, – невозмутимо продолжил председатель.

Председателем счетной комиссии был выбран старичок с красно-коричневым лицом. Торжественно выждав момент, он провел ладонью по своей плешивой голове и начал дребезжащим голосом:

– Уважаемый совет! В соответствии с решением совета был утвержден состав счетной комиссии в составе трех человек: председателя и двух членов. Председателем избран Хабутдинов Марат Яковлевич. Членами счетной комиссии Мухин Борис Борисович и Алексеев Михаил Михайлович.

На защите присутствовало пятнадцать человек из них докторов по специальности двое. Итого: действительных бюллетеней семнадцать. Недействительных бюллетеней нет... За – шесть человек, против – десять. Воздержавшихся – один...

Председатель счетной комиссии так спешил, что даже забыл объявить, как того требовали правила, название диссертации и фамилию ее автора. Председатель совета, утомленный происходившим, не заметил нарушения процедуры.

– Ни хрена себе! – воскликнул Шайтанов. – Десять «против». Обалдеть. Что же вы так, ребята? Жестко вы с пацаном... Я лично «за» голосовал. – Затем беспокойный профессор поднялся с места. Стул, служивший ему сиденьем, упал, но Шайтанов даже не взглянул в его сторону и, пошатываясь, направился к выходу.

Вслед за ним как по зову невидимой трубы поспешили покинуть свои места и другие члены совета.

– Уважаемые профессора! Там, в соседней аудитории, вас ждет банкет, – крикнул растерявшийся секретарь, похожий на бобра, вослед стремительно удалявшимся членам совета.

– Да какой тут банкет, – махнул рукой старичок с красно-коричневым лицом, а потом добавил: – А Лука Андреевич прав. Жалко все-таки парня. Вяпался, дурак! Я бы тоже «за» проголосовал, если бы не его выступление.

На банкет, кажется, и в самом деле никто не пошел, но точно ругаться за это нельзя. Кто-то из студентов видел, как часу в восьмом из аудитории, где несчастным диссертантом были неуклюже нарезаны бу-

терброды, выходил совершенно невменяемый Шайтанов или человек, очень похожий на очень пьяного Шайтанова.

Не лучше, впрочем, выглядел со стороны и наш диссертант, когда он, не помня себя, вышел на улицу. Весенний московский день каким-то незаметным образом сменил свою незрелую жару на ветер, бесцеремонно обнаруживавший себя на каждом шагу. На свою беду, диссертант был одет в расчете на жаркую погоду, и потому разгоряченное взволнованное тело его быстро стало добычей беспощадной прохлады.

До общежития он дошел уже совсем больным в девятом часу, когда студенты, закончив свой нехитрый ужин, только садились за домашнее задание, а по телевизору начиналась программа «Время», которую аспирант всегда смотрел, когда ужинал. Умиравший от нетерпения комментатор прокричал очередную новость из горячей точки: «В Ираке шахид привел в действие взрывной механизм. По последним данным, погибло пятнадцать человек и сам шахид»...

* * *

О смерти аспиранта стало известно случайно. Долгое время не объявлявшийся в общаге сосед несостоявшегося кандидата наук по имени Митя через два дня после описываемых событий сильно поругался со своей девушкой. Решив проявить характер, он вернулся из уютной московской квартиры в ненавистные ему казенные стены.

Поначалу, едва раскрыв дверь, Митя не придавал значения сильному запаху, распространившемуся по комнате. Сосед его имел обыкновение питаться всякой гадостью, и потому к подобным запахам он привык. Митя несколько раз бил соседа за неряшливость. Тот плакал, но потом снова продолжал есть испорченные продукты.

«Слава богу, окно догадался открыть, мать его, – подумал он и грязно выругался в адрес развалившегося на кровати аспиранта. – Кстати, как там у него все прошло?»

– Эй, ау! – Митя окликнул лежавшего под толстым не по сезону одеялом соседа по имени, но тот не отозвался. Щелчок по голове также не подействовал. Только на третьей попытке разбудить аспиранта Митя уяснил, что перед ним самый настоящий труп...

Иван Иванович был одним из последних, кто узнал о кончине аспиранта. Однажды, вернувшись после очередной командировки, он, попивая на кафедре свой любимый чай для особых случаев вместе с бывшим студентом, а ныне аспирантом – низкорослым якутом из Белгорода, и обсуждая план его кандидатской диссертации, невзначай бросил секретарше: «Что-то мой горе-аспирант куда-то запропастился. Нагадил в душу и исчез. Отблагодарил за все хорошее! Надо бы позвонить. Поговорить по душам. Разыщи-ка мне его телефончик...»

Секретарша, обычно всегда живо реагирующая на приказы своего беспокойного начальника, на этот раз проявила некоторую медлительность.

– Иван Иванович, – наконец произнесла она, ища глазами поддержки у белгородского аспиранта, – так ведь он... в некотором смысле... уже вроде как... не существует больше.

– Да-да, – с готовностью подтвердил аспирант из Белгорода. – Он однозначно уже неживой. Я сам некролог видел на «Центре».

Иван Иванович не знал, что в таких случаях следует говорить.

– Д-да, – наконец протянул не то с сожалением, не то с досадой Иван Иванович. – А что с ним случилось?

– То ли с сердцем что-то, то ли простудился, – подавив зевок, сообщил аспирант из Белгорода. – Туда ему и дорога, неча на хороших людей клеветать!

– Ну, ты, это, Паша... не надо так, – Иван Иванович покачал головой. – Человек умер все-таки. Да и не со зла это он. Завидовал мне страшно – это правда. Ну да кто теперь не без греха. Бог его и так наказал: вон сколько черных шаров накидали, – благодаря добрым людям Ивану Ивановичу до мелочей был известно все, что происходило на совете.

– Золотое у вас сердце, Иван Иванович, – поправляя прическу, ответил надменный аспирант из Белгорода.

Когда Паша ушел, Иван Иванович вновь вспомнил о несчастном «сифилитике». Ему живо вспомнился покойный, каким он увидел его впервые: с грязными черными волосами, в дешевой, давно не стиранной толстовке и брюках без стрелок, в ботинках со шнурками без металлических наконечников.

«Надо бы его родителям позвонить, успокоить», – подумал Иван Иванович, но очередной звонок начальства помешал этому доброму делу осуществиться.

Звонил ректор. Он приказал Ивану Ивановичу немедленно явиться к нему.

Опасения председателя-ветерана не были напрасны. Среди присутствовавших на защите профессоров оказались недоброжелатели Ивана Ивановича, которые взяли на заметку фразу о том, кто был настоящим автором докторской диссертации по правам ребенка в мусульманском праве. Ивану Ивановичу грозил вызов в ВАК на беседу с так называемым «черным оппонентом».

Ректор немного пожурил Ивана Иванович, но потом быстро оттаял и засмеялся, потому что больше всего на свете любил смеяться.

– Возьми все документы, включая диплом доктора наук, и ступай к ним, – приказал он Ивану Ивановичу. – И не ссы! Я что-нибудь придумаю!

Иван Иванович виновато улыбнулся и поцеловал руку своего руководителя.

Через несколько дней на кафедру прав ребенка и в самом деле пришло приглашение из ВАКа. К большому удивлению Ивана Ивановича, его «черный человек», как за глаза называли «черных оппонентов» в научном мире, оказался добрейшим существом. Он не только не задал ни одного «ненужного» вопроса, но еще и угостил Ивана Ивановича чаем с вкусными пирожками. Пирожки Иван Иванович любил. Особенно на пару с хорошим человеком. А хороших людей в его жизни попадалось немало. Разве что этот аспирант...

На прощание «черный оппонент» попросил передать сердечный привет ректору...

Счастливым Иван Иванович бодро выбежал на улицу. Первым делом набрал начальство. Потом аспиранта из Белгорода. Рассказывая в подробностях свою беседу с «черным оппонентом», Иван Иванович так увлекся, что не заметил, как забрел в какое-то незнакомое место. Он оглянулся по сторонам.

– Где это я? – сказал сам себе Иван Иванович и только подумал об этом, как тотчас же почувствовал, как кто-то, находившийся позади него, ухватился за портфель, в котором находились все документы, предназначенные для беседы с «черным оппонентом», в том числе диплом доктора наук. Иван Иванович не считал себя трусливым чело-

веком и потому сразу же обернулся, намереваясь дать в морду обнаглевшему грабителю. Но рука его, нацеленная для удара, сама собой опустилась, как только он увидел нападавшего.

Перед ним стоял какой-то человек в грязной толстовке и мятых брюках. Иван Иванович немедленно узнал его. Это был... да, это был его бывший аспирант. Бледный и безмолвный, он крепко вцепился в портфель Ивана Ивановича.

– Ты это... чего... портфель-то отпусти, а?! – умоляюще пролепетал Иван Иванович.

К совершенному ужасу Ивана Ивановича, мертвец злорадно усмехнулся и со всей дури влепил ему сочную пощечину. Вслед за тем последовали немилосердные удары в живот и в пах. Не выпуская из рук портфеля, Иван Иванович рухнул на колени.

– Отдавай то, что не принадлежит тебе по праву. Ну же! Получай, скотина, – с этими словами незнакомец огрел Ивана Ивановича чем-то тяжелым по голове...

Иван Иванович, как ему потом казалось, очень быстро пришел в себя, но, оглядевшись по сторонам, не увидел ни портфеля, ни грабителя.

«Может, глюк?» – подумал он, но тут же спохватился: в таком случае где же портфель?

Слава богу, мобильник не забрал. Иван Иванович набрал номер аспиранта из Белгорода.

– Бери машину и дуй ко мне. Со мной тут какая-то фигня происходит. Быстро!

– Куда ехать-то? – испугался Паша, принимавший в тот момент ванну у Ивана Ивановича дома.

– А хрен его знает...

Аспирант из Белгорода был единственным, кому Иван Иванович поведал о своем приключении с мертвым аспирантом. Поместив голову на Пашкину безволосую грудь, Иван Иванович всю ночь проплакал и наутро выглядел, откровенно говоря, прескверно. Пашка тоже не сомкнул глаз. Он ломал голову, как сказать Ивану Ивановичу, что у того половина волос на голове побелела.

Через несколько дней Иван Иванович после некоторых раздумий написал заявление в ВАК об утрате диплома. Он больше не чувствовал радости от того, что он Doktor Yuridicheskikh Nauk. Он даже стал тяготиться своей научной степенью, повисшей на нем наподобие оранжевой нитки, которая портила вид любой одежды, но от которой теперь уже ни за что нельзя было избавиться. Теперь Иван Иванович сообщал о том, что он доктор, только тем, кто его об этом спрашивал.

Окружающие заметили и некоторые другие перемены, случившиеся с Иваном Ивановичем. Секретарь кафедры не без удовольствия отметила, что ее начальник больше не кричит на нее и чаще стал употреблять слова «вы» и «пожалуйста», когда обращался к ней. Когда же Ивану Ивановичу звонило начальство, он смеялся, но делал это уже не так громко и заразительно, как прежде.

Андроник РОМАНОВ

Родился в 1967 году в Казахстане. Учился в Карагандинском и Казахском государственных университетах. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор четырех книг стихов и прозы.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дети Ра», «Нижний Новгород», «Сибирские огни» и других. Лауреат XV Международного Волошинского конкурса. Стихи переведены на английский, французский, арабский языки.

Член Союза писателей Москвы. Главный редактор журнала «Литература». Живет в Москве.

ПОВЕРХНОСТЬ

Теперь, устроившись на поверхности, я довольствуюсь двумя координатами, определяющими мое местоположение, – широтой и длиной. Не меняет ситуации даже то, что арендуемую мной двушку отделяет от густо засеянного бурым реагентом асфальта целых двадцать два метра. Птицы летают выше. Я забыл, где в это время года находится Орион и как называется крайняя правая звезда в его поясе. Небо здесь напоминает потолок, покрашенный плохо размешанной смесью белой и серой красок, между мазками которой иногда мелькают голубые пятна, но их тут же замазывает осадками. Наверное, именно поэтому начало мое, случившееся значительно восточнее и немного южнее, ассоциируется у меня с третьей, напрочь забытой здесь, координатой видимого пространства: высоким, чистым, уходящим в ультрафиолет – другим – небом.

Там был дом с яблоневым садом, двором с высокой калиткой и зелеными воротами, большой – под грузовую машину – гараж, мамыны гладиолусы под окнами веранды, в глубине сада, пугавшая нас вечерами, дыра в земле, запечатанная бетонной плитой – по слухам, колодец, в котором утопилась бывшая хозяйка нашего дома. У высокого деревянного забора, отделявшего сад от соседней улицы, стоял огромный поливочный бак, сваренный из толстых почерневших листов металла, пересохшее дно которого было завалено прошлогодней листвой и ветками, оставшимися после стрижки деревьев. Дом, из которого я уезжал слоняться по общагам и съемным квартирам и куда возвращался нечасто, но регулярно, вплоть до самой смерти родителей.

За час до прибытия я выходил в прокуренный тамбур встречать узнаваемый контур многоэтажек Майкудука, тянувшегося вдоль горизонта

грязной неровной полоской, радовался унылому постану Сортировки, мозаичному космонавту на торце девятиэтажного магазина «Юбилейный», как радуются старым знакомым, которых никогда не любишь за их достоинства, но всегда – за недостатки, за пережитое из-за них, каким бы тяжелым оно ни было.

* * *

В детстве мне нравилось забираться на крыши. Особенно на одну из них – около художественной школы. Я садился на самый край шумящей пирамидальными тополями пропасти, дном которой был чужой двор с мамашами, выгуливающими своих отпрысков, бабками у подъезда, девчонками, прыгающими вокруг невидимой с высоты резинки, и чувствовал настоящее подростковое счастье. Внизу не было ничего интересного. Все начиналось именно здесь – на высоте.

В десять лет я решил, что непременно пойду в авиацию, и завел специальную тетрадь – для самолетов. Брал в читальном зале нашей маленькой уютной детской библиотеки подшивку «Техники – молодежи» – там публиковали иллюстрированные описания истребителей и бомбардировщиков Второй мировой войны, – открывал свежий номер на нужной странице, накладывал на изображение кальку и аккуратно обводил рисунок или фотографию самолета, стараясь при этом не сильно давить на карандаш, чтобы не оставить следов на оригинале. Очень нравились «мессершмитты», но об этом никому нельзя было говорить. Ну разве что Серёге Терехову – другу и однокласснику.

Летом, поздней весной и ранней осенью мы ходили за широкую пустующую дорогу, отделяющую восточную окраину нашего одноэтажного района от огороженной колючей проволокой авиабазы. Покачиваясь в струящемся от жары воздухе, она неторопливо дрейфовала в открытой степи, взъерошенная разнообразным множеством антенн над казенными корпусами и гофрированными металлическими ангарами, и завораживала нас зачехленными военными вертолетами, самыми впечатляющими из которых были, конечно же, Ми-8. Мы устраивались на горячих бетонных плитах у самой колючки, под гул взлетающих самолетов заводили разговоры об орбитальных станциях и полетах на Марс в далеком восемьдесят пятом, листали принесенную Серёгой «Шесть дней на Луне-1». И, кажется, именно Серёга первым заговорил о гирокоптерах...

* * *

В мае восемьдесят второго во дворе нашего старого дома на улице Космонавтов появилась пахнущая новеньким салоном одиннадцатая модель «жигулей». Отцу понадобился гараж, и он довольно быстро, за какой-нибудь месяц, нашел и купил новый дом с еще большим двором, гаражом и яблоневым садом. Мы переехали на другой конец города. Нас с моим младшим братом перевели в другую школу, и посещения авиабазы с походами на самолетное кладбище остались в прошлом.

Июль того года выдался жарким и унылым, как это бывает в разгар каникул, когда уже хочется поскорее в школу, потому что никаких таких поездок к морю не намечается, друзьями на новом месте ни я, ни брат не обзавелись, а дома было все одно и то же. И вот как-то в один из ленивых полдней, разглядывая стопку досок, обнаруженных мной

за поливочным баком у забора, я надумал соорудить гирокоптер. Не модель какую-нибудь, а самый настоящий, всамделишный автожир – это еще одно название гирокоптера – такой, чтобы летал.

Конструкция аппарата должна была быть простой, как сама идея использовать свободно вращающийся – вертолетного типа – винт в качестве несущей плоскости. Жесткая рама с шасси в основании, на которой закреплено легкое кресло пилота, пилон с ротором – так правильно называется винт – и сзади, в районе хвоста, киль с рулем поворота. Никаких двигателей. Попробовать взлететь на буксире, а потом – если пойдет – подумать о толкающем пропеллере на борту.

Первым делом я отправился в библиотеку и прочитал все, что нашёл о гиропланах – это еще одно название гирокоптеров. К сожалению, только популярные статьи с плохими фотографиями и рисунками, не дающими никакого представления о конструкции изображенных аппаратов. Пришлось додумывать самому. Неделю я изводил «кохиноры» и листы ватмана, купленные мне родителями для художественной школы, искал подходящие материалы, совершая вечерами набег на пропахшую мазутом и машинным маслом свалку соседней автобазы, сходил пару раз на далекое самолетное кладбище за аэропортом. К концу июля у меня были чертежи, материалы и инструменты. Я легко договорился со знакомым обладателем монстроподобного мотоцикла об участии в испытаниях. Он должен был тянуть гироплан на длинной альпинистской веревке, разогнаться до скорости, позволяющей мне взлететь, буксировать аппарат некоторое время для набора высоты, пока я не отстегну буксир специальным рычагом. Дальше я собирался плавно, за счет авторотации, планировать и приземлиться там, куда сумею долететь.

Я обустроил мастерскую в саду, под открытым небом. Сколотил деревянный настил, накрыл им поливочный бак, соорудив, таким образом, подобие верстака, сделал крепления для заготовки и начал аккуратно работать рубанком. Лопастей ротора я решил сделать деревянными. Самым подходящим из доступных твердых пород оказался ясень. Дело шло медленно. Даже очень. Ясень плохо поддавался обработке, но это его природное упрямство шло даже на пользу – я вынужденно работал аккуратно, кропотливо стачивая лишнее разными инструментами, о существовании которых еще недавно не подозревал, постоянно делал замеры, обнажая спрятанную внутри доски точеную лопасть ротора, должного поднять мой летательный аппарат в небо.

Домашние отнесли к моему увлечению снисходительно. Отец несколько раз приходил посмотреть, как я столярничаю, улыбался, говорил что-то одобрительное. Не то чтобы я был до этого белоручкой – нет, свидетелями тому были два телескопа, собранные мной из удивительно не подходящих для этого дела компонентов, – но чтобы так, с утра до позднего вечера... Просто я перестал быть мечтателем в классическом сибаритском понимании этого аморфного слова, моя мечта стала целью. А это уже было совсем другое дело.

Я работал весь август. Выходил в сад затемно, шелестя мокрой от росы травой. Первым делом раскладывал на земле готовые крупные части конструкции, чтобы видеть, так сказать, картину в целом. Потом все извлеченное и разложенное собирал и аккуратно складывал обратно – на дно бака, накрывал брезентом, устанавливал на бак помост с верстаком и продолжал работу.

Дольше всего пришлось возиться с ротором. Ось, балку, раскосы и прочие несущие части скрепил болтами, стянул для надежности в не-

которых, как мне казалось, особенно подверженных нагрузке, местах стальной проволокой. Сиденье с прямоугольной фанерной спинкой и самодельными ремнями безопасности напоминало табурет. Но это ему не мешало быть полноценным креслом пилота.

Пока я возился с деталями, моя затея выглядела вполне себе безобидной. Все изменилось, когда в самом конце августа я собрал готовый остов гироплана. Шутки за обеденным столом прекратились. В нашем саду стоял летательный аппарат. Да, ему не хватало кили, стабилизатора, шасси и прочих деталей, покоившихся до поры в разной степени готовности на дне бака под брезентом. Но для отца это было неважно. Для него – в нашем саду стояла конструкция, на которой собирался лететь его сын.

* * *

У них была существенная разница в возрасте, но об этом мало кто догадывался – высокий, темноволосый, с правильными чертами лица, отец и выглядел безупречно и умел себя подать. Мама, во всем его поддерживавшая, была при этом единственным на моей памяти человеком, способным сказать ему «нет». Они оба были сильными людьми, странным образом сошедшимися, прожившими долгую нескучную жизнь, умудрившимися, несмотря ни на что, остаться вместе до самого конца.

Живость их отношений вдохновляла. Мама рассказывала, как, прожив в Актогае год, они сильно поругались, и она уехала в Балхаш, к матери. Бабушка моего отца не любила. Чтобы отрезать насовсем, мама вышла по-быстрому замуж за друга детства по фамилии Матвеев. Отец узнал и поехал следом, но появляться на пороге не спешил. О его приезде стало известно деду, потом, разумеется, бабушке, бабушка предупредила зятя – чтобы «Аня ни в коем случае ничего не узнала». Но он, простая душа, проболтался, и тем же вечером во время прогулки маме «понадобилось зайти к подруге на пять минут». Матвеев остался у подъезда.

Мама знала, у кого обычно останавливается отец. Разговор был коротким. Ранним утром следующего дня, пока домашние спали, она тихо собралась, вышла из дома и отправилась на автостанцию, где он ее уже ждал. Через год у них родился я, а через четыре – мой брат.

В детстве было столько любви, понимания и заботы, что теперь это выглядит компенсацией за все мое последующее одиночество. Я знаю – благодаря им, – что все эти неудобные в произнесении вслух банальности, как-то: любовь, верность и счастье, прости Господи, – и возможны, и достижимы. И, наверное, обязательным условием для этого нужна готовность отказаться ради любимой или любимого от всего, что свойственно человеку разумному.

* * *

Первого сентября я пошел в восьмой класс в новую школу, будучи при этом без пяти минут пилотом персонального гироплана. И это было ох как круто. Оставалось всего лишь собрать управление, закрепить шасси и навесить ротор.

Мне снилось, как я летаю. Сажусь в неудобное кресло, щелкаю – я слышал во сне этот особенный звук – карабином ремня безопасности. Гироплан разгоняется. Ротор, ухая, хлопает воздухом над головой.

Хлопки все быстрее и быстрее, и громче, и вот уже слились в сплошное гудение. Потянуло вверх и...

Когда я вернулся из школы, гироплана на месте не оказалось. Это было второго, или третьего, или четвертого сентября. Не помню. Уходя утром, я несколько раз оглянулся – пилон был виден за высоким забором. Теперь его не было. Не заходя домой, я пошел в сад по узкой асфальтовой дорожке между домом и разросшейся травой, чтобы не испачкать в зелени новенькие школьные брюки. До меня не сразу дошло, что аккуратно сложенная у забора стопка свежепорубленных балок, реек и блоков – это мой гирокоптер.

* * *

Я думаю: он меня спас. Мой отец. Скорее всего, я ошибся в расчетах, и он это увидел, а спорить и доказывать он не умел или не хотел. Не знаю. Может быть, просто испугался за меня. У него была какая-то нечеловеческая интуиция. Так или иначе, в некотором смысле благодаря ему я вынужденно живу здесь, на поверхности, редко взбираясь взглядом в теперь уже пасмурное небо. Интерес к самолетам сменился интересом к людям. Все к лучшему. Наверное.

Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России. Живет в Нижнем Новгороде.

СВЕЧА

Слухи о том, что эта девушка умерла, поразили меня. Мне тяжело было в это верить. Она была олицетворением женской красоты, сексуальной энергии, которая была из нее ключом, но при этом ее поведение никогда не было пошлым и развратным.

Она была русской Мэрилин Монро – такой же дерзкой, кокетливой и прекрасной.

Ее хотели все мужчины, и она хотела всех мужчин.

Слабо верилось, что это чудо, созданное божественным вдохновением, может вот так просто исчезнуть из нашего мира.

А она в последнее время, оказывается, сильно болела.

Никого не хотела видеть и сама никуда не ходила.

Ей в эти дни помогали близкие родственники. Она и завещала им никому не сообщать о своей смерти и даже не говорить, где похоронена.

Понимая, что нужно уважать последнее желание, я не стал донимать ее родственников вопросами, что, где и как.

Очевидно, болезнь настолько изменила ее и внутренне, и внешне, что она решила остаться в памяти тех, кто ее знал, все той же красивой,стройной веселушкой, какой была раньше, до болезни.

Но я ее искренне обожал и поэтому все же решил как-то помянуть ее. Хотя бы поставить свечку за упокой в храме и там помолиться за ее грешную душу.

Надев все черное, я поехал в храм.

Попал на православный праздник.

Народу было битком, но раз приехал, значит, надо сделать то, что задумал, – помянуть усопшую, поставить свечку и прочитать молитву за упокой ее души.

В храме в основном были женщины, одетые в светлые, праздничные одежды. Я в своем черном костюме выглядел «черной вороной» среди них.

Кое-как пробился к ларьку. Купил свечку, самую дорогую и самую большую. И с большим трудом добрался до распятия. Перекрестился и протиснулся к заупокойному подсвечному столику.

Но он весь оказался заставлен горящими свечами.

И только с краешку оставалось одно свободное место под свечку. И то, видимо, из-за того, что свободное гнездо было под огромную свечу. И остальные, поменьше, просто выпадали оттуда.

Я это принял как знак правильности своих действий – и того, что пришел помянуть свою знакомую и что купил самую толстую свечку.

С радостью зажег свою поминальную свечу и под взглядами окружающих меня плотным кольцом прихожанок поставил ее на свободное место и стал молиться.

Прочитал «Отче наш».

Свеча никак не разгоралась. Тлела, но не горела.

Я начал читать поминальные молитвы.

Все свечи горят, а моя, дорогая и самая толстая, лишь тлеет.

Я решил это исправить и осторожно поковырял верхушку свечи, где был фитиль, ногтем указательного пальца.

Никакого результата. Оглянулся на соседей. За мной пристально наблюдали женщины.

Я решил больше не беспокоить свечу – все равно разгорится, куда она денется, и с невозмутимым видом продолжил читать молитвы.

Почитал минут десять.

Свеча не разгоралась.

Я забеспокоился. Решил, что делаю что-то не так.

Перестал читать молитвы. Стал просто просить Бога принять душу моей знакомой девушки и простить грехи ее, вольные и невольные.

Свеча не разгоралась.

Мне враз стало жарко.

Целый подсвечник полыхает поминальными свечами, а моя, огромная и дорогая, едва тлеет! У всех свечи горят, а у меня нет!

Я стал еще усерднее просить Господа о прощении своей знакомой и добавил к этим моим просьбам еще и просьбу помочь как-то в разжигании моей свечи. И даже стал эти мои просьбы нашептывать.

«Господи, – говорил я, – прости ее душу грешную, она не знала, что творила, не оставь ее в своем царстве загробном, прими ее во врата свои райские...» – и так далее в таком же духе.

Свеча как тлела, так и продолжала тлеть.

Я уже подустал.

Женщины, видя, как я мучаюсь, уже стали на меня поглядывать с усмешкой.

Пора бы мне уходить – я же исполнил долг перед своей подружкой, но уходить, оставив на подсвечнике так и не разгоревшуюся свечу, было неловко. Понимал, что этот мой уход был бы не совсем правильным и больше походил бы на бегство.

Пока я так философствовал, свеча стала совсем затухать.

Я еще раз ее поковырял – безрезультатно.

Еще раз по кругу загнусавил шепотом о смирении, прощении, грехах и покаянии, но свеча и не думала разгораться. Казалось, она вот-вот потухнет.

Посмотрел я еще раз на тлеющую свечу и подумал: и что я стою и все чего-то вру и придумываю про свою знакомую, а она была при жизни веселая, шальная девка! Любила мужиков, ночи напролет могла гулять, да так, что и чертям было тошно. И не успел я это додумать, как вдруг свеча вспыхнула и запылала сильным, ярким пламенем. Женщины, окружавшие подсвечник, шарахнулись в разные стороны.

А моя подавленность от поминального уныния сразу улетучилась. И я понял, что не этих слов о прощении и смирении ждала поминаемая душа моей знакомой, а чтобы вспоминал я ее как веселую и всегда желанную женщину.

Она хотела правдивой памяти о себе.

И чтобы мы, ее друзья, приятели и подруги, помнили ее именно такой.

И моя свеча это подтвердила.

«Да, – подумал я, уже выходя из храма, – очевидно, не так уж мрачен тот мир, куда мы уходим после смерти. И хорошие минуты нашей земной жизни даже там будут нам нужны и дороги!»

Виктор ЛИСТОВ

Родился в 1937 году в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Специалист в области истории и теории кино. Доктор искусствоведения. Кинодраматург.

Стихи публиковались в альманахе «День поэзии», журнале «Юность», других периодических изданиях. Автор книг о жизни и творчестве А.С. Пушкина: «Новое о Пушкине» (М., 2000), «Голос музы тёмной» (М., 2005), «Пушкин. Судьба коренного поэта» (Большое Болдино – Арзамас, 2012), «Пушкин: однажды и всегда» (М., 2018) и других.

Лауреат премии правительства РФ. Живёт в Москве.

НО ЕСТЬ ПРОЗРЕНИЕ В КОНЦЕ ПУТИ...

* * *

1

Как ты живёшь? Кем ты утешена?
Ты различаешь перед сном
Прожилки клёна облетевшего
В осеннем небе за окном?

2

Я обижал и сам был обижаем
И, медленно старея, привыкал
Довольствоваться скудным урожаем
Твоих упрёков и твоих похвал.

Колосья зреют – только мы не косим;
Всё осыпается, но равнодушны мы.
Где бабье лето, там мужская осень,
А дальше – что? Дыхание зимы.

Зашелестят снежинки в чистом поле,
И ты, оплакав поздно и тепло,
В Хамовники пойдёшь одна к Николе
И скажешь: «Слава Богу. Всё прошло...»

3

Немое угасанье сада...
Вода в граните всё темней,
Косые линии теней
По ней гуляют полосато
И оседают меж камней.

Сюда приходят горожане
Смотреть на сумерки Невы,
На отражённое дрожанье
Осенней ветреной листвы.

4

Когда священник отпоёт псалом,
Когда меня сожгут или засыплют,
Когда друзья за памятным столом
Не чокаясь, по первой выпьют,
Тогда...

5

Господи, покарай.
Не для меня – рай;
Господи, иже еси,
Только её
спаси...

* * *

Воспоминанья родственны деревьям.
Они теряют осенью листву,
И проступает остов прошлой жизни, –
Тот остров мёртвых, тот сухой рисунок,
Тот снимок сна, неясный наяву.

Но я воспоминаньями живу.

Они мои сады, леса, дубравы,
И – Боже правый! – как обнажены,
Как призрачно прозрачны их пространства,
И каменеют ветви на ветру...

* * *

Прозрачна осень, прозрачна весна,
Рисунок сна осмысленно неясен
И тает, пополам перепоясан,
Ствол погружённого весла.

В тумане просыпаются озёра,
Затемнено сознание фантазёра,
Ход времени в дыхании сквозит
И тень его по зеркалу скользит.

Но вы не отвергайте сторяча
 Неясности... Какую б роль играла
 Сама расплывчатость меча
 При перековке на орало?

* * *

Неповторимы древние цари.
 И Рима стародавнее величье
 В раскопах, склепах, мраморных обличьях
 Неповторимо, что ни говори.

Высокий холод белых колоннад
 Хранит воспоминания о Бахе,
 О звуках, обретенных в смертном страхе,
 Из тех, что валят с ног и полонят.

Но есть прозрение в конце пути,
 Когда долги заплачены эпохе.
 Ты понимаешь при последнем вздохе,
 Что вспомнить – это значит обрести.

Ты сам становишься неповторим
 И невозможен – как четвёртый Рим.

* * *

Между прибылью и убытком,
 Между гибелью и рождением,
 Между светом и мраком кромешным,
 Равно
 между святым и грешным –
 Существует некая область
 Равновесия всех стихий.

Прибыль в ней – приносит убыток,
 Гибель в ней –
 чревата рождением,
 Ласки
 суть орудия пыток,
 А напиток из мрака и света
 Делят
 грешники со святыми.

Вот такая странная область.

Но иные – душевнобольные,
 Правда, очень душевно больные, –
 Называют её

искусством...

Похороны Рембрандта

Сосновый гроб – неструганое днище –
Сутулым волнам нелегко поднять.
Как нищие оплакивают нищих,
Вам, бюргеры, вовеки не понять.

Вино допито и погасли краски,
И Саския не тяготит колен
Узлы трагедии близки к развязке,
Дух отлетел, остались мрак и тлен.

Роль кончена; и как с лица актёра
Пора стереть с души телесный грим:
Глазное яблоко, ты – яблоко раздора,
Весь мир к тебе непримирим.

* * *

...И вот я говорю вам: время!
А что
Вы видите?
Да плоский циферблат
И тоненький прыжок секундной стрелки.

Я говорю вам: время, время!
А что
Вы слышите?
Да тот же бег секунд –
Как семечки, их щёлкает будильник.

Время, время, время, –
Я говорю себе
И вижу
Песочные часы пустыни
И слышу
Сердца собственного стук.

Не вечно сердце,
Но и ты, пустыня,
Не вечна тоже.

* * *

Литую льдинку, лёгкий амулет,
В лесном сугробе женщина находит
И, обернувшись, спрашивает вдруг:
– В какой руке?
– Пусть в этой.
– Вот и пусто!
Она протягивает мне другую руку
И тайну таянья
В ладони открывает.

Игорь КУПРИЯНОВ

Родился в 1962 году в Горьком. Окончил филологический факультет Горьковского госуниверситета им. Лобачевского. Преподавал в школе русский язык и литературу. Сейчас работает в туристическом агентстве.

Автор поэтических сборников «К Отчизне милой теплые слова», «Утро любви», «Снова осенью в Болдино». Публиковался в периодических изданиях.

Живет в Нижнем Новгороде.

Из цикла «СНОВА ОСЕНЬЮ В БОЛДИНО»

По дороге

На грани синевы и позолоты
Приметней листьев тонкая резьба...
Вот кабы знать, какие повороты
Готовит нам изменница-судьба!

В дороге дальней снова сердцем молод,
Готов навстречу трудностям пойти...
То малое село, то шумный город
Раздумья оживляют на пути.

За вольным полем – лес глухой без края,
Деревья тесно выстроились в ряд.
Сплошные тучи, солнце прикрывая,
Над самыми верхушками висят.

Смешает мысли тягостная дрёма.
Толчок. Очнусь. И вновь передо мной
Картина, что до боли мне знакома:
Простор и грусть земли моей родной...

Страна моя! Положены ль пределы
Страдать тебе от злобы и огня?
Окончу ли я начатое дело?
Любимая, дождёшься ль ты меня?..

В груди от тех переживаний тесно;
Худую мысль благая сменит весть...
Что будет с нами, точно неизвестно,
Но вера в счастье будущее есть.

Непредвиденный затвор

– Эй, ямщик, гони быстрее!
Чай, дорога-то пуста.
Я надеюсь, что успею
Справить свадьбу до поста.
Никакого нет порядку!
Знать, дежурный в будке спит.
Подымай скорей рогатку,
Непроворный инвалид!

По ухабам нашим прытко
Скачет старая кибитка.
Вот её простыл и след...
Днём и ночью, полем-лесом –
За насущным интересом
Мчится в Болдино поэт.

– Долго ль мне торчать в усадьбе?
От терзаний уж устал.
Непонятно, быть ли свадьбе,
Коль устроили скандал?
Куры, грязь... С таким соседством
Поневоле волком выть.
Во владение наследством
Поскорей бы мне вступить!

Ясны болдинские дали...
Весть приходит от Натальи –
Успокоился поэт.
На раздумья вдохновляя,
Льётся осень золотая –
Лучше времени-то нет!

– Да, писал я, братцы, споро!
Скоро куш большой сорву.
Так пора бы из затвора
Воротиться мне в Москву.
Что?! Усилилась холера?
Там – невеста, я – один...
И терпению есть мера.
Наплевать на карантин!

Только как он ни старался,
Сквозь заставу не пробрался –
Завернули в ту же весь.
Раз затеял ты жениться,
Надо враз остепениться –
Не спеши, подумай, взвесь.

* * *

Та жизнь, как сон, терялось где-то...
И точно в небе вороньё,

Тогда в глуши – в душе поэта
Метались образы её.

Но погрузив ещё немного
О невозвратном, о былом,
Душа опять искала Бога
И тосковала об ином...

В пирушках, в речи озорной
Она растрачивала силы,
Но толку там не находила,
Теряя внутренний покой.

Опять над русской землёй
Грядущих бедствий тень нависла...
В реформах, в бунте нету смысла.
Заняться собственной душой –

Вот это труд! Боишься? Но
Где же ты препятствий не встречала?
А нужно, кажется, одно.
Чтоб положить ему начало:

Преодолев невольный страх,
Готовым быть к такому шагу...
И мысль его – в простых словах –
То в прозе вольной, то в стихах
Ложилась чётко на бумагу

Когда за тридцать

Когда за тридцать, жизнь течёт
Уже в другом – глубоком русле;
Приливы беспричинной грусти
Смущают бег весёлых вод...
И мысль о том, что всё пройдёт,
Тревожит, кажется, впервые –
Просветы ищешь голубые,
На серый глядя небосвод.

А ветер – свежую струёй –
Вдруг душу скорбную пронижет...
И что отмерено судьбой,
Яснее видится и ближе.
А воцарившийся покой
И шум листвы не нарушает –
Ничто, вторгаясь, не мешает
Побывать наедине с собой.

Что волновало, словно дым,
Растаяло в тумане тонком...
Довольно взрослым быть ребёнком,
Кумирам следуя своим.

Не шутит жизнь. Неумолим
Её исход... И взор уходит
Сквозь золотой шатёр природы,
Туда – к просветам голубым...

Мгновенья жизни

Как над прудом (казалось, крепко)
Висел он, нежно-золотист...
Но на ветру качнулась ветка –
И полетел осенний лист.

В круженье плавном красовался,
Прощаясь с клёном навсегда,
И жёлтой лодочкой помчался
По ряби чёрного пруда...

Печально взором провожая
Его полёт, забылся я...
Чернела в небе птичья стая.
Чернели голые поля.

Промозглый день. Просветы редки...
Окинешь даль – охватит грусть.
Как будто я сорвался с ветки
И ветром по миру ношушь.

А было счастье, было лето,
Весёлый плеск морской волны...
Постой! Промчатся незаметно
Дни вереницей – до весны.

Очнусь от дум – вздохну свободно.
Зачем расстраиваться зря?

Паденье, смерть – всё мимолётно
В круговороте бытия...

Вечерняя прогулка

Иду один. Кругом – аллеи тёмные.
За кроны жёлтые я устремляю взгляд:
Над крохотным селом – миры огромные
Мерцающими точками горят.

В туманности галактик неисчисленных,
В сверканье звёзд – затеряна земля...
И эту даль одним лишь взором мысленным,
Ничтожно мал, могу окинуть я. –

Стою недвижим, затаив дыхание;
Уж мыслей нет – в уме один восторг!

Вдруг ощущаю лёгкое касание?..
Хм, это кошка вертится у ног.

Увижу иву, над водой склонённую,
Фонарь, что отражается в пруду...
Иззябнув на ветру, тропую тёмною
Я к тёплому пристанищу пойду.

Куда девалось дум моих величие?
Вниманья, ласки хочется и мне.
Припомню наши милые обычаи
И загрущу невольно о семье.

А тут жилище – временное, тесное...
Но лучше боль с печалью отложить,
Соединив земное и небесное
В одной мечте, в одном желанье – жить!

Звёздной ночью

День отшумел – тугим дождём
И листопадом...
Земля забылась мирным сном,
Прозрачно небо над селом,
А ветер стих... И нам бы надо

От дел насущных отдохнуть –
Хотя б немного...
Над белым храмом – Млечный Путь,
Как будто к вечности дорога.

Деревья высятся, черны,
Все звёзды дальние видны,
Храм достаёт до них крестами...
И мыслью хочется пойти
Туда – по Млечному Пути,
Где вечно счастье будет с нами.

В душе возвышенный покой.
Такая ночь как Божья милость.
Сокрыло время за чертой,
Что нам отмерено судьбой
И что не сбылось.

Порою грезилось не там
Весна, навеянная снами...
Под звёздным небом – белый храм
С его крестами.

Все звёзды дальние видны,
А дали сельские темны –
В просторе тонет бесконечном

Раздолье их, чтоб мы могли
Возвысить взоры от земли
И думать, думать лишь о вечном...

В обратный путь

– Прощай, приют мой! Что ж, до встречи, –
Он обернулся... и поник:
Казалось, дни тянулись вечно,
А пролетели – будто миг.

Давно желание лелея,
Душе изменчивой не верь:
Хотелось ехать поскорее...
И тяжко уезжать теперь.

Печаль осенних впечатлений
И радость новых откровений,
Что вдохновенье принесло;
Раздумья тихими ночами...
Всё, всё – незримыми корнями
В Большое Болдино вросло.

Пар из ноздрей пускают кони.
Снежинки падают, кружа.
– Что ждать-то, милый... С Богом? Тронем.
Сперва рысцою, не спеша,

Потом быстрее и быстрее!
Отдаться можно бы мечтам...
Но сердце дрогнет, холодея:
«А всё же, что же будет там?»

Через заснеженные доли
И в дымках тонущие сёла,
Сквозь мимолётный шум дневной,
Сквозь темень ночи и метели –
Всё ближе ты к заветной цели...
И всё короче путь земной.

Андрей КУЗЕЧКИН

Родился в 1982 году в городе Бор Горьковской области. Окончил филфак Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского. Работал сельским учителем, охранником, дворником, рабочим на производстве защит картера двигателя, музейным смотрителем. В настоящее время – сотрудник библиотеки. Музыкант, коллекционер губных гармошек.

Публиковался в журналах «Октябрь», «Урал», «Дружба народов». Автор книг «Менделеев-рок» (2007), «Не стану взрослой» (2012), «Свинг странного человека» (2017), «Я другая» и «Стеклянные стены» (обе – 2018).

Живет в Нижнем Новгороде.

СЕКТАНТЫ**1. Встреча**

Издалека Димарь принял её за подростка: худенькая, и причёска странная: волосы сплетены во множество косичек, похожих на толстых червей. Димарь изредка видел такие в городе, у молодёжи.

Когда она обернулась, выяснилось: сверстница. Или даже чуть старше.

– А, привет, – сказала она так, будто Димарь был её старым знакомым. – Слушай, помоги ножик найти, где-то тут посеяла. Посмотри свежим взглядом.

Димарь кивнул и прошёлся туда-сюда по полянке, старательно пялясь себе под ноги. Мельком заглянул в стоявшую на траве корзинку: белые да подберёзовики. Для себя, значит, собирала, не на продажу.

Не найдя ничего, вернулся к корзинке, приподнял её:

– Вот ваш нож. Под корзинкой был.

Она картинно шлёпнула себя по лбу:

– Как я сама не догадалась! Самое простое решение – обычно самое верное... Я Тина. – Она по-мужски протянула ему руку. – А ты, по всей видимости, Димарь.

Он так удивился, что машинально ответил на рукопожатие.

– Откуда знаете?

– Мальчишки рассказали. К нам мальчишки забегают, новости рассказывают. Рассказали, что Димарь приехал.

Мог бы и не спрашивать. В деревне все всё знают. А сектанты теперь тоже вроде как местные.

– Да вот... позавчера.

* * *

Автовокзал райцентра нисколько не изменился.

Серое здание с кассами и залом ожидания. Пассажирские платформы высотой в один кирпич. Металлические барьеры с облупившейся краской. Толпы народа, которые ждут своих автобусов, кому куда.

– Димарь! Здорово!

Вот и всё: теперь он снова Димарь, а никакой не Дмитрий Александрович. Ему стало хорошо от этой мысли.

Вован, хохоча, стиснул его в объятиях. И раньше-то был не худенький, а теперь в нём утонуть можно. Не зря в школе у него была кличка Полиглот. Это Светка Королькова его так назвала: мол, полиглот – то же самое, что проглот, только прожорливее во много раз. «Поли» – это и значит «много». Отличница Карина потом объяснила, что Светка ошиблась, да было поздно – прозвище приклеилось.

Вдвоём с Вованом сели в рейсовый «пазик». Тот самый, старый, с вырванными кнопками сигнала на выход и изодранными сиденьями, на ремонт которых ушёл не один моток скотча. Пассажиров в будний день было немного – так, несколько бабулек возвращались с рынка. Тут же началось: «Ой! Димочка вернулся!»

Что вернулся – так это сразу видно: у Димаря с собой две больших сумки. Почему вернулся – тоже, наверное, можно домыслить. Поэтому бабульки смотрели на него с лёгкой жалостью и лишних вопросов не задавали. Вернулся – и хорошо. Добрые всё-таки здесь люди.

Двое мальчишек, не то дошколят, не то первоклашек, с визгом промчались по салону. Добежав до задней площадки, запрыгали, как два индейца. Симпатичная тридцатилетняя блондинка в джинсовом костюме, расшитом бисером, накрашенная как на званый вечер, попыталась их утихомирить, прикрикнув на ребят, громко, но беззлобно.

Димарь глянул на детей, потом на маму. Нет, не узнал. Наверное, тёти Валина городская племянница и её дети.

Мальчишки опять заверещали и бросились обратно к маме. Вован поморщился:

– Э! Стрекулисты!

Вот я и дома, в очередной раз подумал Димарь. Там, где звучат слова, каких он больше нигде не слышал.

– Чё хоть нового у нас? – спросил Димарь, когда «пазик» тронулся с места.

Хотя что там может быть нового. Кто-то умер, кто-то уехал, женился, родился, ушёл в армию, вернулся из армии. Это не новости, это жизнь.

Как дела у семьи – Димарь тоже примерно знал. Мать открыла продуктовый магазин, прямо в доме, Мишка и его жена ей помогают.

Но Вован правильно понял его вопрос и сразу перешёл к главному:

– У нас тут, пока тебя не было, сектанты завелись!

– Да ты чё?

– Ага. На Краюхе два пустых дома купили и живут теперь.

– Что за сектанты? Много их? Чем занимаются? Народу мозги промывают?

– Да нет, знаешь. Их почти не видно. Сидят там у себя, своим хозяйством занимаются. Так, иногда в магазин ходят. Или, бывает, калымят: тёте Вале вон забор новый сделали. А денег не берут, еду взамен просят или там инструменты. Люди как люди, в общем.

– Да кто они? Адвентисты или «свидетели» какие-нибудь?

– Да нет, они вообще какие-то непонятные. – Вован пошевелил пальцами в воздухе. – Язычники, что ли. Одеваются во всё разноцветное, как цыгане, по вечерам у костра на барабанах играют. Мальчишки к ним бегают, и Евсейка тоже.

– Евсейка? Живой он?

– А что с ним, с дураком, делается...

Они посмеялись.

– И что, не обижает их здесь никто?

– Кого – сектантов? Да не, зачем. Сначала, конечно, боялись – мало ли чего у них там на уме. Потом как-то попривыкли. Если бы они к ребятишкам приставали со своими проповедями или девок наших трогали – разговор другой был бы. А так у них там своя жизнь. Разок только было, что Толян Короедов по пьяни к ним полез – сразу в шнопак получил!

– Чё, серьёзно?

– Да, есть там у них один. Бородатый такой, мощный. Спецназовец, может, бывший. Вот он его с одного удара в нокаут отправил.

– И правильно, пусть не лезет! Чё я, Тольку не знаю, он кого хошь достанет, когда пьяный.

– Вот пацаны тоже так рассудили и больше к ним не лезли.

* * *

В Тине, если не считать болотного имени и причёски, которая ей шла, ничего необычного не было. Её маленькое, веснушчатое, с резкими чертами, лицо в обрамлении этих косичек выглядело не то что красивым – убедительным, вот подходящее слово.

– Дим, не смотри на меня так, – попросила она. – Догадываюсь, что тебе про нас говорили. Давай сразу проясним: мы не сектанты, а дауншифтеры. Знаешь такое слово?

– Нет. Даунов знаю, дауншифтеров не знаю, – попытался схохмить Димарь. На Тину не произвело впечатления:

– Дауншифтеры – это кто добровольно переселяется из города в деревню.

– Зачем?

– Чтобы на природе жить, свежим воздухом дышать, хорошо питаться.

– А, понимаю. Дед Семёныч – есть у нас в деревне такой – говорил когда-то: «Вот увидите: настанет день, и народ из города в деревню потекёт...» – Димарь старательно изобразил дедсемёнычеву манеру говорить, над которой смеялась вся местная молодёжь. – Я-то всегда хотел в город уехать. Уехал, ага... Лучше б не уезжал никуда.

Тина уселась на траву, вытянув босые ноги. Достала термос:

– Чай будешь?

– Не откажусь.

Чай у неё оказался какой-то особенный, травяной.

– Не скучно тебе здесь? – спросил Димарь, решив оставить церемонии, раз пошёл такой разговор.

– Нет, а должно быть?

– Я слышал, у вас там, в вашей общине, запрещены телефоны, компьютеры, телевизоры. И насчёт алкоголя – тоже ни-ни.

– Не запрещены. Мы добровольно от всего этого отказались, иначе какой смысл? Наоборот, отдыхаем от цивилизации. Такой кайф – не

дёргаться, никуда не спешить, просто жить и наслаждаться тишиной. Как сейчас.

– А если срочно надо будет куда-то позвонить – врачу, например?

– У нашего гуру есть один телефон – на самый крайний случай...

– Значит, есть у вас духовный лидер! А говоришь – не секта.

– Мы его так зовём – гуру, хотя он не столько духовный, сколько материальный лидер. Это он решил создать экопоселение. Купил дома, людей искал через интернет, на всяких эзотерических форумах. Так что мы все немного по этой теме: йога, восточная философия, Ошо, веганство... Но общей идеологии у нас нет. И каких-то строгих правил – тоже. Всё просто: хочешь – приезжай, живи. Надоело – уезжай.

– И как, справляетесь?

– Пытаемся жить на всём своём, но пока не очень получается. Ты только не думай, что если мы из города приехали, то ничего не умеем! У нас есть очень талантливые ребята. Вот, например, наш Тим. Ему всего девятнадцать, но он с деревом хорошо умеет работать, с детства у него такое хобби. Пока жил в городе, даже делал всякие штуки на заказ. Может хоть стол смастерить, хоть шкатулку.

– Это он тёте Вале забор сделал?

– Да. Бывает, ищем подработку в деревне. Наша сектантская репутация нам на руку играет: все знают, что мы ребята странные, но честные, а главное, непьющие и любую работу сделаем как надо и в срок.

Эта беседа была самым интересным, что случилось с Димарём с момента его возвращения в родную деревню. Поэтому и завершать её он не торопился. Да и Тине, кажется, было нескучно.

– Я покурю?

– Давай, кури. Я сама много лет курила, и не только сигареты. И мясо ела. Потом бросила. Проще жить, когда нет никаких зависимостей. И без мяса неплохо...

Димарь достал пачку, купленную ещё в городе, закурил последнюю сигарету.

– Вас тут не обижают? Точно? Слышал, на вас наезд был.

– Да не наезд, а так, недоразумение... Кто нас будет обижать, кому мы нужны! Нет, когда мы только сюда ехали, некоторые наши волновались. Мол, из деревень все нормальные люди давно уехали, а кто остался – тот спивается. Даже просили, чтобы гуру нашёл нам жильё в какой-нибудь совсем мёртвой, брошенной деревеньке. Но он нарочно выбрал живую: сказал, что рядом с людьми будет проще. И знаешь, я смотрю на местных – очень даже милые люди.

– Я так скажу: кто мог спиться – тот давно спился. Кто хотел уехать – давно уехал. Остались только... – он усмехнулся, повторяя её слова: – Милые люди.

* * *

Вот уж от кого не ожидал, как говорится. Приехав домой, Димарь быстро понял, что здесь ему никто не рад. Разве что Петюня.

То, что мать в его отсутствие сошлась с Петюней, одиноким соседским мужичком моложе её лет на десять, непутёвым, но безобидным, Димарь знал от Мишки. Приютила у себя, после того как у Петюни дом сгорел, да так и оставила. Ну, оставила и оставила, её дело.

Но как только Димарь увидел Петюню своими глазами, ему стало противно. И чего мать с этим шутом гороховым спуталась?

Петюня во дворе дрова колоч. Увидев Димаря, бросил топор и ненатурально взмахнул руками:

– Ой, Димочка приехал! Варвара Ивановна, Димочка!.. Димочка!

Подпрыгивая, он побежал в дом.

Какой я тебе Димочка, подумал Димарь. И чего ты так скачешь? Радуетесь, что работы по дому станет меньше?

Вышла мать.

– Вернулся. – И тем же неприветливым голосом: – Ну иди сюда, дитятко.

Обнял мать. Замкнуть руки в сплошное кольцо не удалось. Раньше удавалось.

– В твоей комнате сейчас маленький живёт, – сказала мать. – Вещи свои на чердак отнесёшь.

Димарь был к этому готов. Он и раньше любил иногда ночевать на чердаке. Зимой, конечно, там не поспишь, но до зимы ещё три месяца.

Пока обустроивался, нашёл свой кораблик. Когда ещё в школе учился, купил в райцентре сборную модель: баркентина «Вега». Долго клеил, поставил на полку, так и стояла вплоть до его отъезда. Теперь валяется среди хлама, бушприт и две мачты из трёх отломаны.

– Братуха, здорово... – Из отверстия в полу высунулся Миша.

– Привет, Мишань.

Брат забрался на чердак и хотел уже обняться, но Димарь показал ему изуродованный кораблик, и Миша замер с раскинутыми руками.

– Зачем сломали?

– Мы нарочно, что ли?

– Не хотели бы – не сломали бы.

– Да это Руся... сын мой.

– А как он его сломал? Как он вообще добрался до него? Он же стоял на самой верхней полке!

– Ну чего, а? Не успел приехать – уже барагозишь. Ну я ему дал.

– Зачем?

– Чё за допросы? Он просил, я дал, а то бы обревелся весь. Ну чё? Слушай, я не виноват, что у тебя по жизни одни проблемы!

Димарь смотрел на свой кораблик и молчал.

– Ладно, я чё хотел-то... иди ужинать.

За стол сели все вместе: Димарь, Петюня и Мишка с семьёй. Есть никто не начинал: все ждали мать. Как она их тут выдрессировала, а!

Вот и она появилась, уселась во главе стола – суровая, монументальная. Все как по команде взялись за ножи с вилками.

Долгое время ели молча. Говорить за столом без разрешения, видимо, не благословлялось. Наконец жена Миши не сдержалась.

– Руся, не хулигань курочку! – прошипела она и шлёпнула по затылку сына, который не столько ел, сколько баловался. – Вся уже расхулиганил!

Снова здешние словечки. Димарь в своё время удивился, узнав от жены, что нельзя «хулиганить что-то», а слова «расхулиганить» и вовсе не существует в официальном русском языке.

Мать сердито посмотрела на жену Миши, потом на мальчика. (Сколько ему уже? На вид не меньше пяти лет.) Кажется, сейчас она будет говорить, раз священная тишина уже нарушена.

– Значит, выгнала тебя супруга, – громко произнесла мать.

Димарь кивнул, стараясь оставаться спокойным. Вот обязательно ей при всех такими словами бросаться!

– И без копейки оставила.

Димарь пожал плечами: что есть, мол, то есть.

– Мы, бабы, такие, а ты как думал. А чего в городе не остался, работу бросил? У друзей бы пожил...

Димарь не стал рассказывать, что всех его городских друзей присвоила себе его бывшая жена. Сказал только:

– Да просто понял, что не могу там больше находиться...

– Слабак ты, весь в отца. И куда ты теперь?

– На первых порах думал – на пилораму, к Карабанцеву, а там видно будет...

– Не возьмут тебя на пилораму.

– Как не возьмут? Сколько раз брали! Я ж там с девятого класса подрабатывал...

– Им сейчас никого не надо.

– Как не надо?

– Заказов мало. – И всё-то она знает! – И денег мало. Чем больше работников, тем меньше им платить придётся. Так что Карабанцев сейчас никого новых не берёт. У него другая забота: как бы старых выгнать не пришлось.

– Кризис! – с умным видом добавил Петюня.

– И куда мне теперь? – спросил Димарь, ни к кому конкретно не обращаясь.

– А к сектантам иди! – предложил Петюня. – А что, возьмут. Только зарплаты от них не дождётся, они ж денег не признают. Но с голоду помереть не дадут.

И с улыбкой на небритой, испачканной соусом физиономии оглядел окружающих: вон как я удачно пошутил!

Рука Димаря сама собой сжалась в кулак.

– Так! – воскликнула мать. – Погорельцам слова не давали! Сейчас сам у меня пойдёшь к сектантам. Пять минут на сбор вещей, время пошло.

– Варвара Ивановна, ну зачем вы так, это ж юмор! – расстроился Петюня.

– Да куда тебе пять минут, чего тебе собирать? Здесь ничего твоего нет. Пальто своё задрипанное надел да вышел.

Петюня заискивающе засмеялся в ответ.

– Смех смехом, а пристроить тебя пока некуда, – продолжала мать, сменив сердитый тон на задумчивый. – Мне в магазин пока тоже никто не нужен. Как-то же справлялись без тебя! Думать будем, вот что.

«Пристроить!»! Будто он щенок или котёнок. Ясно, что мать его здесь долго терпеть не собирается. Хотя мало ли, вдруг действительно поможет.

Весь следующий день Димарь валялся у себя на чердаке, курил в окно, отдыхал от всех передрыг, думал. Решил с утра взять корзинку и идти в лес. В некоторых здешних магазинах принимали лисички на вес. Небольшие деньги, зато свои.

2. Аллочка

Из леса возвращались вместе. Возле первых домов Тина остановилась.

– Всё, Дим, спасибо, что проводил. – Она забрала у Димаря свою корзину и опять пожала ему руку. – Тебе прямо, мне направо.

– В обход, что ль, пойдёшь?
– Угу. Не люблю через деревню ходить.
Оно и понятно. Вон уже кто-то пялится на них. А, это дед Семёныч.
– Ещё увидимся?
– Если хочешь, Дим. Где меня найти – знаешь. Я не из вежливости, я серьёзно: хочешь – приходи. У нас ведь всё просто.
– Да у нас тоже.
На том и расстались.
– Димка! Ты, чой ли, с сектантами знаешься? – спросил Семёныч, когда Димарь с ним поравнялся.
Тот остановился.
– Да не сектанты они. Просто люди, которым надоело в городе жить, они в деревню перебрались...
– Вот чо я те скажу, паря! Ты молодой ишшо, жизни не понимаешь, потому мотай на ус: в нашем государстве любое сборище – это либо пьянка, либо секта. Эти твои новые друзья вино пьют? Не пьют. Вот и соображай.
Он беззвучно расхохотался, показав свой единственный, задорно торчащий жёлтый зуб.
Димарь рукой махнул и двинулся дальше.
В первом же магазине у него приняли всю сегодняшнюю добычу. Можно было и до матери донести, она, наверное, тоже скупает и перепродаёт потом... Но Димарь уже решил, что ни копейки у неё не возьмёт, даже в обмен на что-то.
Не сходя с места, Димарь и сигарет купил. Теперь можно и домой.

* * *

– Мужчина, угостите даму сигаретой!
Хрипловатый голос раздался у Димаря за спиной, когда он возился со щеколдой, запирая калитку.
Он обернулся и узнал блондинку из рейсового автобуса, как оказалось вблизи – крашеную. На ней опять был джинсовый костюм, расшитый бисером. И опять размалёвана. Перед кем ей тут красоваться?
– У меня только вот... – Димарь вынул пачку.
– Сойдёт. – сказала она. Изыщным, как ей, наверное, казалось, жестом выудила из протянутой пачки сигарету, чиркнула зажигалкой, затянулась, медленно выпустила дым. Всё это она проделала, изучающе глядя на Димаря. В автобусе не обратила на него внимания, а теперь вот пялится.
Потом женщина приняла красивую позу, картинно опершись о забор.
– Я Алла. – Она протянула ему руку. – Можно Аллочка.
– Дмитрий. – Димарь пожал ей руку, как недавно – Тине. По удивлённому лицу Аллочки понял, что она ждала не этого.
– Вы забавный. Недавно приехали, да?
– Да.
Знать бы, что она тут вообще делает. В лоб спросить – будет грубо.
– Варвара Ивановна сказала, что вы тут ненадолго. Я вот тоже – ненадолго. Приехала к тёте, а она одна живёт. От забора доска оторвалась, даже прибить некому.
– Про сектантов слышали? Позовите их, они вам что угодно прибьют. Аллочка наигранно засмеялась:

– Давайте без сектантов обойдёмся! Варвара Ивановна говорит, что у вас золотые руки...

Да она бы такого сроду не сказала! Не при нём – точно.

Кажется, он начал понимать, что происходит.

– Намеряете, чтобы я к вам зашёл?

– Дима, ну что вы, ни на что я не намекаю. Но если вдруг захотите – приходите. Чао! – Аллочка затушила окурок о забор, щелчком отправила его в траву и ушла, оставив калитку распахнутой. Пришлось опять возиться со щеколдой.

Раздался шорох шагов. Димарь обернулся: теперь перед ним стояла мать.

– Познакомился с Аллочкой?

– Познакомился. Ты её позвала?

– Не понравилась, что ли? А кого тебе надо? Принцессу Диану?

– Мама, давай серьёзно: я не собака, чтобы меня с кем-то случать.

– Да, сын, давай серьёзно. Баба хорошая. Недавно с мужем-алкашом развелась, а ты не такой, ты нормальный, она тебя любить будет. Тем более двое детей – значит, не уйдёт от тебя никуда, как твоя шалава. А что чужие, детки-то, – так своих сделаете, она молодая ещё. Люди вон и в сорок пять рожают. И работу тебе поможет найти. Или сам найдёшь. Переедешь к ней в город – и найдёшь...

– Как-то это всё... неожиданно.

– Так я не говорю, что всё это завтра будет. В гости к ней сходи, познакомься поближе. А там видно будет...

Она уже всё решила, понял Димарь. И обвинить-то родительницу не в чем: обещала его «пристроить» – вот и пристраивает.

– Мамань, возьми. Тут немного... – он достал заработанные деньги.

– Себе оставь, раз немного. Ты думай давай насчёт Аллочки. Всё в твоих же интересах.

Повернулась и ушла. Последнее слово всегда за ней. Но главные слова – те, что не сказаны вслух, но подразумеваются. «Сделаешь по моему – не возьму с тебя ни за проживание, ни за питание. А нет – спрошу по полной».

Ситуация...

Самое поганое – что даже обсудить не с кем. Мишка – вечный подпольник, хоть и отслужил, хоть и женился и ребёнка завёл. Друзей у Димаря здесь не осталось: все одноклассники разъехались. Вот Вован Полиглот разве что...

Усевшись на скамейку, Димарь закурил. Достал телефон, открыл список имён. Тогда, в автобусе, Вован сказал, что не менял номер уже лет десять...

– Алё, Вован, привет! Димарь это. Айда завтра на рыбалку с утра?

– Димарь, я б с удовольствием, чес-слово... Жена не пустит. Лучше к нам заходи, как сможешь.

– Зайду как-нито. Покуда.

Сплюнув, Димарь потащился к себе на чердак.

3. Восемь

Войдя во двор поселения, Тина увидела двоих.

Ева – фигуристая барышня с бисеринками в длинных волосах – сидела на бревне и мечтательно смотрела в небо. На её языке это называлось

«общаться с космосом». Ева могла этим заниматься бесконечно долго. Змей – мрачный полуголый бородач, покрытый узорчатыми языческими татуировками – подтягивался на перекладине.

С заднего двора доносился стук: Тим опять что-то мастерил.

– Ну что, Тиночка, много нарвала? – Оживившись, Ева вскочила со скамейки и, картинно покачивая бёдрами, двинулась к Тине.

Ева, самая юная из всех, пришла в поселение последней, но быстро освоилась, а потом и обнаглела.

– Ты опять резала! – вскрикнула она, увидев лежащий поверх грибов ножик. – Я тебе сколько раз говорила: грибы нельзя резать, их надо срывать! Ты своим дурацким ножом наносишь раны планетарному логосу!

Это была вторая причина, почему Тина плохо переносила Еву: девчонка слишком серьёзно относится ко всей этой эзотерической трюхе. Или делает вид, что серьёзно относится.

– А когда срываю – не наношу?

– Нет! Нужно аккуратно выкрутить, присыпать землёй, погладить это место и попросить прощения!

– Каждый раз просить прощения или одного раза хватит?

– Да я бы на твоём месте каждый день просила прощения у Вселенной за сам факт своего существования!

Тина шагнула к ней. Ева тут же отпрыгнула:

– Только дотронься! Всё Кену расскажу!

Вот и первая причина для ненависти. Эта самозваная королева чуть что – сразу бежит жаловаться гуру, которого она единственная из всех звала Кеном (от полного имени Иннокентий). Думает, что с тех пор как стала его фавориткой, ей всё можно. Ходит и всем делает замечания, или прихорашивается у всех на виду, или общается с космосом – всё что угодно, лишь бы не работать.

К чести гуру, на жалобы Евы он никак не реагировал, но приструнить девчонку почему-то тоже не собирался.

– Ну и дотронусь! – Тина замахнулась на Еву, та тут же ретировалась в сторону женского дома, там и спряталась. Это хорошо, решила Тина и направилась в мужской дом.

На пути у неё тут же возник Змей.

– Гуру у себя?

– Отдыхает. Ты насчёт Евы?

– Да! Пусть он уже уймёт свою... – Тина задумалась, подбирая слово помягче. – Наложницу!

– Не дёргай его по пустякам.

– Это, по-твоему, пустяки?

– Ева – глупая девчонка, не обращай на неё внимания.

– Всё равно, мне надо к гуру.

– Нет, тебе не надо к гуру. Отнеси грибы на кухню и успокойся.

– И что, ты меня прогонишь? Или в нос дашь, как тому парню?

Это случилось летом прошлого года, субботним вечером. Подгулявшая компания местных парней подобралась к самому периметру (как называл его гуру), и один из них стал орать пьяным голосом: «Э, сектанты! Выходи! Знакомиться будем!» Слышны были голоса других парней: «Да ладно, Толь, хорош!» Потом раздался звон: буян бил висевшие на заборе горшки, которые слепила Шаграт.

Тина тогда бросилась к окну и увидела, как Змей выходит за калитку и неторопливо движется к парням.

– Не надо бить нашу посуду, – спокойным тоном попросил он.

– О! Хоть один мужик нашёлся! – обрадовался буян, который был крупнее не только остальных парней, но и самого Змея. – Здорово, что ль... – Он толкнул бородача в грудь и тут же рухнул.

Наступила тишина. Парни обалдело глядели вниз, на своего упавшего товарища.

Змей опустил руки, выйдя из боевой стойки, и приказал:

– Уберите. – После чего вернулся за периметр.

Тина долго смотрела вслед парням: двое из них тащили на себе обмякшего товарища, положив его руки себе на плечи. Голова буяна бесцельно свисала, ноги волочились по земле.

Тина ожидала чего угодно – например, того, что жители деревни этой же ночью придут к ним с вилами и факелами и сожгут всё поселение, – но произошло чудо: на следующий день к ним заявила делегация парней и сообщила, что Толян был неправ по всем понятиям и теперь хочет проставиться. К ним вышел гуру и о чём-то долго говорил. Змей наблюдал за ними издалека, скрестив руки на груди.

Разговор закончился тем, что парни, уважительно кивая, по очереди пожали руку гуру и удалились. С тех пор поселенцев никто не беспокоил.

– Нет, не дам, – сказал Змей. – И прогонять не буду. Подожди пять минут и сама поймёшь, что ты выше этого.

«Цепной пёс гуру», – подумала Тина, глядя в его мрачные глаза. У каждого своя роль. Змей – цепной пёс. Ева – наложница. Впрочем, у Тины не было к гуру никаких претензий: ведь это он всех собрал, всё организовал, на свои деньги купил эти дома и всё необходимое для хозяйства. Работал вместе со всеми, никогда не отлынивал. Он хороший, мудрый человек и место выбрал неплохое. А то, что какая-то капризная девчонка пытается испортить ей жизнь... да, Змей прав, она выше этого.

Пожав плечами, она отправилась в кухонный домик, а оттуда – в женский, отдыхать. Там и проторчала до самого вечера.

* * *

После ужина во дворе раздался ритмичный стук, возвещавший о начале вечернего собрания во дворе у костра.

Тина пришла последней. Окинула взглядом поселенцев: жилистый Тим и мужиковатая, коротко стриженная Шаграт вовсю обрабатывали ладонями туго натянутую кожу африканских барабанов. Они сидели вдвоём на коротком бревне. Напротив них – две девушки: Ева и смуглая изящная Анита. Угрюмый Змей, как всегда, сидел в стороне ото всех.

На отдельном, специально для неё приготовленном бревне располагалась детвора, хлопавшая в ладоши в такт грохоту барабанов. Рядом с ними – весёлый Евсейка, что крутил головой, хлопал себя по коленкам и качался всем телом.

События развивались по привычному сценарию. Музыканты поиграли ещё немного, постепенно замедляясь, и, наконец, остановились. Тим воскликнул: «Мне кажется, или кого-то не хватает?» После чего поселенцы вместе с примкнувшей к ним детворой стали скандировать: «Гу-ру! Гу-ру!»

Из мужского дома вышел хозяин этого места, степенным шагом подошёл к костру и в почтительной тишине уселся на свой трон, роль

которого играл обычный стул. Вот и все в сборе: три особи мужского полу и четыре – женского.

Гуру было около пятидесяти. Одевался он непримечательно, предпочитая старые джинсы и однотонные футболки. Никаких признаков просветления на его лице не наблюдалось – это было усталое лицо видавшего виды человека, изрезанное морщинами. Самая глубокая – посредине лба, вертикальная. Гуру обычно говорил, что это не морщина, а третий глаз, и каждый раз посмеивался, давая понять, что шутит. В отличие от прочих доморощенных адептов восточной философии, которых Тина в своей жизни видела множество, он никогда не ударялся в витиеватые рассуждения о высоких материях, говорил всегда простым языком и только по делу.

Поселенцы по очереди рассказали, что случилось за день. Ева внимательно, с еле заметной тревогой смотрела на Тину. Та, мысленно усмехнувшись, рассказала про поход за грибами и встречу с Димарём, на этом и остановилась. Ева тут же перестала на неё пялиться и, когда очередь дошла до неё, тоже не стала жаловаться – ни на Тину, ни ещё на кого-то.

Выслушав всех, гуру сказал:

– Народ, у меня новость. Завтра нас станет восемь.

Поселенцы сперва переглянулись, потом захлопали.

Гуру поднял руку, призывая к тишине.

– Девочка называет себя Лотос. Завтра у неё день рождения: восемнадцать лет. Такой подарок себе решила сделать на совершеннолетие: уйти к нам. Наша задача – встретить её как следует. Встретим?

Поселенцы ответили радостным воплем.

Нормально, подумала Тина. Ещё одна девчонка, да ещё и совсем юная, даже моложе Евы. Теперь среди подопечных гуру соотношение полов будет пять к трём. Совсем уже на гарем похоже.

Стоп! Она ещё раз посмотрела на всех девушек поселения (в том числе и на себя – мысленно): четыре абсолютно разных типажа. Будто гуру подбирал их исключительно по внешности, чтобы не было двух похожих. Хотя почему «будто»? Скорее всего, так оно и было.

И скорее всего, желающих стать обитателем экоселения было больше. И наверняка, среди них были парочки, может даже с детьми. Но гуру брал только одиноких. Которые почему-то остались одинокими даже спустя два года.

Действительно, а почему? Женщины и мужчины в этом поселении живут отдельно, хотя ходить друг к другу в гости и ненадолго уединяться никто не запрещает. Но кроме гуру и Евы никто не уединяется. В чём же дело?

Конечно, Тим – этакий «хороший парень», девчонки с такими предпочитают дружить, а не шашни водить. Но Змей – настоящий мужчина в полном смысле слова, он мог бы заполучить себе любую из девушек поселения, но Тина ни разу не видела его с девушкой, как и Тима. Эти двое словно подчинялись негласному правилу: с девушками – только дружеское общение, и не более того. Право первой ночи, а также второй и всех остальных – у гуру.

Опять-таки, не то что Тина что-то имела против этого. Хозяин, как известно, барин. А гуру здесь хозяин. Ему всё можно.

Ева тем временем сидела с беззаботным видом. Вот смеху-то будет, если вскоре она лишится своего драгоценного статуса фаворитки!

Вновь застучали барабаны. Сейчас начнутся вечерние танцы, после которых спится легче. Но Тине не хотелось ни того ни другого – ни танцевать, ни спать. Она сидела, пока не осталась одна у потухшего костра.

Сильные руки легли ей сзади на плечи.

– Спать не пора? – спросил гуру.

– А тебя твоя малолетка не заждалась?

– Нет, сегодня она спит со всеми. Я сказал ей, что хочу побыть один.

– А сам ко мне? Взял, обманул девочку...

Его руки разминали её плечи. Тина поймала себя на мысли, что соскучилась за полтора года по этим сильным, умелым рукам. Она подавалась назад и прижалась к гуру спиной:

– Чего это ты вдруг?

– Ты на взводе. Тебе нужно расслабиться.

– Ты про наши тёрки с твоей подстилкой? Думаешь, мы тебя не поделили? Не надейся. Мне давно уже всё равно, а она даже не знает, что у нас что-то было, она же позже пришла. М-м-м... – протянула она. – Ты умеешь делать приятно.

Его руки двигались всё быстрее и настойчивее.

– Новую-то ты где откопал?

– Там, где и всех. В соцсетях.

– Ты, значит, ещё и в интернет залезаешь, а нам – фиг?

Ответом была тишина. Тина знала, что гуру беззвучно усмехнулся.

Она несильно оттолкнула его руки и встала:

– Спасибо, я расслабилась. Пойду спать. Нет, не к тебе. Доброй ночи.

И ушла, чувствуя спиной взгляд гуру.

4. Рыбалка

На завтрак были картофельные лепёшки. Впрочем, если не знать, из чего они, то и не догадаешься.

Тина обожала такие дни, когда на кухне дежурила Анита. Эта скромная девчонка знала, как приготовить из картошки пятьсот разных блюд – что особенно важно, с разным вкусом. Комбинировала какие-то специи, каждый раз – по-новому.

Пока лето, ели на открытом воздухе, сидя на брёвнах вокруг кострища.

– Кто-нибудь отнесите завтрак Тиму в мастерскую! – попросила Анита.

– А чего он сам не придёт? – Ева даже возмутилась.

– У него срочный заказ. Как только проснулся, заперся в мастерской, просил не отвлекать...

Анита заметно смущалась, когда речь заходила о Тиме.

– И что? Долго выйти, что ли? – не унималась Ева.

– Я отнесу, – сказала Тина и взяла из рук Аниты тарелку с лепёшками.

– Я на кухню. Кому добавки? – спросила та.

– Мне, Аниточка! – пробасила Шаграт. Она всегда лопает за троих.

Тина зашагала по тропинке между двумя домами. До того как гуру купил эти дома, здесь был забор.

За жилыми постройками прятались сараи, баня и мастерская.

Постучала в дверь мастерской, осторожно заглянула:

– Тим, доброе утро. Я отвлеку? Анита тебе завтрак прислала.

Полуголый Тим отложил рубанок, вытер пот со лба:

– Хорошо, как раз хотел передохнуть.

К его влажной коже кое-где прилипла стружка.

– Можно, я тут посижу?

Тим по-своему истолковал просьбу.

– От Евы прячешься? Посиди, если хочешь. Чай будешь?

В поселении чай пили все и всегда, у каждого в любое время суток были под рукой горячий чайник или термос, а в них – мате, улун, пуэр или любой другой из десятков вариантов, включая самый простой чёрный чай из местного магазина.

– Буду. – За чаем всегда можно узнать что-то интересное. – Анита говорит, у тебя заказ...

– Да. Одной женщине делаю новый стол.

– Срочно?

– Быстрее сделаю – быстрее заработаем.

– А что она даёт за него?

– Пять кило манной крупы.

Вот продавал бы Тим свой товар за настоящие деньги, а потом купал бы на них продукты, прибыль была бы в несколько раз больше. Если бы не это дурацкое правило – деньгами, как и компьютерами и телефонами, пользоваться только в крайнем случае. Деньги хранятся у гуру.

– Ты продешевил.

– Возможно, – ответил Тим с набитым ртом.

– Ты нравишься Аните, знаешь?

Тим кивнул.

– А она тебе?

– И она мне.

– И чего ты бездействуешь?

– В смысле?

– Ты ей нравишься, она тебе нравится...

– Как человек, – уточнил Тим.

– А как девушка?

– Ну, и как девушка, конечно, тоже.

– Она красивая, да?

– Очень.

– И что тебя останавливает?

– От чего?

– Нет, у нас с тобой какой-то разговор глухого со слабоумным... Тим, ты взрослый парень, мужчина уже! Неужели тебе бабу не хочется? Нормальную живую бабу!

Тим отложил недоеденную лепёшку и грустно посмотрел на Тину.

– Только не увиливай и не притворяйся ханжой. Скажи как есть!

Тим не стал сопротивляться:

– Хорошо, скажу как есть. Я люблю одну девушку. Её здесь нет. Мы с ней вместе учились, потом она от меня... – он запнулся. – Ушла. Мне пришлось бросить учёбу...

Он отвернулся, чтобы налить себе чаю.

– Ага, и теперь ты здесь. Ушёл в изгнание, чтобы красиво страдать из-за несчастной любви!

– Не старайся. Меня нисколько не задевает.

– Да нет, я просто не понимаю. Ну пострадал, и хватит. Живи себе в удовольствии, как гуру живёт!

– Не трогай гуру, – мягко попросил Тим.

– Я не о нём вообще, а о тебе. Ты всю жизнь, что ли, теперь будешь один?

– Если даже да, то это мой выбор.

Он допил чай и вновь принялся яростно работать. Какое-то время Тина сидела, глядя на то, как из рубанка выползают полоски стружки, сворачиваясь в красивые завитки. Потом в мастерскую заглянула Ева:

– Тина, ты ещё здесь? Там тебя какой-то местный спрашивает.

Слово «местный» было произнесено так презрительно, что Тина не сдержалась:

– Мы с тобой теперь тоже местные!

– Мой дом – Вселенная! – возразила Ева.

Тина не стала с ней спорить – просто ушла.

У калитки стоял её вчерашний знакомец. С удочками в руках.

* * *

– Тина, привет, – сказал Димарь. – На рыбалку пойдёшь?

Тина вышла за калитку:

– Привет. Я бы на твоём месте не маячила здесь с удочками. У нас не принято убивать живых существ.

– А, прости... Как я не допетрил, вы ж вегетарианцы...

– Ты за этим пришёл? Позвать меня на рыбалку?

Эта женщина не любит намёков – Димарь это уже понял, поэтому сказал прямо:

– Ты сказала, чтобы я приходил, если захочу тебя видеть. Вот, пришёл. Поговорить хочу. Посоветоваться надо, а не с кем.

– Другой разговор. Подожди здесь, пойду отпрошусь.

Бывают же такие люди. Надо поговорить – давай поговорим. И неважно, что познакомились только вчера.

– Всё, я отгул взяла. Пошли, – сказала Тина, вернувшись к нему.

– Отгул? У вас тут всё так официально?

– Как-то так, да. Каждый может раз в неделю взять день на отдых и заниматься своими делами. Тем более я вчера хорошо за грибами сходила, сегодня имею право отдохнуть.

Димарь кивнул, вспомнив тяжёлую корзинку Тины.

Сначала шли молча. Димарь собирался с мыслями.

Тина то и дело убегала вперёд, шлёпая босыми ногами по грунтовой дороге. Подбежала к берёзе, подпрыгнула, повисла на толстом суку, как на турнике. Покачалась немного:

– У нас есть человек, который может подтянуться тридцать раз, прикинь? Я одного-то не могу. Когда-то умела на руках стоять. Вот смотри...

Тина спрыгнула, нагнулась, упёрлась ладонями в землю, оттолкнулась ногами и выпрямилась. Секунды две простояла вниз головой, а потом мягко свалилась на траву и засмеялась.

Ведёт себя, как девчонка! Простота и искренность Тины нравились Димарю куда больше, чем жеманство Аллочки, все эти её позы и наигранный смех. Он даже позавидовал сектантам: живут как хотят, ведут себя, как хотят, и никого не стесняются.

– Вообще-то, Дим, мне тоже нужно с кем-то поговорить. Совета не прошу, просто хочу рассказать кое-что. Как и тебе, мне откровенничать не с кем.

– Тогда дамы вперёд.

– Вот, смотри. Я вроде девочка взрослая, что-то в жизни понимаю, да? Так ты представляешь: полтора года я торчу в этой тусовке и только сейчас потихоньку начала втыкать, для чего всё это. Раньше, конечно, догадывалась, но не думала, что всё настолько просто. Наш гуру организовал поселение, собрал единомышленников – как думаешь, для чего?

– Ты говорила – чтобы пожить на природе, отдохнуть...

– Как выяснилось, это не главное. Вот смотри: нас семеро, соотношение полов примерно одинаковое: три мужика на четыре бабы. По логике вещей, мы за полтора года должны были разбиться на пары, но почему-то не разбились. Вот наш Тим, например, – милый паренёк. Я сегодня узнала, что у него была несчастная любовь и он с горя ушёл сюда, как в монастырь. Так до сих пор и страдает...

– Ну, бывает, чё.

– Бывает. Но что-то мне подсказывает, что он не просто так сюда попал, а прошёл некий отбор. Второй мужик, Змей – с виду просто герой боевиков, по таким все бабы млеют, а он – ни с кем, ни-ни, только вкалывает как ломовая лошадь и тренируется до изнеможения. То есть что получается: гуру, наверное, если бы мог, одних баб бы набрал в своё поселение, но без мужских рук тоже ведь никак, так он специально подобрал таких, чтобы конкуренции ему не составляли. А бабы у него на правах гарема. Видел блондиночку в шортах?

– Сочную такую?

– Да, такую. Вот она сейчас с ним путается. Но по секрету скажу, у гуру и с другими было.

– И тебя напрягает эта ситуация?

– Да, потихоньку начинает. А знаешь почему? Потому что все, кроме меня, обожают гуру. Я его уважаю, но не более того. Я начальство всегда уважаю, но если что – и послать могу. Я так двух работ лишилась в своё время. Вот, а для остальных он, кажется, царь и бог. Это я тоже начала понимать только сейчас. Мне вот интересно, что они со мной сделают, когда поймут, что для меня гуру – просто человек, такой же, как они.

– М-да... – сказал Димарь. – Не один я в дурдоме живу.

Он рассказал про всю ситуацию с матерью и Аллочкой.

– То есть не успел ты приехать, а она тебе уже невесту нашла? – серьёзно спросила Тина.

– Да. Она с тётей Валей давно дружит. Долго ли договориться?

– А мнения этой Аллочки, значит, не спросили?

– Да она, наверное, сама ищет, какого бы мужика захомутать. А то одна с двумя пацанами...

– Мне не понять. Я тоже была замужем: спасибо, больше не надо. На втором курсе поженились, на четвёртом развелись. Брак – это такое дело – чем быстрее отмучаешься, тем лучше. Вот всё, что я поняла.

– Это точно, – закивал Димарь. – Странно, конечно, от женщины такое слышать...

– Просто ты к другим женщинам привык.

– Наверное... а детей никогда не хотелось?

– Пока что нет. Захочу – рожу.

«Люди и в сорок пять рожают», – вспомнил Димарь слова матери.

За разговором добрались до мелкой речки Стрижовки. Других рыбаков не было, оно и понятно: ловить здесь что-то – пустое занятие, но Димарь и не ставил цели что-то поймать.

Ему хотелось тишины. Той самой, особенной, которая бывает только на рыбалке.

– Пиво будешь? – спросил он, когда уселись на берегу.

– А давай, – ответила Тина, немного подумав.

– Тебе от твоих не попадёт?

– Наше поселение – территория, свободная от алкоголя. А чем я занимаюсь за периметром – никого не касается.

Она приняла из рук Димаря откупоренную бутылку, отхлебнула и весело сказала:

– Ёфу, гадость какая! Прямо ностальгия по студенческим временам. – Сделала ещё один глоток, побольше, и улеглась на траву.

– Я тоже был женат. Вот недавно всё кончилось.

– Я слышала, жена тебя выгнала...

– Да мало того что выгнала – судиться со мной хотела. Мне пришлось отказаться от своей половины квартиры, ещё и заплатить ей, только чтобы отвязалась.

– За что судиться?

– Якобы я нанёс ущерб её здоровью.

– Как? – Тина заметно оживилась. – Врезал ей?

– Да не, я на женщин руку не поднимаю. Якобы я её силой заставил сделать аборт. Она его по правде сделала, только я, конечно, обо всём узнал уже сильно потом. Она мало того что сделала его тайно от меня, так ещё и всем моим друзьям рассказала. Я, пока в городе жил, друзьями кое-какими обзавёлся, так она к ним ко всем в доверие втёрлась. Меня куда позовут, в гости там или куда, – она со мной идёт. И всегда на всех вечеринках самая весёлая, все в ней души не чают. Я-то, дурак, радовался. А она потом за моей спиной всем рассказывала, какой я деспот и как её притесняю. В итоге, как дошло дело до скандала, она всему миру развонила, что я её чуть ли не с ножом у горла заставил сделать аборт, и все поверили. С одним моим другом, с которым мы три года на соседних станках простояли, вообще чуть до драки не дошло. И как я после этого буду там жить, работать? Вот, оставил ей всё, собрал вещи и уехал.

– Зря ты ей в табло не прописал на прощание. – Закинув ногу на ногу и заложив руки за голову, Тина смотрела в прозрачное небо.

– Мне сейчас главное не сорваться. Боюсь, запью и на самом деле чего-нибудь не то сделаю... Смотри, клюёт! Тина, я серьёзно – клюёт! Чудеса какие!

Она вскочила:

– Чего сидишь, подсекай!

Димарь рванул леску на себя. Крючок был пуст.

– Сорвалось! Вот ты растяпа! – Тина отвесила ему подзатыльник.

В ответ Димарь слегка толкнул её. Тина упала на траву и закричала:

– Ты! Садюга! Вот так ты на женщин руку не поднимаешь! Да я на тебя сама сейчас в суд подам!

Она вскочила и принялась шлёпать его ладонями, Димарь с хохотом отбивался.

Боролись, пока оба не упали рядом на траву, и долго потом смеялись.

Потом Тина серьёзно спросила:

– Так что будем с твоей невестой делать?

- В смысле?
- Я так поняла, тебе помощь нужна.
- Наверно... только я не знаю, какая.
- Смотри! – Тина рывком приняла сидячее положение. – Эта Аллочка тебе на фиг не сдалась, так? Но если ты её отошьёшь, твоя мама подумает, что ты неблагодарная скотина. А мы этого не хотим. Значит, надо сделать так, чтобы она сама отшилась.
- И как?
- Да я уже всё придумала, как только ты мне рассказал про это дело. Допивай своё пиво, и пошли.

* * *

- Со двора тёти Вали доносились визгливые крики и громкий плач. Подойдя поближе, Димарь и Тина увидели обоих «стрекулистов». Один из них сидел на крыше сарая и во что-то играл на телефоне, не забывая при этом отбиваться ногой от второго, который стоял на поленнице и пытался залезть на сарай.
- Дядя Дима, ну скажите ему, пусть отдаст! – сквозь слёзы потребовал тот, что стоял на поленнице.
 - Мама мне дала поиграть! – тут же крикнул его брат. – Мне, а не тебе!
 - Врёшь, она нам обоим дала! Ну скажите ему, я хочу в птичек поиграть!
 - В каких птичек? – спросил Димарь.
- Мальчик на поленнице показал, как оттягивает пальцем резинку невидимой рогатки, а потом отпускает её.
- А, «Энгри бёрдс»! – сказала Тина.
 - Позовёшь маму – скажу, – пообещал Димарь.
- Мальчик тут же спрыгнул с поленницы и убежал в дом.
- Вышла Аллочка. В халате, с заколотыми волосами и без косметики она уже не выглядела особо симпатичной.
- На лице её было выражение неприятного удивления. Видимо, сын уже сообщил ей, что дядя Дима пришёл не один.
- Здорово, – развязно произнёс Димарь. – Мы тут мимо проходили. Ты вроде просила доску какую-то прибить...
 - Тина погладила его по руке и томно произнесла:
 - Дим, только недолго. Я буду скучать...
 - Аллочка внимательно осмотрела её с головы до ног. Сказала:
 - Так идите, если шли куда-то. Что я вас, задерживать буду, что ли?
 - Я же обещал... – напомнил Димарь.
 - Тина потянула его за руку:
 - Ну, ладно, Дим. В другой раз зайдёшь.
- На прощание она отправила Аллочке воздушный поцелуй.
- Мама, а почему дядя Дима с другой тётёй? – раздался позади голос одного из «стрекулистов».
- Следом за этим до Димаря и Тины донёлся звук громкого подзатыльника.
- Вот и всё! – Тина хлопнула в ладоши. – Проводи меня до поселения, чтобы уж наверняка.
- Шли по деревне, держась за руки. Улица была пуста, один только Евсейка, подкравшись сзади, осыпал их кленовыми листьями. Тина взвизгнула от неожиданности, а Димарь выругался.

Евсейка засмеялся и запрыгал, хлопая в ладоши.

– Чего это он? – спросила Тина. – Раньше так не делал.

– Не знаешь? Он давно ещё, до того как я уехал, в каком-то фильме посмотрел, что во время свадьбы жениха с невестой осыпают лепестками роз, и с тех пор, как парочку увидит, так и норовит их листьями обсыпать.

– Ой, здорово! Спасибо, Евсейка!

Тот поклонился на прощание.

– Хорошее у него имя... – продолжила Тина, когда они уже отряхнулись и зашагали дальше. – Как у Горького был рассказ «Случай с Евсейкой».

– Да это не имя. Имя у него простое: то ли Вася, то ли Коля. Его так прозвали ещё при советской власти: Евсейка да Евсейка, так и пристало. А в честь чего прозвали – без понятия.

Улица, официально безымянная, а в народе известная под названием Краюха, кончалась. Справа домов уже не было. Слева – пустая изба, где раньше жила старуха Воробыха. Потом будет небольшой пустырь, там когда-то стоял дом, заброшенный ещё до того, как родился Димарь. А после – крайние два дома, где сейчас экопоселение. То есть свидетелей уже не было. Тина могла бы и отпустить его руку, но почему-то этого не делала.

Димарь не стал относить это счёт своего мужского обаяния. Дураком он не был.

Тине хотелось, чтобы их видели вдвоём и те и другие. И деревенские, и сектанты. Значит, то, что она сделала, – она сделала не для него, а прежде всего для себя. Что ж, это честно.

У калитки стоял мужчина. Невысокий, безбородый, бритый наголо. Если бы Димарь не знал, что это какой-то там гуру, то принял бы его за бандита. Есть такие люди: посмотришь – и сразу понятно, что он опасен. Что-то особенное есть во взгляде, в чертах лица, в манере держаться. Такие всегда ведут себя спокойно, даже доброжелательно, и всё равно: кто знает людей, тот с первого взгляда всё поймёт.

Тина остановилась, обняла Димаря и поцеловала на прощание в уголок губ. Издалека, наверное, покажется, что и не в уголок, а в самый центр, по-настоящему.

– Пока, Дима. Приходи, если что, не стесняйся.

– Обязательно. – Димарь заставил себя повернуться и уйти, не оборачиваясь на ходу и не ускоряя шага.

5. Быть как все

– Твой новый знакомый? – спросил гуру.

– Да, а что? Хороший парень.

– От неё пахнет пивом! – закричала невесть откуда взявшаяся Ева.

– Значит, я пила пиво.

– У нас же нельзя пить пиво! Правда, Кен?

– У нас – нельзя, но я пила не у нас.

Они обе посмотрели на гуру. Тот молчал – формальности не были нарушены.

– Ты вовремя, – сказал гуру. – Скоро приедет Лотос, мы готовимся её встречать.

Ева фыркнула и ушла, вздёрнув носик.

Гуру продолжал смотреть на Тину.

– Всё в порядке? – спросил он.

– Абсолютно.

– Замуж ещё не зовут?

– А если да, то что?

– Ты свободный человек. Тебя здесь никто не держит, – слегка улыбнувшись, изрёк гуру и удалился.

Новенькую ждали до темноты. На рейсовый автобус она не успела и добиралась на попутках, успев как раз к вечернему костру.

Она была не просто не похожей на Еву, а полной её противоположностью. Ева – ходячее торжество плоти, а Лотос казалась совсем бесплотной – маленьким тихим призраком с молочно-белыми волосами.

Гуру подвёл её к костру:

– Друзья! Сейчас на наших глазах родится новая традиция.

К чему этот пафос, интересно? Обычно он так не говорит.

Он усадил Лотос на свой стул, отшагнул и сказал, негромко, но торжественно:

– Сегодня ночью ты будешь нашим гуру.

Тина еле сдержала смех, глядя на то, как изменилось лицо Евы. Её в своё время такой чести не удостоили. Оно и понятно: вряд ли гуру пришлось долго уламывать Еву. А в случае с Лотос он сразу догадался, что нужен особый подход...

Остальные поселенцы зааплодировали. Они и впрямь не понимали, что здесь происходит. Вместе с ними захлопали и пацанята, и Евсейка, который вдобавок захохотал.

– А что мне нужно делать? – спросила Лотос, когда смолкли последние хлопки. Голосок под стать ей: хрупкий, еле слышный. Типичная скромница-тихушница.

– Расскажи нам о себе и о том, что ты нам принесла.

Лотос сообщила, что устала от этого суетного мира – конечно, в восемнадцать-то лет – и пришла в поселение искать мира, любви и просветления. Тина подумала, что девочка, должно быть, провалила вступительные экзамены в какой-нибудь вуз, после чего, опасаясь гнева родителей, сбежала из дома.

Потом всё было как всегда: гремели барабаны, изящно извивались в танце Анита и Ева, потом к ним присоединилась Шаграт, бросив инструмент, и заплясала с медвежьей грацией. Вокруг них скакали мальчишки, Евсейка выделял нечто похожее на лезгинку. А гуру тем временем не отходил от Лотос и всё время подливал ей какого-то чая из собственного термоса. Лотос улыбалась со счастливым видом. Потом встала, уступая место гуру, – видно, решила, что хватит с неё почестей. Тот уселся на стул, притянул девочку к себе и усадил на колени. Прямо на глазах у всех, включая, конечно, и Еву.

Тине даже стало жаль экс-фаворитку. Раньше она не замечала за гуру такой чёрствости: зачем он так мучает девочку, неужели не видит, что ей больно? И остальные не видят?

Видят, конечно. Но гуру делает вид, что так и надо, а они повторяют за ним. Анита, весело смеясь, тянет Еву за руки танцевать дальше – та, усевшись на бревно, отпихивается. Отворачивается, трёт глаза рукой.

В чём смысл этой экзекуции – непонятно. Наверное, гуру хочет показать, что незаменимых нет.

Финал вечера был простым и закономерным: гуру встал со стула, держа разомлевшую Лотос на руках, и унёс девчущку в мужской дом. А Ева убежала в женский.

Войдя, Тина услышала рыдания. Ева ревела на весь дом, пока Тина умывалась из рукомойника и чистила зубы, ревела, пока Тина раздевалась. И когда Тина легла спать, Ева всё ещё ревела на полную громкость. Первые пятнадцать минут это было невыносимо приятно, потом – просто невыносимо. Пришлось встать и пойти в комнату к Еве.

– Так и будешь выть?

Ева, валявшаяся на кровати, уткнувшись лицом в подушку, зарыдала ещё громче.

– Эй! – Тина нелюбезно толкнула её в плечо. – Давай ты завтра будешь убиваться! Иди, мяты попей, что ли!

Вновь никакой реакции.

– Слышишь! Я тебя сейчас на улицу выкину!

– Я её убью-ю-ю-ю... – провыла Ева.

– Да это я тебя сейчас убью, если не захлопнешься!

Кто-то положил Тине тяжёлую руку на плечо.

– Мы не опускаемся до насилия, – сказала Шаграт.

– А не давать людям спать – это не насилие?

– Идём на кухню, чаю попьём.

– Ладно, идём. Подожди, накину что-нибудь.

Когда они вышли из женского дома, Шаграт протянула Тине какой-то комок.

– На, помни в руках. Хорошо успокаивает.

– Что это?

Мягкое и тёплое, податливое и приятное на ощупь...

– Глина.

Конечно, это глина. Шаграт – гончар.

– Пожалей Еву. Ты столько с ней воевала – и вот она проиграла. Имей жалость к побеждённым.

Тина остановилась посередине пустого двора и спросила:

– А ты?

– Что – а я?

– Ты имеешь к ней жалость?

– Что за вопросы? Конечно, мне её жаль.

– И почему ты молчала? Гуру унизил её на глазах у всех нас, и никто даже не подумал протестовать.

– Гуру знает, что делает. То, что пережила Ева, – важный опыт. Счастье не может быть вечным, а когда оно заканчивается – приходит страдание.

– То есть не жалеть Еву надо, а завидовать ей?

– Нет, я не то хотела сказать... Мне её жаль по-человечески, но я понимаю, что так надо.

– Да что ты несёшь, Шагратик? Сказала бы прямо: гуру творит что хочет, а вы не смеете возражать.

Шаграт взяла её под руку:

– Пойдём.

– Скажи честно, у тебя что-то было с гуру? – спросила Тина на кухне, отхлебнув из пиалы травяного чая.

– Конечно. И у меня, и у Аниты. Просто в отличие от некоторых мы это не афишировали. Тем более я вообще не по этой части.

– А почему же ты тогда с ним?..

– Как – почему? Это же гуру!

– Ты тоже его боготворишь?

- Нет. Просто благодарна ему за этот мир, который он мне подарил.
- Я тоже благодарна. Ну и что теперь? Ублажать его по-всякому?
- Так говоришь, будто у тебя самой с ним ничего не было.
- Было. Но с тех пор я прозрела!
- А раз прозрела, что ты здесь делаешь? – спокойно спросила Шаграт.
- Я не хочу отсюда никуда уходить! Я свободный человек! Мне здесь нравится!
- Однажды тебе придётся выбирать, дорогая моя: быть как все – или уйти.
- И тебе нравится быть как все?
- Это невысокая плата за душевный комфорт.
- Тина положила комок глины на стол, рядом поставила пиалу.
- Я спать пойду.
- Пойдём.
- Я первая, – она вышла и быстрым шагом вернулась в женский дом.
- Рыданий Евы уже не было слышно. Заглянув к ней в комнату, Тина увидела, что рядом с Евой лежит Анита. Пришла, обняла, стала успокаивать, да так обе и уснули.
- Тина ушла к себе. Спать ей совершенно расхотелось.
- «Быть как все». Сколько раз за свою жизнь она слышала эту фразу! Но меньше всего она ожидала услышать её здесь.

6. Настоящее

- Ко мне с утра тётя Валя приходила. Молока парного принесла, – со значением сообщила мать за завтраком.
- Димарь одобрительно кивнул. Молоко – это хорошо.
- Рассказала мне тут про тебя. Ты, значит, с сектантами путаешься?
- Может, и путаюсь. Моё право. Я взрослый человек.
- Да какой там! Как был дитём, так дитём и остался. Не успел приехать, как они тебя уже в оборот взяли, и когда только успели!
- Мать сделала паузу, словно потеряв дар речи от возмущения. Петюня не преминул вклиниться:
- Всё-таки решил к сектантам перебраться?
- А может, и решил.
- Петюня захихикал, но осёкся, когда мать негромко шлёпнула ладонью по столу.
- С ума сошёл, что ли? – очень тихо спросила она. – А люди что скажут?
- А мне всё равно.
- Тебе – да. А о матери своей ты уже, значит, не думаешь?
- Димарь небрежно пожал плечами:
- Сама же говорила, что вы и без меня как-то справлялись...
- К его удивлению, мать полностью сменила тон:
- Да мало ли что я говорила! Нашёл кого слушать – старую бабу...
- Варвара Ивановна, вы вовсе не старая... – залепетал Петюня, но мать его не слушала:
- Димочка, я всё понимаю: ты такое пережил, что не дай бог никому. Тебе отдохнуть надо, поесть хорошо, отоспаться.
- Да я бы отдохнул, если бы дали. А ты тут мне Аллочку свою сватаешь...
- Никого я тебе не сватаю! Забудь про неё, раз не нравится.

Вот как она запела – стоило только припугнуть.

– Отдыхай, отдыхай, сыночек, – повторила мать. – Правда, чего я на тебя насела. Отдыхай, родимый.

После завтрака Миша с матерью уехали в райцентр за товаром. Брат мог бы и один справиться, но мать, по всей видимости, не могла ему доверить такое важное дело.

Жена брата ушла открывать магазин, Петюня остался присматривать за Русей. А Димарь отправился к себе на чердак, отдыхать. Валяться, курить, слушать радио и листать старые книги.

Его одиночество прервал Петюня:

– Димочка, там... к тебе.

– Кто?

– Да эта... твоя...

Хорошо, что мать уехала! А то Петюня побежал бы сразу к ней, тогда бы Димарь даже не узнал, что к нему приходили.

Пока спускался – прислушивался к себе. Очень боялся, что после развода с женой у него внутри ничего живого не осталось. Вот что он сейчас чувствует? Рад, конечно, но не более того. Будто что-то само собой разумеющееся произошло.

Тина стояла за прилавком, рядом с женой Миши, которая рассматривала её косички, держа несколько в руках.

– И сколько стоит такие сделать?

– Хочешь, я тебе бесплатно сделаю?

– Зачем, я просто так спросила, из интереса... – жена Миши заметно погрустнела. Видно, подумала о том, что с такой причёской её не поймут.

– Дима, привет! – Тина обняла Димаря и поцеловала в щёку, громко и мокро.

Он, в свою очередь, приобнял её за талию:

– Привет, а ты как здесь? Отпросилась?

– Кто меня отпустит... Нет – меня в магазин отправили, а в какой – не уточнили. Я и пришла к вам.

– Это ты молодец. А зачем в магазин? Вы же без денег живёте?

– Пытаемся. Есть вещи, которые можно получить только в магазине и только за деньги. Зубная паста, например. Батарейки.

– У нас того и другого навалом.

Она не торопилась разжимать руки вокруг его шеи, он не убирал руку с её талии. Краем глаза Димарь заметил, что жена Миши – как там её зовут? – смотрит на них с улыбкой.

– Тогда отпусти меня, я всё куплю, а потом можешь меня проводить.

* * *

– Ничего, что я курю всё время? – спросил Димарь на улице.

– Ой, Дим, да хватит уже. Все мои мужчины дымили, как паровозы. Почти все. Но ты бы лучше бросал, правда. Переходи на вейп.

– Это типа электронных сигарет?

– Типа того. Что у тебя нового?

Димарь пересказал семейный разговор за завтраком. Тина долго смеялась.

– Я уже думаю: может, и правда к вам? – добавил Димарь, будто в шутку. Но Тина ответила вполне серьёзно:

– Ещё два дня назад я сказала бы: «Да, давай к нам!» Сейчас уже не уверена, что сама там продержусь долго. Мне уже два человека намекнули: что-то не нравится – выгоним. Мне, с одной стороны, всё нравится, с другой – понимаю, что всё это не то. Мерзкое дежа вю. Я в студенческие времена с неформалами путалась, думала, что они мне откроют какую-то правду жизни. С одним из них даже расписались по приколу, комедия на два года растянулась. Ладно хоть поняла, что и мой так называемый муж, и его друзья – просто скопище тунеядцев, которые только и делают, что бухают, и траву курят, и изображают, будто у них такой протест против общества потребления. Ненастоящее это всё. Я попыталась стать нормальной, работу в офисе нашла. И поняла, что и это ненастоящее. И вот опять – то же самое чувство.

– Если хочется всё бросить и уйти – бросай и уходи.

– А мне некуда больше идти.

– Вот и мне.

– Какие мы с тобой бедные! – Тина остановилась и обняла его, уткнувшись лицом ему в грудь.

Стояли так долго. Потом двинулись дальше, как ни в чём не бывало продолжая разговор.

– Я вообще понимаю, про что ты толкуешь, – сказал Димарь. – Раньше не знал, как это сказать точнее, теперь знаю: я вот хотел, чтобы всё было как у людей. Работа, семья, детишки. Думал, что с Валей – это жена моя бывшая – всё будет как надо. А оказалось, что всё это, вот как ты сказала – ненастоящее. А где оно, настоящее?

– Знала бы – я бы уже там была, – Тина грустно улыбнулась. – Но я не знаю. И что делать дальше – тоже не знаю. Ещё лет десять назад я бы просто вышла на трассу...

– На трассу? – ужаснулся Димарь.

– На трассу – в смысле, автостопом путешествовать, а не то, что ты подумал. Я достаточно по стране поездила. Сейчас уже не рискну. Во что я превратилась – самой страшно!

– Да, та же лабуда. Я вот когда-то из деревни уехал: первый год комнату в общежитии снимал, питался одними бомж-пакетами, работу нормальную искал. Потом жизнь маленько в гору пошла. А теперь как представлю, что всё с начала начинать... Хочется просто лечь и больше не вставать.

– Ты смотри, над собой ничего не сделай!

– Не дождётесь.

Тина опять остановилась:

– Так, Дима: провозжать меня до конца сегодня не надо. Давай сюда мой пакет. Даже не знаю, когда ещё вырвусь к тебе, поэтому мы сделаем так: сегодня ночью после отбоя я выберусь за периметр. Ты же хочешь меня видеть? Я знаю, что хочешь. Вот, приходи в полночь на Краюху, сядь где-нибудь, чтобы тебя наши случайно не заметили. На пустыре, например. Я выйду.

– Серьёзно, в полночь? А если спать захочешь? Вы ж там работаете с утра до ночи...

– Да, картошку потихоньку копать начинаем. Но это мои проблемы. Пуэра напьюсь – и к тебе. Всё, пока.

* * *

За обедом Тина удивилась, что Ева ещё здесь. На месте этой девчонки она бы ещё ночью собрала вещи и ушла куда глаза глядят. Да хоть

без вещей. Хоть босиком. Надо же иметь минимум уважения к себе. А она сидит, вяло жуёт. И не сказать, что грустная – вялая, равнодушная.

Сломалась. Уже. Так легко. Вот Тина бы на её месте...

Так ведь она же была на её месте! Полтора года назад, когда поселение только-только возникло. Да, у них с гуру была интрижка, как Тина это мысленно называла. И она, в отличие от Евы, никогда не воспринимала это всерьёз. Когда всё кончилось – не переживала и не интересовалась, есть ли у гуру что-то с остальными. А если бы даже она вдруг и почувствовала себя уязвлённой – уходить ей всё равно некуда...

Вот оно! Тина с силой бросила деревянную ложку в глиняную миску, из которой хлебала овощное варево.

Гуру отбирал для своего поселения не просто одиноких людей, а тех, кому некуда возвращаться. Еву тоже никто не ждёт, поэтому она и не убежала никуда, позволив над собой глумиться.

Раньше, конечно, гуру так себя не вёл со своими поселенцами. Внезапно осознал свою силу и власть? Вряд ли: гуру мудр, у него ничего не бывает внезапно. Всё происходит именно так, как он запланировал, и именно тогда, когда ему нужно. Видно, пришло время показать поселенцам, кто здесь хозяин-барин, а заодно выявить несогласных.

Самого гуру в поле зрения уже не было: поел и ушёл к себе.

Сидевшая рядом Анита тронула Тину за плечо:

– Что случилось? Невкусно?

Вообще-то да, невкусно. Шаграт отлично управляется с топором и гончарным кругом, но готовить ей не надо.

– Вот представь себе: если бы поселение закрылось – ты бы куда подалась?

Анита со страхом посмотрела на неё:

– Ой, а зачем оно закроется?

– Ну, мало ли. Может, сельские на нас пожалуются. Нас признают экстремистской организацией и разгонят.

– Ужас какой! – громко прошептала Анита, глядя перед собой. – Мне ведь некуда больше пойти...

– А семья у тебя есть?

– Семья меня убьёт, если я вернусь... По-настоящему убьёт. И никто меня потом не найдёт.

– Тина, что за пораженческие настроения? – со смехом воскликнул гуру, появившийся сзади. – Ай-ай-ай!

Этого ещё не хватало!

– Ну, по-всякому же бывает! – попыталась отговориться она.

– В нашем поселении всё бывает только так, как захотим мы! – Его голос стал строгим. – Или ты думаешь, что это не так? Взяла, девочку напугала.

Поселенцы, оторвавшись от еды, дружно пялились на Тину.

– Простите, мне сон дурацкий приснился... – пробормотала она. – Настроение плохое.

– Лучшее средство от плохого настроения – что? – Гуру посмотрел на свою новую фаворитку.

– Медитация! – уверенно ответила та.

– Начинай, – приказал гуру.

Лотос послушно отложила тарелку, зажмурилась и замычала: «Ом-м-м-м». Остальные поселенцы повторили это.

«Застрелите меня, кто-нибудь!» – подумала Тина. Пришлось замычать вместе со всеми. Лишь бы отстали.

* * *

Первым, что услышал Димарь, войдя домой, был незнакомый голос:
 – Сколько раз я говорил: не разбрасывай игрушки по всему дому!
 Играй у себя в комнате! А если вытащил игрушку из комнаты – возвращай на место, не бросай!

Какой-то мужчина отчитывал Русю командирским голосом. Кто бы это мог быть? У брата Миши голос не такой – спокойный, как и сам Миша. И Димарь хоть убей не мог вспомнить, чтобы брат хоть раз повышал тон или пытался кем-то командовать.

Голос доносился из кухни. Димарь заглянул туда.

Увидев его, Петюня отчеканил:

– Ярослав, иди к себе в комнату.

Детёныш безропотно подчинился.

Всё тем же командирским голосом Петюня продолжил:

– Дима, ты опять с этими сектантами якшаешься?

– И дальше что? – Димарь так быстро справился с удивлением, что можно сказать, вообще не удивился.

– Я буду вынужден рассказать об этом Варваре Ивановне!

– А вгрызло? – добродушно поинтересовался Димарь.

– Это мой долг – рассказать... – попытался оправдаться Петюня, стремительно теряя металл в голосе.

– А как ты будешь рассказывать со сломанной челюстью? – Димарь посмотрел на свой кулак: большой, между прочим.

Петюня сел на табуретку. Пригорюнился. И, почти плача, заговорил своим обычным голосом:

– А почему сразу вгрызло? Если я не расскажу, а Варвара Ивановна узнает – буду виноват. Так и так достанется.

– Пётр, тебе сколько лет? Сорок?

– Сорок три! – Петюня всхлипнул.

– Вот и веди себя как взрослый мужик!

– Легко сказать... Варвара Ивановна, если что не так – сразу выгонит...

– Боишься? А ты не бойся. Ну выгонит – уйдёшь ещё к кому-нибудь. Вот хоть к Аллочке. Если уж ей так сильно нового мужа надо, то, наверно, и ты сойдёшь.

Петюня посмотрел на своё отражение в стеклянной дверце посудного шкафа и приосанился.

– Вот и молоток, – одобрил Димарь и отправился к себе на чердак.

7. Суд

После отбоя прошло двадцать минут

Тина приоткрыла дверь и выглянула во двор.

Заметив какое-то движение, тут же спряталась.

Новенькая, в полной темноте ещё больше похожая на призрак, шла в сторону туалета. Белые волосы, белая майка до колен – белое пятно плывёт над землёй.

Гуру, наверное, уже спит. Прошлой ночью утомился.

Тина подождала, пока Лотос войдёт в деревянную кабинку и закроет за собой дверь, и вышла наружу.

Стоп, а зачем она закрыла дверь? Там же нет света! Ночью лучше оставить дверь открытой, так будет хоть немного видно. Или посветить чем-нибудь...

В туалете зажгётся свет, вырвавшись наружу сквозь щели в стенах. Слабенький белый свет, совсем не напоминавший свет фонарика, электрической лампочки или свечи. Скорее было похоже, что у Лотос там телефон.

Но свой телефон она вчера торжественно сдала на вечное хранение гуру. Значит, у новенькой есть ещё один! Кому она, интересно, собралась звонить за полночь?

Женское любопытство заставило Тину подкрасться к туалету и прислушаться. Внутри было тихо. Значит, не говорит, а сообщения отправляет или что-то ещё. Что?

На цыпочках Тина обошла туалет кругом. Отыскала подходящую щель. Загаив дыхание, заглянула внутрь.

Лотос держала в руке небольшой смартфон с сенсорным экраном. На экране – карта. На карте – значок в виде красной капельки, означающий: «вы находитесь здесь».

Она кому-то передаёт координаты поселения. Кому? Зачем? Другим желающим здесь поселиться? Не зря гуру говорил: чем меньше людей будет знать о поселении – тем лучше, а то понаедет толпа народа, плюнуть будет некуда. Только зачем этим желающим координаты? Достаточно написать название деревни, а там люди покажут...

Забавно будет посмотреть на гуру, когда сюда действительно притащится целая толпа! С этой мыслью Тина вышла за периметр.

* * *

Вернулась спустя примерно сорок минут. Прежде чем открыть калитку, ещё раз отряхнулась, поправила майку, понюхала её – пахло мужчиной, то есть, куревом и крепким потом. Надо будет первым делом кинуть её в стирку.

Как только Тина вошла за периметр, кто-то схватил её и рванул к себе. Тина наугад попыталась вонзить ногти ему в лицо – пальцы увязли в жёсткой бороде. Змей!

Тина даже забыла, что сопротивляться бесполезно. Её охватила ярость.

Она вцепилась в эту бороду обеими руками и дёрнула со всех сил. В ответ мощные руки стиснули её шею. Тина захрипела, из глаз брызнули слёзы.

Хватка немного ослабла. Змей куда-то потащил Тину, продолжая держать её за шею одной рукой.

– Пусти...

Он молчал, продолжая волочить её.

Дойдя до сарая, Змей бросил Тину на траву. Вытащил связку ключей. Было темно, нужный ключ ему пришлось искать на ощупь.

– Змей! – простонала Тина, растирая нывшую шею. – Ты ведь служил в армии?

Ключи на мгновение перестали звенеть.

– Я воевал.

– То есть ты солдат! Как может солдат делать больно женщине?

Змей не ответил.

– Гуру приказал, да? А если он тебе застрелиться прикажет – ты и это сделаешь?

Молчание.

– Чего ты перед ним пресмыкаешься?

– Долг.

– Ты ему должен денег, что ли?

– Не денег. Деньги я был должен другим людям.

– И что? Ты бы с любыми коллекторами разделался!

– Я – да. Могла пострадать моя жена. Бывшая. И мой сын.

– Дай угадаю: гуру вернул твой долг, и теперь ты ему служишь, как верный самурай...

– Иннокентий – настоящий человек, сейчас таких мало осталось.

– Настоящий? А как ты это определяешь?

– Только у настоящих людей много врагов. Вставай. – Змей, наконец, справился с замком.

Тина подчинилась. Бежать или кричать лучше не надо, это она уже поняла.

– Последний вопрос: это Ева меня заложила? Змей, ну не молчи! Ты мне чуть шею не сломал, компенсируй хотя бы этим!

Змей, обычно невозмутимый, даже усмехнулся такой логике:

– Да, она проснулась и увидела, что тебя нет. Всех подняла на уши. Гуру сказал, что разберётся с тобой утром.

Он и разговорчивым может быть, когда захочет. Выдал больше информации, чем хотел.

У гуру много врагов. Если Змей знает об этом – значит, стал его телохранителем задолго до того, как прибыл сюда.

Кто эти враги? Сколько их?

Может ли быть так, что гуру создал это поселение просто ради того, чтобы было где залечь на дно? Может ли быть, что враги ищут его, что они заслали в поселение своего шпиона, точнее шпионку, чтобы та передала им точные координаты этого места?

Вернее всего, гуру никогда бы не нашли, если бы он прервал всякие контакты с внешним миром. Но ему хотелось свежего мяса, поэтому он продолжал вести переписку в соцсетях. Не от своего имени, конечно, но его враги знали, что он – это он. Не знали только, где его найти.

Лотос вступила в переписку с гуру. Тот долго проверял её на «совместимость», девочка ему подыгрывала. Наконец, гуру пришёл к выводу, что Лотос годится на роль новой наложницы – не обошлось без изучения её аккаунта в соцсети или даже проведения сеанса видеосвязи по Скайпу, – и рассказал, как добраться до поселения. Подумал, что такой ангелочек не может быть связан с его врагами. А ангелочек просто оказалась хорошей актрисой.

Почему же всё-таки приехала она сама, а не те, кто её послал?

Потому что им нужен свой человек внутри поселения. Они хотят, чтобы всё прошло идеально. Они долго охотились на гуру и боятся его упустить.

Странно и страшно. Но ей это ничем не грозит. Наоборот – появился ценный козырь.

Тина думала об этом до самого рассвета, лёжа на деревянном полу сарая. Глаз так и не сомкнула.

Услышав, как открывается замок, встрепенулась и быстро встала.

– Доброе утро, перебежчица, – сказал гуру.

– Доброе... – мрачно ответила Тина.

Он наклонился и громко принюхался к её футболке.

– Запах разврата. – В его голосе слышалось удовольствие. – Похотливая тварь!

Гуру по-собачьи лизнул её щёку.

Тина попыталась вклепить ему пощёчину. Гуру схватил её за руку и умело вывернул.

Тина вгрызлась в нижнюю губу, чтобы не закричать от боли. Много чести для этого уroda!

– Сопротивляйся сколько хочешь! – Тихий голос гуру стал хриплым от ярости. – Думаешь, я буду делать это сейчас? Нет! При всех! Чтобы все видели! Я скажу, что это специальный ритуал для просветления! Или вообще ничего не скажу, пусть думают, что хотят. Всё равно никто из ЭТИХ не посмеет даже пикнуть!

– Если ты это сделаешь... за меня отомстят!

– Кто? Твой деревенский дружок?

– Он не один!

– Змей со всеми разберётся.

– А если они тебе ночью подпустят красного петушка? Тоже разберётся?

– Ах ты, сука, – сказал гуру. И отпустил её руку.

Тина принялась растирать запястье.

– Тебе не нужны лишние проблемы, – сказала она. – Как и мне. Отпусти меня, и закончим с этим. Хоть сейчас вещи соберу. Живите как хотите.

– Так просто ты не уйдёшь. Сиди пока.

Гуру вышел. Вновь лязгнул замок.

* * *

Суд начался после завтрака.

Змей вывел голодную, измученную бессонной ночью Тину из карцера-сарая и проводил к кострищу, где собрались на брёвнах все поселенцы.

– Друзья мои! – сказал гуру – как всегда, будничным тоном, без всякой торжественности в голосе. – Все мы здесь – свободные люди, правильно? Я хоть раз требовал от вас, чтобы вы мне подчинялись – я уже не говорю «поклонялись»? Насколько я помню – нет! Я ваш друг, а вы – мой друзья. А друзья ничего друг от друга не требуют. Так?

Поселенцы закивали.

– У нас нет ни законов, ни правил. Нам этого и во внешнем мире хватало. Здесь мы строим жизнь по одному принципу. Мы уважаем друг друга. А что такое уважение? Мы не травим своё и чужое здоровье сигаретами, алкоголем, наркотой. Мы встаём и ложимся спать в одно и то же время. Работаем все вместе. Не пользуемся разными электронными игрушками, которые только время отнимают. Это же прекрасно! Кто не согласен – пожалуйста, уходи, мы насильно никого не держим. Мы ж не сектанты какие-нибудь!

Ева засмеялась громче всех, с ней – Шаграт и Анита. Последняя, впрочем, только делала вид, что смеётся. Тим сидел с растерянным видом – он, кажется, понимал, что происходит что-то не то. От Змея ждать проявления хоть каких-то эмоций было бесполезно, Лотос тоже была равнодушна. Ещё бы, свою миссию она выполнила ночью.

– Уже больше года мы существуем, – продолжал гуру со вздохом. – Я уже и не думал, что доживу до такого момента, но он всё-таки

наступил. Тина перестала быть нашим другом. Тина не просто не уважает нас – она этого даже не скрывает! Я молчал, когда она ругалась с нами, терпел, когда она пила пиво. Даже когда она зачем-то стала всех пугать, что поселение скоро закроют, – я не стал реагировать. Но сегодня ночью она убежала за периметр, чтобы... сношаться со своим деревенским дружкой! Вернулась вся измятая, истасканная, пропахшая куравом!

– Фу-у-у-у! – закричала Ева, оглядываясь по сторонам и всем своим видом требуя от остальных, чтобы те подхватили её крик. Но остальные молчали.

– И что, это плохо? – спросила Тина. – А как же свобода, которую ты нам обещал?

– А что такое свобода, по-твоему? Захотела – убежала к хахалю, захотела – вернулась? Сегодня ты ушла на час, завтра – на ночь, а потом что? На неделю уйдёшь? Я предлагаю до этого не доводить. Если ты не раскаиваешься...

– Нисколько!

– Значит, мы попросим тебя уйти. Не я попрошу – это не моё личное решение! Мы все попросим. Кто за то, чтобы Тина ушла, – прошу поднять руки.

Змей, Ева и Лотос подняли руки одновременно с гуру. Чуть помедлив, к ним присоединилась Шаграт. В её взгляде был беззлобный укор: мол, я тебе говорила, а ты не послушалась.

– Если хоть один из нас воздержится, Тина останется, – произнёс гуру. – И мы вернёмся к этому разговору, когда ситуация окончательно выйдет из-под контроля.

Анита колебалась. Видно было, что ей жаль Тину. Но идти против коллектива эта девочка не привыкла. В итоге она нерешительно подняла руку.

– Остался только ты, Тим, – сказал гуру.

Тот махнул рукой и проголосовал за изгнание. Видимо, просто хотел, чтобы кончились конфликты, которые он так не любил.

– Ну правда, Тина, – сказала Шаграт. – Тебе лучше уйти. Ты немножко другая. Ребята, знаете, за что я люблю наше поселение? Здесь спокойно и хорошо. А Тине, как мне кажется, здесь скучно. Просто хочу, Тина, чтобы ты знала: мы желаем тебе добра. Лично у меня к тебе нет никаких претензий.

Пальцы её правой руки с силой переминали комок глины.

– У меня к вам тоже, ребята. Вообще никаких. – Тина встала. – Всем пока, как говорится. Всем спасибо, все свободны...

– Что-нибудь хочешь сказать на прощание? – поинтересовался гуру с ехидцей.

Тина прошлась взглядом по лицам поселенцев и уверенно произнесла:

– Нет, не хочу.

Никто не обнял её на прощание, даже не подошёл к ней. Никаких напутственных слов и ничего такого. Все разбрелись по поселению и приступили к обычным делам. Тина не стала забирать у гуру свой мобильный телефон – ей всё равно некому было звонить. В свою старую дорожную сумку она положила только термос и кое-что из одежды.

Выходя за периметр в последний раз, Тина ничего не почувствовала. Вот что значит уметь легко расставаться с людьми, никогда не привязываясь ни к работе, ни к месту жительства – ни к кому и ни к чему.

8. Мать

Димарь валялся на матрасе с закрытыми глазами, толком ещё не проснувшись. Вспоминал прошлую ночь.

На свидание с Тиной он шёл, прекрасно понимая, к чему идёт дело – опять же не дурак. И не то, чтобы он этого не хотел – так, сомнения одолевали. Ведь он собирался отдохнуть здесь, в деревне, от всего, и от личной жизни в том числе. Да и какой из него сейчас кавалер: ещё сорвётся, скажет что-нибудь не то, обидит. А просто так встречаться, на раз, Димарю тоже не хотелось – Тина заслуживала лучшего.

Он решил, что придёт на пустырь и скажет: «Давай не будем торопиться». А вдруг Тина обидится – подумает, что она ему не нравится? Как всё сложно, а! Надо будет серьёзно с ней поговорить и объяснить: жить вместе они всё равно не смогут, потому что негде, к ним в поселение он жить не пойдёт, а бегать по ночам на свидания – это не для взрослых людей. И у неё могут быть проблемы со своими, как и у него – с матерью и прочими домочадцами. Так что лучше всё свернуть, ещё до того, как развернётся.

Когда они встретились, он так и не смог ничего сказать...

...Димарь на ощупь отыскал мобильник, заставил себя разлепить веки: ого, ничего себе, вот это он поспал! Уже обедать пора.

– Дим, я кушать хочу, – сказала лежавшая рядом Тина и поцеловала его в ухо.

За несколько дней их знакомства Димарь уже отучился удивляться:

– Ты как здесь?..

– Меня выгнали с позором.

– Из-за меня?

– Нет, из-за того, что я не такая, как они.

– И ты сразу ко мне? Тебя видели?

– Да вроде нет. Твои все кто в магазине, кто в саду. Я тихонько прошмыгнула...

– Шальная ты девка! – Димарь поцеловал её.

– Ну что, принесёшь поесть? Меня сегодня не кормили.

– Только я не уверен, что у нас есть вегетарианская еда.

– Да тащи любую, уже всё равно.

Как только наступило время обеда, Димарь спустился в кухню и заявил, что будет есть у себя на чердаке. Попросил, чтобы ему положили побольше.

Жена брата посмотрела на мать, та коротко кивнула.

Остаток дня прошёл спокойно. За ужином Димарь повторил свой маневр, а потом, когда все поели, вернулся на кухню, чтобы заварить чай в термосе Тины.

На кухне была мать. Пока Димарь возился с термосом, она достала из шкафчика пакет с пряниками и выложила несколько штук на тарелку.

– Захвати к чаю.

– Не, мам, я такие не ем.

– А я не тебе.

Димарь чуть не уронил термос.

– Так ты что, знаешь, что ли?

– Что у тебя на чердаке твоя зазноба прячется, которую единоверцы выгнали? Знаю, конечно.

Димарь молчал, подбирая слова. Мать, глядя на него с прищуром, продолжала:

Бледная Шаграт стояла, скрестив руки на груди, глядела под ноги невидящим взглядом. Анита тихо плакала, уткнувшись ей в плечо. Тим сидел на траве, закрыв лицо руками.

– Что случилось? – Глупее вопроса и придумать было нельзя.

Шаграт и Тим даже не посмотрели на Тину. Только Анита, вытерев слёзы кулачком, смогла внятно рассказать, что произошло.

В этот день она встала с рассветом и отправилась в кухонный домик – после изгнания Тины согласилась отдежурить на кухне за неё, чтобы не перекраивать график. Следом встал Змей и приступил к утренней тренировке.

Услышав громкий хлопок, похожий на выстрел, Анита выглянула.

Змей валялся на траве. Сквозь калитку во двор вбежали вооружённые пистолетами люди в чёрных комбинезонах и лыжных масках. Анита упала на пол и закрыла уши руками.

На крыльцо мужского дома выскочил гуру, тоже с пистолетом в руках, тут же спрятался и принялся палить в нападавших. Завязалась перестрелка.

Что-то крича и размахивая руками, на пространство перед мужским домом выбежала Ева и тут же рухнула, нарвавшись на пулю.

Нападавшие бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Гуру, превратившийся в живой факел, выскочил из дома, упал на траву, принялся кататься, истошно крича... Его окружили и расстреляли в упор. Из окна выпрыгнул Тим, решив, видимо, что лучше умереть от пули, чем сгореть, но он уже никого не интересовал: нападавшие убежали, волоча труп одного из своих.

– И ты всё это видела? – спросила Тина. – Я бы в обморок упала, как только стрельба началась.

– Там, откуда я родом, стреляют часто, – сказала Анита.

– Лотос куда-то пропала, – вдруг очнулся Тим. – Надо найти.

– Не найдёшь, – спокойно сообщила Тина. – Она была заодно с теми, кто напал. Засланный казачок. Я видела, как она ночью передаёт кому-то координаты поселения по мобильнику.

– Видела и не сказала? Почему?! – закричал Тим.

– А почему ты ничего не сказал, когда меня выгоняли? Я же видела, ты хотел. Но почему-то не стал. Знаете, что я решила на том судилище, который ваш любимый гуру устроил? Если хоть один из вас хоть что-то скажет в мою защиту – я расскажу про Лотос и мобильник. Ни один не сказал. Что вы за люди, а? Кем вы себя считаете? Свободными? Просветлёнными? Вы были тупыми рабами этого подонка. Кому-то он много зла сделал, раз эти парни приехали аж со стволами, его убивать. И он знал, что за ним придут. Оружие прятал.

Анита и Тим молчали. А Шаграт произнесла:

– Люди погибли. Тебе легче стало?

Тина хотела ответить, но Димарь тронул её за руку и попросил:

– Всё, оставь их.

Он повёл её обратно, мимо деда Семёныча, бормотавшего себе под нос: «Ить вон оно как... Дожили... Даже в девяностые такого не было...»

– Мультик такой был, про буржуя, который на острове поселился и делал вид, что он за мир, а сам тоже оружие в сейфе прятал, – сказал Димарь, просто чтобы что-то сказать.

– Ага. Я смотрела, – сухо ответила Тина.

Помолчали.

- Как думаешь, куда они теперь?
– Кто – поселенцы? Не знаю. Уедут, наверное. Найдут себе нового гуру.
Она остановилась.
И добавила со злостью в голосе:
– Мне всё равно.

Эпилог

Тина не ошиблась. Рассказав полицейским всё, что знали, поселенцы раздали свои вещи деревенским и уехали втроём на рейсовом автобусе. В деревне их больше не видели.

Сама Тина пропала на следующее утро, не оставив Димарю даже записки. В автобус не садилась – скорее всего, добралась пешком до трассы, а дальше – автостопом.

Димарь жил с матерью ещё два месяца, пока не сошёлся с Аллочкой и не переехал жить к ней. Димарь и Аллочка зарегистрировали брак, вскоре у них родилась дочь. Живут дружно. Иногда к ним в гости заходит Вован Полиглот, если бывает по делам в городе.

Уцелевшая часть поселения стоит заброшенной.

По вечерам на место кострища приходит Евсейка. Подолгу сидит на бревне, что-то напевая и постукивая себя ладонями по коленям, а потом встаёт и, вздохнув, уходит восвояси.

Стихи по кругу

Татьяна ДЕВУШКИНА

Воскресенское, Нижегородская область

Сенокос на Ветлуге

Время росное –
Сенокосное.
Зорька алая –
Небывалая.

Небесная синь,
Утренняя стынь.
Ноги босые.
Косы острые.

Утра краса –
Алмазная роса.
Заливные луга,
Ветлуги берега.

Речная даль.
Туманная вуаль.
Травы спелые.
Платье белое.

Тропка узкая.
В небе – музыка,
Птичья вольная
Песнь раздольная.

Речка чистая –
Омутистая.
Пески ярами,
Злато-карими.

А над водами –
Хороводами
Сосен свечи.
...Радость встречи.

Зазвени, коса,
Пробой голоса.
И со всех сторон –
Звон-н-н... звон-н-н...

«Коси, коса, пока роса.
Роса долой – и мы домой»

Дарит природы храм.
Доброе утро вам!

Данил ФАЙЗОВ

Москва

* * *

Юла кружится держится на грани
Упасть легко но и вертеться хорошо
Есть много осени для медленного танца
Вращение продолжится еще
Весь этот вальс кленовый и березовый
Я заведу пластинку в жухлую траву
Мелодия немного подморожена
Юла не упадет и я живу

* * *

аквариумной рыбке повезло
ее не ловят на блесну и мотыля
она сыта и не клюет и смотрит на стекло
как в зеркало как будто в карася
вертелись гуппи в поисках еды
вуалехвосты вежливо виляли
в стекле ты видел ощущение беды
все рыбы были медленны и вялы.
там в отражении какой-нибудь немой
представил жизнь средь роголистника и элодеи
разбить стекло кудрявой головой
пора домой
пока тобою повара не завладели
пока слеза синоним недосол
пока аквариум не стол
тропическим одна судьба
тонуть в постели

* * *

звездочка имеет форму сердца
это же не сложно объяснить
пять лучей и маленькое солнце
в пионерское отлить
перевернутая звездочка остра
закруглить огладить и улучшить
угли загасить и у костра
что по-пионерски был затушен
вспомнить лену и ее поцеловать
даже расходиться расхотелось
загадай тут падает звезда
а кому-то кажется что сердце

Екатерина НЫРОВА*Богородск, Нижегородская область*

* * *

Поросло все вьюном, крапивой и клевером.
И истлели в щепи в щепье врата дубовые.
Чуешь, ветер крепчает. И ветер с севера.
И несет он с собой перемены скорые.

Разжигай костры. Разбуди проклятую.
Эту землю, что силой моей насытилась.
Я не друг тебе, я любовь заклятая,
Что от времени стерлась да пообсыпалась.

Только дым кругом и колючий жар.
Поднимаясь ввысь, на четыре стороны.
Это самый древний и страшный Дар.
И синиц моих поклевали вороны.

Умирала я на заре. Три дня.
Столь желанною и душевною.
И вот я пришла. Ты так звал меня.
Отчего же клеймишь теперь ведьмою?

Эх, пусть ночь темна – разводи костры!
Напой меня поцелуями!
Там, среди дубов и лесной травы,
Под холодными летними струями!

Поросло все вьюном, крапивой да клевером.
И полудницы ждут здесь все гостя званного.
Чуешь, ветер крепчает? И ветер с севера.
Что же ты не сдержал обещания данного?

Умирала я на заре. Три дня.
Столь желанною и душевною.
И вот я пришла. Ты так звал меня.
Отчего же клеймишь теперь ведьмою?

Алла ПОСПЕЛОВА*Екатеринбург*

* * *

И костёр с одной спички
и что-то ещё из такого
что давно никому не казалось полезным и нужным
все мы дети прогресса
писали мелком на подкорке
и царапали гвоздиком эти шальные уменья
что помогут когда-то прожить

и в тайге одиноко
и спасти весь отряд проведя по болотам от фрицев
и на остров уплыть на плоту из стволов и поленьев.

Мы на острове пьем ледяной и пахучий мохито
только кажется всё же с отрядом погибли в болоте
и замёрзли в тайге наглотавшись едкого дыма
от костра что забыли мы как разжигать с одной спички.

* * *

И забравшись туда, где Макар не гоняет телят,
И куда дед Егор из-за леса и гор не доходит,
Я живу как могу, хотя принято здесь — как велят,
И никак не пойму, что такое вокруг происходит:
Почему эти люди друг другу страшнее чумы,
Каждый прав до истерики и недоволен до боли,
Лгать, чернить, предавать и швырять от тюрьмы до суммы
Каждый волен любого, и каждый любого неволит.
А у нас, где Макар с коркой хлеба и молоком
В окружении влажных носов разложился на мягкой отаве,
И в сиянии с гор к нему скачет на пир дед Егор,
Есть простор, есть леса, небеса, и есть право быть правым.
И в любви, и в обиде всегда оставаться собой,
И смотреть в небеса, и делиться и светом, и кровом.
А под вечер всегда к нам незримо приходит Она,
Пастухов и телят накрывая небесным покровом.

Лейла ОРЕН

Нижний Новгород

* * *

Трещит в подъезде чей-то самокат:
«Я сам!» — кричит и катится назад
Звенит капли бой об подоконник,
Как в прошлый вторник

Ум побывал у сердца на уроке
Бегут к губам несказанные строки
Стрекочет чайник, фыркая на взлёте
Он на работе

Разбор полетов принесёт удачу
Когда ты едешь спать к себе на дачу
И вдруг напьешься, скажем, кофе на ночь
А как иначе?

...Или забудешь где-то ради альфы бету
Потом захочешь подойти к буфету
Забрать как утешительный призок
Её конфету:

То ту, то эту,
Но лишь конфету
И в качестве ответа
Видишь: «ОК»
Иль вовсе ни ответа, ни привета,
А твой звонок
Прервется где-то

* * *

Мой милый, что это?
Ты видишь, что это?
Дрожат ладони и
Так хладен пот...
Мой милый, скоро ли?
Скажи мне, скоро ли
Тоска дорожная
Совсем пройдёт?

Ответь мне, милый мой?
Зачем любимую
Назвать стараешься,
Когда молчу?
Ответь мне, милый мой,
Возможно было ли
Не брать свечу?
Не жечь свечу?

Мой милый, знаешь ли,
Какими далями
Я обойти
Старалась нас?
Мой милый, стали ли?
Мой милый, стали ли
Слепцы
Прозорливее глаз?

Ты слышишь, милый мой,
Ту песнь игривую
С вечер
До утренних лучей?
Её любила я.
Её забыла я
Тебя спросила я:
«Ты чей? Ты чей?»
Скажи, любимый мой,
Тоской томимая
Зачем так
Нравилась тебе я?
Горой высокою,
Травой-осокою
Тянуться к небу
Я не смею

Забудь, любимый мой,
Какою милою,
Какою нежною
Могу я быть
Последней силою,
Прощальной силою
Тебя стараюсь я
Не любить

Татьяна КЛОКОВА

Владимир

Ленин

Большой сильный Ленин
во всех городах страны,
в старом ДК,
на площадях
стоит
монументом
века.
Вера
в дороге важнее проводника,
вера и есть
рука
к небу.
Небо глотает макушку
статуи,
ветер ласкает
вожатого,
солнце печётся о всех.
Памятник тоже был
человек.
Его обложили идеями,
красными флагами,
гвоздиками,
галстуки завязали в ряд
и стоят.
И стоят
вокруг.
И боятся снести.
Вдруг
не вынести.
И не вынесет
ни один городской пейзаж
наш
отсутствия
призрака
веры.

Маленький мальчик
с кудрявою головой

плачет у мавзолея –
в детстве он не мечтал
стать Лениным.

Вова, дай руку,
мне так тебя жаль.

Ольга ДАРАНОВА

Ульяновск

Из цикла «Болдино»

* * *

Я еду в Болдино. И снова
Стоит осенняя пора...
Вот поворот на Кистенёво!
А вон знакомая гора...

Господский дом. Горбатый мостик.
Часовня, старый парк, пруды.
И время вспять, и снова осень,
И манят прошлого следы...

«Мне здесь покойно. Здесь я дома!»
Не шелохнётся гладь пруда.
Сафьяном пушкинского тома
Расцвечена времён гряда.

Иду берёзовой аллеей.
Просторно глазу, даль чиста!
Вдали нарядно храм белеет,
И плавно лист летит с куста...

А в доме сумрак, тени длинные,
Луч золотится на полу,
Портретов череда старинных...
Иду к ломберному столу.

Чернила чётки! Его строки,
Рисунки, вымаранный лист...
И вензеля размах широкий,
Как злой пурги протяжный свист.

Обитель скромная, оконце,
Шкаф с книгами, бюро, диван.
Потоком утреннего солнца
Наполнен день, что Богом дан

В его не отнятую осень
В нижегородской стороне,
Где одиноко стынет озимь
Да вёрсты долгие одне...

Алена БАЙКИНА*Выкса, Нижегородская область***Выкса**

Полчаса тишины...
Мне надо совсем немного,
Чтоб рассказать о том,
Что накрепко в сердце врос
Запахами сосны,
Отсветами заводов
Город тенистых крон,
Город железных роз.

Здравствуй, Единорог!
Мой путеводный гений,
Как ты меня нашел
В диких моих местах?
Вырвал из цепких рук
Горестей и сомнений,
Вывел на мягкий шелк
Свежих приокских трав.

Я перейти на «ты»
С городом не сумела,
Но стала защитой теперь
Выксунская броня.
Иверские цветы,
Лебеди в пачках белых.
Город моих детей,
Удочеривший меня.

Игорь ГРАЖДАНИНОВ*Нижний Новгород***Тишина**

Тишина. Ах, какая стоит тишина!
Я иду переулком, мне с детства знакомым.
Эта родина мне не навечно дана,
И не вечен уют обветшалога дома.

Эту родину мне не дано разлюбить,
В дом ведущие старые, ветхие сени,
И пока я живу, мне нигде не забыть
На дворе эти грозди душистой сирени.

Усмиряется страсть и проходит тоска,
И ничто мой покой не сумеет разрушить,
Ты теперь далеко, но всё так же близка,
Да глаза твои смотрят в мою просветлённую душу.

Олег МАКОША*Нижний Новгород***Ты**

Если я буду слабым –
Меня понесет по ухабам,
Разбрасывая тут и там,
И только страх по пятам.

Если я буду сильным –
Как герои тех фильмов,
Вокруг полетят искры,
На полные канистры.

Этот скрежет металла,
Которому всегда мало,
Это сжимание пружин,
Настоящих мужчин.

Если ты будешь слабой –
Я буду увит славой,
Увенчан ранами и убит
Чередой твоих обид.

Если ты будешь сильной –
Я буду лишь символ
Рядом с тобой,
И не более того.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

ПРИСУТСТВИЕ ШАТРОВА

Вот и вышла книга Шатрова.

В её появлении – так и хочется сказать: на свет Божий! – в негданном её возникновении перед глазами, в таком, как снег на голову, приходе – извне, чуть ли не из ниоткуда, из-за пределов досягаемости – сюда, на родину, в Россию, – есть что-то иррациональное.

И это символично. Более того, это закономерно – потому что сродни чуду. Пусть и запоздалому.

Но на то оно и чудо, чтобы, уже неважно когда приходя – раньше ли, позже ли, а скорее всего именно в свой срок, в свой час, всегда вовремя, – неминуемо застигать нас врасплох, да так, чтобы сызнова охватывало душу младенческое изумление перед открывшимся вдруг – разом, как по волшебству, – живым, дышащим, звучащим миром, целым поэтическим космосом.

– Я звезда! Понимаю прекрасно, сердцем выше обид... Лишь когда на земле я погасну, к вам мой свет долетит.

За вхождением в чудо следует его постижение, напряжённая работа для сердца, души и ума. И здесь нас ждут поразительные открытия.

Время, пространство и творчество словно заключают между собою тройственный союз. Все слова связаны круговой порукой. Смыслы

множатся и выстраиваются в небывалую, не имеющую аналогов систему. Возникает ощущение совершенно особой, магической реальности.

Открывается новое дыхание, обостряется слух, обретается дивное зрение.

Биение пульса начинает совпадать с нахлынувшими ритмами: у текстов мощная энергетика, властно притягивающее к себе и постоянно проверяющее нас на прочность пульсирующее поле.

Сплошное приоткрывание завес, потайные ходы, лестницы, лабиринты и зеркала.

Неловкий шаг в сторону – и так и дохнёт ледяным холодком Зазеркалья.

Измерений – много, явно больше четырёх. Однако чувствуешь себя там, внутри стиховых скоплений, сцеплений, созвучий, спокойно, даже уютно: тебя не пугают, не ошеломляют, не норовят во что бы то ни стало поразить, – наоборот, к тебе относятся бережно, тебе доверяют, – и тот, кто пригласил тебя войти сюда, в таинственный свой дом, находится где-то здесь, может быть – рядом.

Его присутствие – ещё присутствие невидимки, но ведь это именно он позвал тебя в гости – и значит, встреча должна состояться.

– О! Талант – то корабль без пробоин в колыханьи изведанных волн. Он торговлей живёт и разбоем, и собою, и золотом полн. Гений – тот, кто неведомым выслан на разведку в чужой небосвод! Это стих, затопляемый смыслом из каких-то надмирных пустот.

Идёшь вначале – на звук, на голос. Потом – вместе с голосом. Чуть позже возникает удивительный свет, и дальше движешься уже вместе со светом. Путешествие внутри речи продолжается – и не закончится никогда. Потому что никогда не закончится – речь.

Это вполне вписывается в шатровскую легенду, в шатровскую тайну, в понятие судьбы – в шатровском её осмыслении и толковании.

Глубокий вдох:

– Как хочу я стать частицей сказки, самому легендой быть для всех!

И долгий, усталый выдох:

– Как ткань проникает игла, судьба моя мной вышивала.

Сквозь истёртую, рваную, кое-где стянутую грубыми швами ткань ушедшей эпохи проступает и высветляется – образ.

– Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу...

Не издание, а – явление. Материализовавшаяся в виде изданной типографским способом книги часть неповторимого духовного опыта, откровений, предчувствий, прозрений.

Книга – загадка. Первая ласточка. Вестница из огромного, существующего добрых полстолетия поэтического мира, в который современному, в меру интересующемуся, но на поверку почти ничего толком не знающему о своей, отечественной литературе читателю предстоит наконец войти.

Для того, чтобы оглядеться, сориентироваться в таком сложном и единственном в своём роде мире, чтобы ощутить его значительность, чтобы вчитаться, чтобы за вниманием, которое уже само по себе редкость в наши дни, постепенно пришло и понимание, должно пройти немалое время. Это движение от первоначального, чисто человеческого внимания к серьёзному, настоящему пониманию шатровского слова – нелёгкий, но радостный труд, за который читателю воздастся сторицей.

Навсегда в прошлом остались рукописные, домашние, как часто бывало при жизни, «издания» произведений поэта. Да и некоторые

машинописные, самиздатовские: содержание их перекочевало в книгу, лежащую передо мной. Однако появившиеся сразу после смерти Николая Шатрова самиздатовские сборники его стихов, составленные истовыми ценителями и почитателями его поэзии, существуют по сей день. Объём таких сборников достигает иногда размеров внушительного тома или даже нескольких томов. Число их, надо полагать, будет увеличиваться до той поры, покуда изданное полное Собрание сочинений Шатрова не станет свершившимся фактом. Имеющий свои многовековые традиции, свои правила хорошего тона и свою систему отбора российский самиздат чрезвычайно живуч.

Давнее и загадочное существование шатровских текстов, их поистине странное присутствие-отсутствие в отечественной поэзии, для читающего большинства остаётся существованием полумифическим, и лишь для посвящённого меньшинства современников является очевидным и непреложным.

Путь их к читателю – при всей их классичности, при всей ясно видимой в них преемственности русской стихотворной традиции, продолжении и развитии этой традиции, обогащённой и поднятой на новые высоты, – путь длительный и на редкость непростой.

– Смеркается день, ты глаза закрываешь, как будто иначе глядишь на меня... Как будто иначе от счастья растаешь, хоть ты не из воска, но я из огня! Зато из какого, вовек не узнаешь... Когда же узнаешь – не будет меня.

Сказалось здесь в первую очередь, как это в России сплошь и рядом бывает, то обстоятельство, что поэт никогда не был и не жил на виду – он существовал осторонь от всех, сам по себе, ибо нервотрёпке и хаосу решительно предпочитал независимость и уединение, ибо хорошо знал себе цену – и просто не вмещался ни в рамки советской действительности, ни в рамки советской литературы.

Налицо не только и не столько вынужденное, но и сознательное отстранение от литературного процесса минувших лет, посередине которого проходит резко обозначенная граница, раз и навсегда разделяющая его на официальную и неофициальную области, на мнимую и подлинную литературу.

Парадокс заключается в том, что Шатров не был «своим» ни в том ни в другом лагере. В лучшем случае представители обоих лагерей «слышали звон, да не знали, где он», то есть слышали, что существует такой поэт – Шатров, и даже кое-кто когда-то читал его стихи той или иной поры, ранние или более поздние, но чёткого представления о поэзии Шатрова не имел практически никто из «собратьев по перу», да, может быть, и не хотел этого – слишком занимали тогда литераторов собственные заботы, имели значение и внутрилагерные интересы.

– Я мудрости не накопил – и, несмотря на горький опыт, какой-то азиатский пыл ронял меня в глазах Европы. Пронзительно-раскосых рифм разрез лукавый и ленивый... При жизни я ломился в миф, неприятельский на диво. О, кто загадку разрешит: как не заметили поэта? Так некогда Гарун Рашид бродил в толпе, переодетый!

Почитатели поэзии Шатрова, с сороковых по семидесятые годы, являли собою совершенно особую группу людей, жили они не только в Москве, но и в других городах страны, никакого отношения к официальной литературе не имели, объединяла всех их подлинная любовь к стихам столь ценимого ими поэта.

Чем они могли помочь Шатрову? Помочь с изданиями? Это было тогда нереальным. Разве что – вниманием, участием в судьбе, в жизни, добрым словом. По тем временам – уже великое дело.

Этот круг людей, с которыми Шатров общался, к кому часто адресовался, с мнением которого считался, ибо интеллектуальный уровень его был очень высок, – позволял поэту как-то дышать в душной атмосфере тоталитарного сталинского, оттепельного хрущёвского, застойного брежневского времени.

Подлинное, высокое человеческое общение, которого ничем не заменишь, соединялось с подлинным, высоким творческим горением.

Шатров никому себя не навязывал. К нему приходили сами. Бывало, такие встречи давали людям сильнейший импульс к развитию их способностей, к избранию жизненного пути и помнились потом всегда.

Случалось, что Шатров и спасал людей. Я знаю на Украине одного композитора, жена которого когда-то страдала от чёрной меланхолии. Она не могла ни есть, ни пить, ни спать и уже подумывала о самоубийстве. Состояние было ужасающим. Отчаявшийся муж привёз её в Москву, пытался обращаться к врачам, но безуспешно. Как две тени, супруги мыкались по столице, не зная, куда податься, что делать. Волею судеб Шатров увидел их где-то на улице. Вид их потряс его. Он подошёл к ним сам, разговорился, всё понял. Дальнейшее супруги до сих пор вспоминают как чудо. Шатров привёз их с собой в Пушкино, на крохотную дачку своей жены Маргариты, и пробыл там с ними целый месяц. Всё это время он просто говорил с ними, был рядом. Шатров обладал даром исцелителя. И вот ровно через месяц страшная болезнь у жены композитора прошла и никогда больше не возвращалась. У композитора было белокровие, и на жизнь он смотрел без особого оптимизма. Но после общения с Шатовым он тоже почувствовал себя значительно лучше. У него вновь проснулось желание сочинять музыку. Супруги вернулись к себе на Украину. Жизнь их изменилась. Оба они стали глубоко верующими людьми. В доме у них много икон, одна из которых – чудотворная. Как-то я был у них в гостях. Они включили мне старую магнитофонную запись стихов Шатрова. Вспоминали самое дорогое для них время – и оба плакали. А в тесной, чистой их квартире всё звучал, звучал голос Николая...

Сколько раз, уже после смерти Шатрова, собирались, бывало, вместе его друзья, добрые знакомые, – и вспоминали о нём, вспоминали.

Одного он выручил в тяжелейшей ситуации, другому с точностью предсказал судьбу, третьему помог творчески самоопределиться, четвёртого – привёл к вере...

О себе и своей судьбе знал он – всё, наперёд, с самого начала.

Трагичность, величие и светоносность творческой и человеческой судьбы Шатрова ещё только смутно начинают осознаваться. Настоящее осознание – впереди.

Давно бы надо всем, знавшим Шатрова, написать и собрать воспоминания о нём. Такие люди и такие поэты столь редки.

Шатров – одиночка, подвижник, несший свой крест до конца, взваливший на свои плечи такой груз, какой мало кому был по силам, несравненный поэт, выполнивший свою миссию на земле, сохранивший и продливший дыхание русской речи.

– Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу, точно по открытому ножу: помогаю и горам, и рекам, ветром вею, птицами пою, говорю иными голосами... Люди ничего не видят сами,

приневоленные к бытию. Скоро ли наступит тишина при конце работы – я не знаю. Боже мой! Ты слышишь, плачет в рае та душа, что мною стать должна? О подруга, равная во всём! На стреле пера, белее снега, в муке, ощущаемой как нега, мы, сменяясь, крест земной несём.

Многое можно сказать, и долго придётся говорить, чтобы перечислить хотя бы бегло приметы такого феномена, не говоря уже о конкретном обозначении каждого аспекта, каждого излома, ответвления или взлёта данной жизни, данной судьбы и данного творчества, – всё это в грядущем заставит крепко поломать головы не одно поколение исследователей.

Более чем за три десятилетия самоотверженной работы Шатровым было создано единое целое – колоссальный свод стихотворений и поэм, около трёх тысяч вещей, лишь небольшая часть которого вошла в американскую книгу.

– Опять книга приходит к нам «из-за бугра»! – вправе заметить привередливый читатель. Хотя и «бугор» уже не тот, что раньше, но всё же – оттуда, именно оттуда. Не у нас издана книга, а там, «у них».

Пусть пресловутый «бугор» нынче не столь неприступен, как ещё сравнительно недавно, но живут за ним люди, которым не безразлична русская поэзия.

С грустью вспоминаю тщетные свои попытки издать книгу Шатрова в России – в самом начале девяностых, когда издавать, казалось бы, можно было что угодно. Читательский интерес к своей, ранее не издававшейся, потаённой литературе достиг тогда своего апогея. Все, вроде бы, ратовали за возрождение культуры. Птица Феникс, восставшая из пепла, упоминалась кстати и некстати и превратилась в расхожий образ. Выяснилось, однако, что издателей больше интересовали «жареные» темы, как тогда некоторые любили «со значением» выражаться, нежели хорошая поэзия. «Жареные» факты, сенсации, дозволенное свободомыслие. Вот что было нужно, в первую очередь. А стихи – подождут. Автор не сидел в лагерях, диссидентом не был, всякие письма и воззвания в защиту чего-то и кого-то не подписывал, демонстрации не устраивал? Тем более – подождёт. Острое, с политической подоплёкой, – вот что интересовало. С подробностями. Чтобы ужасов, страстей побольше. Или – третьесортные в основном писания эмигрантов третьей волны, большая часть коих уехала вовсе не по политическим соображениям, а чтобы там, на желанном Западе, успокоить свои разыгравшиеся амбиции. Нет, не до стихов сейчас! Да и какие-то они уж больно традиционные с виду, без этакой, знаете, формальной новизны, без авангардности, вот это модно, это сгодилось бы.

Ну никак не получалось с книгой, и всё тут. Без всяких «бугров», на родной, удручающе ровной поверхности российского равнодушия. Где, впрочем, рытвин предостаточно.

Один мой знакомый пачками рассылал стихи Шатрова по редакциям журналов. Отовсюду возвращали, с краткой резолюцией: не подходит!

Другой мой знакомый специально подобрал большую перепечатку шатровских стихов о России и отнёс их – куда бы вы думали? – прямоком в журнал «Наш современник». Там принесённые стихи полистали – и сразу, на месте, возвратили, пояснив: «Ну и что же, что везде тут – о России? Уровень не тот. Не для нас!» Вот уж поистине: такой уровень – не для них.

Темнота и непросвещённость издательских и журнальных работников – тема особая. Равно как и цинизм.

Не знали! Не знали, кто это такой – Шатров. Да и не хотели, судя по реакции, знать.

«Мы ленивы и нелюбопытны», – не зря говорил Пушкин.

Те новоявленные, более просвещённые издатели, которые могли бы и рады были бы напечатать книгу Шатрова, просто не имели для этого нужных средств.

Удалось мне сделать тогда всего три публикации стихов Шатрова в журналах: одну, по знакомству, – в малозаметном, но многотиражном «Клубе», две – в широко читаемой «Волге», где, несмотря на редакторские восторги, умудрились-таки по непонятным причинам исказить и сократить некоторые классические шатровские тексты, не удосужившись объяснить, зачем они это сделали.

Да ещё в самом начале восьмидесятых передал я в знаменитый «Континент» целый машинописный сборник Шатрова, отменные тексты, одно стихотворение лучше другого, втайне надеясь, что Владимир Максимов и Наташа Горбаневская проникнутся поэзией Николая – и возьмут да издадут там, у себя, на свободном Западе, отдельную книжку: речь-то, по существу, шла о спасении отечественной поэзии.

Но из присланного лидерам свободомыслия сборника шатровских шедевров была выкроена, говорят, некая подборка с указанием, что об авторе стихов редакторам журнала ничего не известно, – подборка, которую я так и не видел.

А ведь хорошо помню, как перепечатывал я шатровские тексты: на самой тонкой бумаге, в две колонки, через самый маленький интервал, густо, подряд, на обеих сторонах каждого листа, – чтобы машинопись места много не занимала, чтобы хоть ввосемьмеро её сложить можно было, чтобы провезти её через границу легче было бы, – такая вот наивная конспирация.

И верил тоже, выходит, наивно, что там, в Париже, наши правдолюбцы и герои, с трепетом прочитав эти измятые, надорванные, но верными людьми доставленные-таки по назначению листки, возликуют: жива ещё русская поэзия! – и немедленно позаботятся об издании текстов, – и когда-нибудь, даст Бог, увижу я не только обширные публикации в зарубежных периодических изданиях, но и на плотной заграничной бумаге напечатанную, любовно оформленную, хорошим предисловием сопровождаемую – книгу Шатрова.

Нет, и там не поняли! И там, наверно, были «другие интересы».

Знать, не судьба была выйти шатровской книге в те годы на Западе.

Не листали эту книгу нашедшие себе там приют наши правозащитники, не проливались на эти страницы скупые слёзы старых эмигрантов, не твердили шатровские строки наизусть незаметно подросшие на чужбине дети покинувших Родину ранее жадных до чтения московских и питерских интеллигентов, этих кухонных фрондёров и спорщиков.

А ведь смотрите – вот хотя бы, стихотворение пятьдесят девятого года:

– Дух отлетел от песнопенья, и стих предстал набором слов. Фальшивое сердцебиенье не кружит срубленных голов. Гильотинированы звуки, их интонация мертва. И в деревянном перестуке глухие рифмы, как дрова. Кто из кремня добудет искру? Разорванную свяжет нить? Опустится на землю к риску глаголом трупы оживить? Какой Христос, какой Мессия, отринув страх, покроет стыд? Развяжет твой язык, Россия, казнённых позвонки срастит?!

Или это, написанное в пятьдесят четвёртом году, стихотворение:

– Проходит жизнь – и ни просвета, ни проблеска в моей судьбе. О, что мне делать? Посоветуй – я верю только лишь тебе... Зачем ты отпустила душу на странствия в чужом краю, где море затопило сушу, как горе Родину мою...

Кто из русских поэтов в глухие сороковые и пятидесятые годы писал стихи такого уровня? А у Шатрова их – множество.

Почему же тексты Шатрова не нашли пристанища на страницах зарубежных и отечественных изданий, где, казалось бы, им-то сам Бог быть велел? Нет ответа на вопрос. Пусть лучше грустная ирония поэта замаскирует боль:

– Переименуйте «Правду» в «Истину», будет та же самая газета. Мы живём в стране такой таинственной, что не рассказать и по секрету. Тут поэты пишут заявления, а прозаики строчат доносы... И одни непризнанные гении задают дурацкие вопросы.

Вот уже несколько лет я довольно редко бываю в Москве. Живу в стороне от хаоса и бреда, не желаю в нём участвовать. Стихи Шатрова – всегда со мной: и в памяти, и в машинописи.

В кои-то веки недавно отправился я в московские редакции. Сами кое-откуда звонили, жаловались на нехватку хороших материалов. Снова рассказывал о Шатрове – редакторы делали большие глаза. Впервые слышат. Или краем уха что-то слышали, в лучшем случае. Пришлось объяснять чуть ли не на пальцах...

Да, особенные, ни на что не похожие нынче времена! Не застой. И не безвременье. Нынче – междувременье. Ни то ни сё.

Самое употребительное выражение сейчас в России – *«как бы»*.

На стыке двух эпох, двух столетий, – *как бы время*.

Как бы человеческие отношения. Как бы свобода. Как бы интерес к своей литературе. Как бы журналы, как бы издательства, в которых как бы знают своих лучших поэтов и как бы хотят их опубликовать.

Как совершенно точно сформулировал в одной своей статье Александр Величанский, настали циничные и меркантильные времена «воинствующей недопоэзии», «когда новое сознание развивается за счёт чужих достижений и ошибок, удостоившихся, кстати, лишь высокомерной неблагодарности от новых работных людей поэтической славы».

Об этих «работных людях», три четверти коих – натуральные люди, сказать можно только по-одесски: «как вспомню, так вздрогну». Два-три раза случайно увидев их, я действительно без содрогания о них говорить не могу. Кучкующаяся и тусующаяся литературная шваль, хорошо соображающая, что в стаде им находиться проще и надёжнее, чем существовать поодиночке, шестёрки, которых мы, старая гвардия, раньше, что называется, в упор не видели, – законодатели веяний и мод, желанные гости везде и всюду. Включишь телевизор – знакомая хитрая физиономия. Откроешь журнал – опять та же гоп-компания. Паразитирующие на живом древе отечественной литературы, эти вампиры мелкого пошиба, монстры и недоучки ещё и плодят себе подобных, ещё и сбивают с толку зелёную молодёжь, которая это их чтиво принимает за чистую монету! Об одном из таких ныне преуспевающих тусовщиков-уродцев покойный Величанский как-то с тихой яростью сказал: «Как увидишь, так только одного хочется – в морду дать!» Да, каждому времени – свои песни. Бесы разгулялись вовсю. Зачем им Шатров? Зачем им Губанов? Зачем им Величанский? Это – здоровое, подлинное. Ну, разве заглянуть в тексты, подпитаться живой кровью. И забыть, до следующего раза, когда потребуются подпитка. Сделать вид, что нет таких

поэтов. Иначе ведь наконец поймут, кто они сами, из какого теста. Но некогда об этом думать, пора на шабаш. Вот и кривляется «густопсовая сволоочь», по выражению Мандельштама, «пишет и пишет». Надо быть на виду. Чтобы говорили. Неважно, что именно. Важно, чтобы говорили.

Как-то в ПЕН-клубе вполне серьёзные люди, давние мои знакомые, все в годах, седые, вдруг начали меня учить жить, объяснять, что жизнь нынче сложна и постоянно напоминать о себе, появляться на людях, тусоваться – просто необходимо, иначе забудут или, в лучшем случае, будут блаженным считать.

– Вот и хорошо, – сказал я моим доброжелателям, – пусть меня считают блаженным. Тусоваться мне просто некогда, и охоты нет никакой. Я работаю.

Полагаю, что Шатров, будь он жив, ответил бы так же. И Губанов. И Величанский. Только эти двое – ещё и порезче!

Воровское, халявное, рваческое время! Молодой стихотворец, накропав два десятка стишков, уже требует к себе внимания, методично обходит редакции и добивается-таки публикации.

Нам, старикам, ещё четверть века назад написавшим уже сотни стихотворений, такое и в голову бы не пришло. Своя у нас была этика. Дурным тоном считалось это хождение по редакциям. Что там можно было услышать? То же самое: не подходит. Куда плодотворнее было – собираться вместе, читать друг другу стихи, дарить машинописные наши сборники, беседовать, – ведь и это наше общение было частью творческого горения.

Не случайно Шатров сказал:

– Кто сидел, кто лежал на диване, кто работал в цеху... Я – горел! Это тоже призванье: пригвождённый к стиху.

Но это – в прошлом.

Не воспринята, видать, нынешними «работными людьми» славная наша традиция. Этимология слова «успех» – от суетной мыслишки: успеть. «Засветиться» где-то, помянуть, отметить. Творчество? Но на это надо золотое время тратить. Плевать на труды! Пусть у тебя хоть на книжонку текстов наберётся – тебя та же «кодла» вытащит и издаст. Установка, что ли, из преисподней дана, чтобы не поэзия была, а так, незнано что, «попса» какая-то? Вот уж, прости Господи, времечко!

И в это безликое и разнузданное «как бы» спокойно, без всякого шума, без общенародного ликования, без восторгов столичных умников-критиков, – словно она и есть и как бы её и нет для занимающейся в основном проблемами выживания деградирующей псевдолитературной шатии-братии! – с достоинством приходит содержащая двести шестьдесят шесть произведений книга Николая Шатрова.

Очертания неизданных произведений угадываются за каждой белой страницей книги, как за тонкой стенкой. Так и слышится то музыкальный, нестройный их гул, словно большой оркестр неподалёку настраивает инструменты, то более слаженное звучание, то обрывки отдельных фраз. Они будто огорчены тем, что не оказались там, под обложкой, рядом с уже напечатанными стихами.

Происходит это потому, что составителями книги, при всей их любви к поэзии Шатрова, нередко выхвачены отдельные вещи из групп стихотворений, из циклов, из стихотворных сюит, которыми мыслит поэт, – и оставшиеся за пределами издания вещи требуют внимания к себе, хотят восстановить связи, встать на свои места.

Опять непредсказуемость. Уж такое, казалось бы, бережное отношение людей, осуществивших издание, – Феликса Гонеонского и Яна Пробштейна – к каждой строке, каждому слову. Такое искреннее желание обнародовать любимые, годами хранимые в домашних собраниях тексты Шатрова.

Да и тексты-то ведь – очень высокого уровня, просто великолепные. Но между ними – точно зияния. Острая нехватка недостающих звеньев чувствуется – мною, например, хотя составителей я совершенно не корю – они сделали всё, что могли. Поместить туда, в эти пустоты, нужные вещи – и всё задышит, станет органичным.

Всегда надо понимать – *как мыслит поэт*.

При всей очевидной законченности, организованности каждого отдельного стихотворения Шатров всё же мыслил свободнее, шире, мыслил именно группами стихов, цикличность в его творчестве несомненна. И подлинны книги его – это его творческие периоды.

Писал Шатров «запоем», на одном дыхании, когда на него «находило» (здесь уместно будет вспомнить Чарского из пушкинских «Египетских ночей», с его определением своего творческого состояния), писал много, и стихи шли подряд, одна вещь за другой. Достаточно посмотреть даты под стихами в шатровских рукописях. Достаточно понять, как шла мысль, как развивалось это лирическое, плещущее движение. Сами стихи вели поэта. До такого состояния – шёл период накопления. Когда «прорывало» – начинались стихи.

Вот обращение к Музе:

– Он горек, как вода морская, твой неприкаянный покой. Ведь ни на миг не умолкая, ты лиру трогаешь рукой. Я слушаю неясный шорох рифм, прилетающих на зов, и ты присутствуешь при спорах подсказанных тобою слов. Но вот спешишь ты удалиться, владычица судьбы моей, забыть скучающие лица непонимающих людей. И без малейшего нажима, очищены от шелухи, легко, почти непостижимо, в душе рождаются стихи.

Важно для правильного понимания шатровского творческого процесса и такое стихотворение:

– Не пиши чересчур образцово, стихотворец, себе на уме, добиваясь смысла от слова в тесной клетке строфы, как в тюрьме. Он не ждёт вдохновения, он – мастер. Но поэт, блудный сын Божества, только ты знаешь высшее счастье выпускать на свободу слова!

И ещё:

– Но надо в духе осознать присягу царственного слова, тогда ты – подлинная знать и можешь не рождаться снова. Когда ты истинный поэт, тебе до истины нет дела! Ты пишешь потому, что свет твоё переполняет тело!..

Из отдельных лирических стихотворений, как из кусочков смальты, создавалась мозаика, некая целостная картина.

Из соединения отдельных периодов, от самого раннего до позднейшего, возникало впечатление чего-то монументального, цельного, неразрывного, существующего в диапазоне от конкретных реалий повседневности до сложных метафизических исканий.

Своеобразные «сцены жития» с тщательной прорисовкой деталей – вовсе не жанровые картинки, их задача иная, это тоже частицы единого целого, так сказать, впрямую говорящие о земном.

Созданное поэтом здание имеет не только зрительные очертания. Оно буквально пронизано, переполнено музыкой. Говоря упрощён-

но, каждая «архитектурная» или «живописная» деталь строения – подкрепляется и усиливается фонетически мощным, многоголосым, симфоническим звучанием стихов. Зрительный ряд здесь на равных с музыкальным. Отсюда – уравновешенность, гармония стихов. Нет украшательства. Сдержанность, за которой – буря. Собранность, сфокусированность мыслей и чувств. Нет никакой раздражающей дробности. Обобщение доведено до совершенства. И столько света!

В каждой отдельно взятой вещи – своё «золотое сечение», своя ювелирная работа, найденность, выдышанность, выстраданность. Мастерство такого уровня, что совершенно не замечаешь, как, какими средствами это сделано. Не сделано, а записано. И даже не записано – для объяснения такого творческого процесса и слов-то не подберёшь. Да и зачем объяснять?

Опять напрашиваются аналогии с чудом. Поэт – творец – вдохнул жизнь в стихотворение. И вот оно живёт уже само по себе. Оно по-своему совершенно. Оно – тоже часть бытия.

– Пиши, когда хочется... О, только тогда! Писательство – творчество: живая вода! Пиши от излишка, иначе конвейер, машинная вышивка, узор по канве. Пиши тучей по небу в простор голубой... И лучше, чтоб кто-нибудь писал за тобой...

Нет статичности. Нет этого лжеспасительного самоуспокоения, хозяйского довольства написанным. Нет этого любования строками, как при замедленной съёмке: вот смотри, я сделал, теперь и ты оцени, любуйся, сопереживай. Наоборот: увидел? понял ли? – и дальше, словно в полёт.

Написанное стихотворение сразу посылает световой луч следующему, подразумеваемому стихотворению, вызывает его к жизни.

У Шатрова стихи перекликаются, общаются между собой. Знак превращается в звук. Звук оборачивается знаком. Своя здесь сигнальная система, свой телеграф, собственные средства сообщения. От вещи, написанной в конце сороковых, вдруг перебрасывается мостик в шестидесятые, стихотворение середины семидесятых – аукается с написанным в пятидесятые, и так далее.

Сгустки стихов напоминают кристаллические образования — может, и развиваются они по законам минералов? Нет, что-то иное. Пчелиные соты? Трудно сформулировать.

Мысль никогда не прямолинейна, нет этой дурацкой логики, с шорами, – логическое будто вырастает в образное, а там уже сгущается обобщение, и рукой подать до ирреального.

Причём оперирует Шатров всеми составными своей поэтики, своего мышления, своего образного видения – совершенно свободно.

Его видение – видение. То, что собирает воедино всё разом. Даёт образ времени.

Его слышание – улавливание музыки времени, и внешней и подспудной, тайной, со всеми полутонами, в любом регистре.

Структуры, называемые нами шатровскими циклами, книгами, периодами, очень сложны – своей внутренней насыщенностью, даже затайненностью её до нужной поры, потому что и при многократном чтении что-нибудь да недоглядишь, не совсем так, как того хотел поэт, воспримешь.

Строка – разворачивает веер смыслов. Строфа – протягивает нити на все четыре стороны света, крестообразно. Стихотворение, перешагивая время, отведённое для его осмысления, одной ногой стоит в минувшем,

где оно создано и откуда проще оглянуться назад, к истокам, а другой ногой уже встаёт на почву будущего.

На всём творческом пути Шатрова стоят эти вехи, маяки, опознавательные знаки – характерные приметы его рабочих десятилетий – сороковых, пятидесятих, шестидесятых, семидесятых годов.

За каждой такой приметой – россыпи, созвездия стихов.

Именно – мир. Под российскими небесами.

И уже некогда думать, гадать – чем же питается эта живая поэтическая материя, куда же направлена корневая её система – вглубь, в почву, поскольку так доступнее для восприятия, или же вверх, в небо, как это бывает в древних арийских изображениях.

Во всём – движение, устремлённость вперёд, преодоление земного времени и земного притяжения, выход во Вселенную, в неведомые измерения, в параллельные миры, привычное (как дома!) пребывание в историческом и географическом пространствах, этот отважный прорыв в будущее, эта сжатость и афористичность изречения, как на скрижалях, и вдруг – редкая раскрепощённость, абсолютная свобода с абсолютной точностью найденного слова, эта долговечность написанного, – все, совершенно все, большие и малые, звенья общей цепи, все составляющие этой небывалой музыки, всё информационное поле шатровской речи, шатровской мысли, шатровской высокой поэзии, – всё это самым естественным образом входит в понятие *явления*, всё говорит о том, что создавался Шатровым на протяжении всей его жизни, в сущности, собственный своеобразный эпос.

Вообще творчеству некоторых современных русских поэтов, представителей бывшей неофициальной нашей литературы, написавших много, присуще это эпическое звучание, это закономерное нахождение всех написанных ими вещей внутри одного круга, одного единого целого. Что наводит на мысль о том, что четверо поэтов (в этом ряду, помимо Шатрова, из покойных поэтов я назвал бы Величанского и Губанова, а из живущих – только себя) являются не только лириками, но и эпиками, и современный эпос частично уже написан, но не одним человеком, а несколькими людьми, а частично ещё создаётся.

И форма его ныне иная, чем прежде: это не «Илиада», например (то есть большое, повествование с сюжетом и героями), не «Фауст» (который, кстати, уже тяготеет к новому эпосу – и тоже может рассматриваться не как пространное эпическое повествование, написанное одним размером, но как собрание отдельных стихотворений-звеньев, отрывков, различных «малых форм», сплавленных в одно целое).

Этот новый современный, совсем особенный, да ещё и русский, эпос – именно собрание всех написанных поэтом вещей, объединение их в одно целое; а ещё надо сказать, что современный эпос, как это странно, даже дико, ни звучит, – плод труда не только каждого отдельного поэта, но и плод коллективного труда этих авторов.

Никакой это не коммунистический коллективизм. Каждый автор оригинален, неповторим, каждый сам по себе существует. Но есть и связь: само время, переключки судеб. То, чего нет у одного, имеется у другого.

Если вообразить, что в середине огромного круга – Бог, от которого протянуты лучи-линии к каждому из поэтов, то видишь, что каждый из поэтов имеет свой, так сказать, сектор внутри круга – больше он по размерам или меньше, сейчас неважно.

Важно, что секторы эти – рядом, и сходятся все они к одной точке в середине круга.

Так что главный автор современного эпоса – Бог.

Почему я называю нас четверых эпическими – или, пусть так, лиро-эпическими поэтами? Да потому что такие уж времена мы переживали и переживаем на Руси, господа! Каждому времени – свои песни.

Родоначалниками жанра, первопроходцами на пути к новой форме самовыражения, синтетической, и более эпической, нежели просто лирической, можно считать Хлебникова и Цветаеву. Полагаю, сюда же следовало бы отнести и Введенского – если бы его произведения сохранились в том большом объеме, который существовал. Есть сейчас, разумеется, и просто лирики среди людей, пишущих стихи. Но не о них речь. Речь о трансформации, о перетекании лирической формы в эпическую. Речь о большем, чем лирика.

А большому кораблю, как известно, – большое плаванье. Тем более такому титану, как Шатров.

На фоне его поэзии почти все нынешние стихотворцы, почему-то именующие себя «поэтами», просто не видны. Понятно, что такую глыбу им, беднягам, лучше не замечать или обходить стороной: раздавит.

Существование Шатрова – космического порядка. И осознают это в не столь уж отдаленном будущем другие поколения российских людей.

В искусстве двадцатого века многое выглядит не так, как в искусстве предыдущих веков. Если взять западную поэзию, то свой лирический эпос создали в ней Аполлинер и Рильке. В живописи эпически мыслили и Пикассо, и Филонов. В русской музыке – Шостакович и Шнитке.

А создаёт этот новый эпос – лирическое горение. Искусства перекликаются, взаимно обогащая друг друга.

Какой была бы русская поэзия второй половины двадцатого века без тесной связи с живописью этого же периода? Я, разумеется, почти не беру в расчёт живопись официальную, говоря только о той, настоящей, что, будучи ещё недавно неофициальной, подпольной, вышла к людям, дала свой образ времени. Если я, например, дружил с некоторыми крупными нашими художниками, то в моём случае взаимодействие, взаимопроникновение живописи и поэзии было закономерным, оправданным.

Что уж говорить о музыке, которая ещё ближе к поэзии!

В случае с Шатовым это, разумеется, тоже было: и живопись, и музыка. Достаточно вспомнить его дружбу с Софроницким, его хорошее знакомство с лучшими коллекциями отечественного авангарда.

Рассуждая об особенностях российского искусства, обязательно надо учитывать и небывалый религиозный подъём, начавшийся в шестидесятых, усилившийся в семидесятых годах и продолжающийся поныне.

Шатров – человек своего времени. Всё сказанное выше не прошло мимо него. Несмотря на то что существовал он несколько в стороне, он многое и многих знал, был непосредственным участником общего процесса обновления поэзии, обновления всех искусств, общего духовного роста.

Будучи прирождённым лириком, он мыслил, тем не менее, эпически – намного шире и глубже, нежели это полагается для лирика традиционного, грубо говоря.

Ибо те волны, которые улавливал поэт, несли ему информацию богатую, самую разнообразную, всё это переосмысливалось и находило воплощение в слове, и просто нескольких строк лирического стихотворения – было мало; и звучание мира, приходящее извне, и внутреннее звучание речи – были шире, требовали соединения отдельных клеточек

в единый организм, – отсюда и тяготение к собственной большой форме, цикличность, закономерное существование произведений внутри каждого отдельно взятого периода и существование всех творческих периодов как единого целого.

Поэтому единственное ныне и тем уже ценное отдельное издание стихов Шатрова следует, положа руку на сердце, назвать скорее сборником, нежели книгой. Конечно, книга – это звучит приятнее, весомее. А сборник – это будто бы сборник непростых задач по Шатрову. К людям, издавшим Шатрова, я испытываю только благодарность. И всё-таки...

Быть может, вообще всё хорошее, что создано было в недавнюю ушедшую эпоху – в поэзии, в прозе, в живописи, в музыке, – не укладывающийся ни в какие рамки единый русский могучий эпос, и поэзия Шатрова в нём – звено целого, эпос в эпосе. Быть может...

Но стихи Шатрова могут и должны звучать сами по себе, они заждались, голос поэта должен быть наконец услышан, и где, как не на его родине.

Что-то словно мешает этому. Пока мешает.

Чтобы по-настоящему услышать шатровские стихи, надо иметь ухо на стихи. Тот слух, который дан далеко не всем.

Возможно, поэзия Шатрова ещё ждёт формирования такого читательского слуха.

Шатров умел ждать при жизни – и к нему сами приходили те, кому его стихи были необходимы. Умеют, судя по всему, ждать и его стихи.

К его звуку – ещё отыщется ключ.

А всё оттого, что сама судьба поэта – поневоле приходится это подчеркивать – в высшей степени иррациональна.

В ней иррациональность не элемент, не частица чего-то зазеркального, случайно залетевшего в действительность, привносящая в тексты некий отсвет мистического, необъяснимого, но непреложное условие существования, та живая кровь или живая вода, которая питает поэзию Шатрова – и в конечном итоге обеспечивает ей долгое, космическое бытие, – ту жизнь, что отзывается вечностью.

– И какие могут быть преграды для людей, живущих под судьбой? Для чего-то, значит, Богу надо, чтобы мы увиделись с тобой.

Для меня нет сомнений в том, что Николай Шатров – великий поэт. Русский поэт, он и мыслит по-русски. А русское мышление иррационально.

Настоящая русская поэзия – синтез, сплав, соединение двух пластов, двух начал: древнейшей, многотысячелетней ведической традиции и многовековой, но относительно недавней традиции христианской, православной. На этом стыке – высекается огонь, обретается дыхание, возникает поэзия.

Каждая строка Шатрова, при всей православной светоносности его стихов, при всей правильности избранного пути, при всём смирении, подвижническом укрошении хлещущих через край чувств – наполнена ещё более древним светом, так и отдаёт ведической стариной, за которой встаёт история народа, с его мироощущением, с его уникальными знаниями о человеке и мироздании, возвращающимися к нам, в силу сложных обстоятельств, и открывающимися нам заново только сейчас.

Такое может быть продиктовано только кровью – и той прапамятью, той наработанной тысячелетиями памятью, там, на генном уровне, в подсознании, той информацией, которая заложена в человеке предыдущими поколениями.

А Шатров происходил, как известно, из очень древнего русского рода. Одним из его предков был Иван Калита.

Вот откуда – из нашей общерусской древности – берёт исток шатровская иррациональность – везде и во всём, на высоких тонах.

И это не просто красивые туманные слова, а давнее убеждение. Что и подтверждается при внимательном чтении русских поэтических текстов – от уцелевших ведических повествований, от «Слова о Полку», от Державина и Тютчева – до Шатрова и некоторых других, считанных, современных авторов.

И если Бродский, поэт настоящий, но совершенно противоположный, полярный Шатрову, назвал свой двухтомник «Форма времени» – то есть здесь уже подразумевается некая протяжённость земного существования, очерченные границы земного жизненного срока и поэтому неминуемый, пристрастный, неукротимый интерес к его подробностям, всевозможным деталям и штрихам, их столкновениям, сочетаниям и даже классификации, расположения в рамках, обусловленных этой «формой», то Шатров, тоже настоящий поэт, переосмысливая и сгущая эти подробности жизни, всегда тяготел к обобщению, к точно найденному выражению того или иного отрезка времени, к формуле (так, при всей расплётности фонетики, бывало у Цветаевой: не стихотворение, а прямо таблетка какая-то, до того всё собрано, сконцентрировано, сгущено!), и его Собрание, наверное, можно было бы назвать – «Формула времени». Всегда важно, как, в каком качестве, в какой роли присутствует поэт в мире – и при жизни, и после смерти, – ведь стихи-то подлинные живут долго! – и не миссия поэта сейчас является предметом разговора, а его роль: собирателя ли и комментатора бытийных подробностей, то есть форм, или же человека, сумевшего создать в своём творчестве из этих подробностей, деталей, штрихов, наблюдений – синтез, сплав, то целебное и животворное питьё поэзии, которое создано – для жизни, для продолжения жизни, тот эликсир, после принятия которого – хочется жить.

Трагическое переплавляется и обращается в радость. А это великая сила. Слово несёт свет. Свет побеждает тьму. Возникает ощущение жизненного подвига.

В этом смысле Величанский и Губанов, такие разные, но тоже настоящие, поэты, трагические, своеобразнейшие, написавшие каждый своё большое Собрание стихов – и пока что, как и Шатров, не прочитанные, а многими даже и не раскрытые! – во многом сближаются с Шатровым: улавливают те же токи, трогают те же струны, слышат те же звуки, только трансформируют их каждый по-своему.

Шатров не просто жил как все люди – ел, пил, спал, чем-то интересовался, что-то любил или не любил и тому подобное, Шатров – был избран. И он это хорошо знал. Шатров – ведал.

Не случайно и в Ригведе, и в «Авесте» такое внимание уделяется месту поэта в обществе, не случайно поэтическое искусство оценивается как движущая сила, поддерживающая и укрепляющая космический миропорядок. Ведь поэт провозглашает истину. Поэт – это провидец.

Трудно в наше время знать, кто ты – и жить среди людей. Шатров предпочитал не выделяться, сознательно жил в стороне от человеческого хаоса. Хотя – куда было уйти от действительности? Отсюда в его стихах – столько различных напластований, столько параллельных тем, столько вещей второго – для него, разумеется! – и третьего плана,

лишь пройдя сквозь которые, лишь написав их, как бы зафиксировав человеческое своё существование на земле, воочию увидев мирское, нередко с его не лучшими чертами и приметами, он снова поднимался на свою высоту, писал свои «формулы времени», свои шедевры.

– Я не стихотворец. Я поэт. Сочинил и вслух произношу. И меня в живых сегодня нет, хоть как будто бы хожу, дышу... На земле у всех людей дела, у поэта – праздник целый век. Жизнь моя напрасно не прошла, потому что я – не человек.

Чего более всего хотел Шатров?

– Не ходить, а ступать... Не дышать, а вдыхать силы духа. Струи ливней встречая, как вольные струны стихий! Не глядеть – прозревать! Наклоня внимательней ухо только к шёпоту грома, когда он читает стихи. Говорить, как молчать. Улыбаться, как будто бы плакать. И чем крест тяжелей, тем под ним становиться прямой! Но, пока не пробили гвоздями ступней твоих мякоть, не ходить, а ступать... И упасть на земле не сумеи!

И вновь об этом же:

– Никто не ждёт меня нигде: ни в чёрном небе, ни в воде, а на земле уж и подавно... И только эта тишина со мной в постели, как жена, как я в себе самодержавно. Не смеет даже и слеза ко мне явиться на глаза... Всё сухо! Воспалённо сухо! И что ни пробовал я пить, ничто не может утолить неутолимой жажды духа.

По существу, вся поэзия Шатрова – единая песнь о становлении духа. У отдельного человека и у народа. В нашей стране. В наше, казалось бы, только и норовящее помешать этому процессу, время.

Земная, бытовая грязь как-то не прилипла к Шатрову. Бывали всякие, порой драматические ситуации. Он отстранялся от суеты, не давал себя втянуть в воронку унылой повседневности. А жизнь трясла и испытывала его жестоко.

Он устало признавался: «Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок с лишним лет...» Отстраняясь от однообразия будничных дней, он вовсе не отбрыкивался руками и ногами, не впадал в истерику. В его поведении, в его позиции, без всякой позы, наряду с окрылённостью, была удивительная трезвость. Он осмысливал каждый миг бытия, каждый отрезок времени. Он принимал своё время таким, как есть, со всеми недостатками его и достоинствами.

– Принимай каждый час, как дарованный свыше, как подарок Христа! И (о, чудо!) ты больше уже не напишешь, что душа твоя скорбно пуста. Успокоен вполне, помолиться попробуй, всем сомненьям назло! Ты силён! Поднимись над страстями и злобой. Это просто... Но так тяжело.

Это и дало ему право за год до смерти сказать:

– Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок с лишним лет, но сказать про то уполномочен более прозаик, чем поэт. Трезво регистрирующий факты, он их топит в колдовском вине, на ногах удерживаясь как-то, лишь из уважения ко мне. Я – другой, который настоящий, не слежу за стрелками часов, и внутри себя всё чаще, чаще, словно с неба, слышу чей-то зов: «Сын мой, ты промаялся довольно! Время собираться в новый путь. Колокол разрушил колокольню, ну а сердце изнасило грудь... Ты восходишь к незнакомым звёздам, к музыке невиданных светил... Мир земли, что был тобою создан, сущности твоей не захватил!»

Вспоминается автоэпитафия великого философа и поэта Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал».

Выдержка, терпение и умение ждать – вот что было крайне важным в характере и в жизненной позиции Шатрова.

– Когда я утомлюсь движением и покоем, круговоротом снов, мельканьем лиц и дат, когда мои стихи (до смерти далеко им) в последний раз меня звучаньем усладят, тогда, на берегу неотвратимой Леты, луч славы озарит безрадостную тьму, тогда лишь свой венок Великого Поэта из рук печальных муз я с горечью приму.

Написано и осознано это ещё в пятьдесят втором году. И уже тогда корпус шатровских стихов был велик.

Вот что было для Шатрова в пятидесятых очевидностью (так и названо стихотворение):

– Наискось, слышишь, наискось волны бьют. На искус, духи, на искус нас берут. Вовремя надо, вовремя уходить. С формами, ада формами, не блудить!

Да, у ада тоже есть свои формы. И надо вовремя уходить

Шатров свою смерть чувствовал, предвидел. Он к ней готовился. В последние годы очень много писал. Привёл в порядок свои тексты. Он говорил, что скоро уйдёт.

– Наискось от стены кружево хризантем... Дни мои сочтены, только не знаю, кем. Ты принесла мне жизнь! Лучшего не искал. Профиль безукоризнен... Страшен зубов оскал. Душно от штукатурок... Так-то на свете, брат. Хочется в Петербург, может в Ленинград. Хватит об этом, но... Милая, не кури! В общем-то всё равно перед лицом зари. Двигается тень ко мне, множатся голоса... Наискось по стене алая полоса.

Он вдруг как-то разом точно устал от жизни – рассказывала потом вдова поэта, Маргарита Димзе.

Очень схожее состояние было в тридцать втором году и у Максимилиана Волошина, как рассказывала его вдова, Мария Степановна, когда-то в Коктебеле нам, её ещё молодым слушателям.

Шатров был внутренне спокоен. Но чего стоило это спокойствие?

– Райская песнь, адская плеснь, сердца биенье... Юность – болезнь, старость – болезнь, смерть – исцеленье! Скоро умру... Не ко двору веку пришёлся. Жить на юру... Святость в миру. Жребий тяжёл сей!.. Что же грехи? Были тихи речи и встречи... Били стихи... Ветер стихий! Ангел предтеча... Как тебя звать? И отпевать ночь приглашаю. Не на кровать, в зеркала гладь! Только душа я! Опыт полезен. Случай небесен... Все на колени! Детство – болезнь. Взрослость – болезнь. Смерть – исцеленье.

И какая музыка возникала из этого состояния!

– Ударит ласточка в стекло, влететь не сможет... И наше время истекло: век жизни прожит. Я воплотился! Для чего? Для встречи чуда!.. И уйду, как Божество, – туда отсюда... Не плачь над прахом дорогим, довольно страха! Твоя любовь нужна другим. Ударь с размаха! Осколки брызнут в пустоту небесных комнат, где я стихи свои прочту, – тебя запомнят... О, не жалея пролитых слёз, всё не напрасно! От гиацинтов до берёз земля прекрасна! И даже эти кирпичи пустого склепа преобразуются в лучи!.. Но люди слепы... Прозрей, любимая, прозрей! Теряя силы, беги за мной, ещё скорей, чтоб воспарила...

Почему не услышали голос Шатрова при его жизни? Каково было ему постоянно ощущать на себе груз столько написанных, но не изданных стихотворений? С горечью он говорил:

– Я тот поэт, которого не слышат, я тот поэт, который только пишет, который сам себе стихи читает, которого поэтом не считают.

И, земнородный, я впитаюсь в землю, суду глухому мёртвым ухом внемля: напрасно исходил по капле кровью, иль безответной счастлив был любовью.

Такие состояния сменялись трезвым видением грядущего:

– Я не хочу лишь чудом случая раскрыться для миллионов глаз. Стихи – природное горючее, как антрацит, как нефть, как газ. Наступят сумерки печальные... (Они, уж кажется, пришли...) И будет чудо неслучайное: я вспыхну к вам из-под земли.

Эти сумерки столетия действительно пришли. Посмотришь назад, поднимешь глаза вверх – и словно видишь тот, неземной, двадцать лет назад начавшийся путь поэта:

– День июльский остывает. К вечеру ветерок свежей. В выси, даже сталью чуть отсвечивая, якорьки стрижей. Отчего-то нервы так натянуты, как лучи... Боль немой любви на фортепьяно ты залечи. Странно... Ничего не надо вроде бы от людей, вообще. Власяницу из стихов, юродивый, всё ношу вотще... Остывает кровь вослед за воздухом, Боже мой, по небу, что посуху, без посоха... Путь домой.

Моё обильное цитирование – необходимость. Если на то пошло, то стихи Шатрова – сплошная цитата. Открой самиздатовскую перепечатку – или, сейчас, к ней в придачу, и вышедшую книгу, – и всегда найдёшь что-то важное для себя.

Он сказал как-то:

– Орфей наоборот – Эфрон. Цветаева... Твои стихи со всех сторон читаемы.

Так же «со всех сторон читаемы» и стихи самого Шатрова. Послушаем поэта ещё раз:

– О, да воскреснет всех усопших прах! Пусть смерть с косою сидит на черепах их. Не шар Земля: она на трёх китах, придуманная Богом черепаха. Кит первый – Верность. Мужество – второй. А третий – бесконечная Надежда! Сто тысяч раз глаза мои закрой – сто тысяч раз любовь откроет вежды!

Итак, устои: верность, мужество, надежда. И, конечно же, любовь, движущая сила бытия.

Говорить о Шатрове можно долго – и должно о нём говорить. Но вначале надо издать его стихи. Надо прийти к нему.

– Приди ещё! И я скажу... Нет, не скажу, взлечу словами к небес седьмому этажу и упаду оттуда в пламя! А ты, бесхитростней земли, бессмертья лучшая дорога, – ты посмотри: меня сожгли! Приди и пепел мой потрогай...

Где-то совсем рядом –

– Свою невиданную лиру невидимый таит поэт.

Тот невидимка в своём волшебном доме, о котором говорилось выше.

Тот, кто сказал:

– Верю в Бога, потому что верю. Потому что жизнь иначе – смерть!

Кто сказал:

– Живи во власти святого долга.

Кто сказал:

– Будь вечно проводник Господней светлой силы...

Что же вы, живущие, вы, россияне, как принято сейчас выражаться, не откроете своего поэта?

Вышедшая в нью-йоркском издательстве «Аркада – Arch» в 1995 году большая книга Николая Шатрова, названная просто – «Стихи», – упрёк вам и призыв к вам.

Составителям и издателям книги – давнему другу Шатрова, Феликсу Гонеонскому, и поэту Яну Пробштейну – искренняя благодарность.

От всех россиян, для которых Шатров – их поэт.

За их верность. За их мужество. За их надежду. За их любовь.

А для вас, россияне, – автоэпитафия поэта:

– Каждый человек подобен чуду. Только гений – тихая вода. И меня как смертного забудут, чтоб потом вдруг вспомнить навсегда.

Остаётся верить, что сбудется это пророчество Николая Шатрова.

P. S. Со времени написания моего эссе о Николае Шатрове прошло немало лет. Но всё-таки оно не устарело. До сих пор никто в России ничего подобного об этом выдающемся поэте с трагической судьбой не написал. В издательстве «Водолей» выходила большая книга избранных стихов Шатрова «Неведомая лира», изданная на средства шатровского давнего друга Феликса Гонеонского, мизерным тиражом, и сейчас её невозможно найти. Откликов в печати на неё не было. Странное отношение у современников к одному из самых значительных поэтов нашей страны. Сам я сделал немало публикаций стихов Шатрова в периодике и продолжаю их делать. И написал о нём в своих книгах прозы.

О наследии Шатрова – вкратце.

Вдова Шатрова, Маргарита Димзе, в конце восьмидесятых попросила меня сохранить рукописи Николая, принесла много вместительных тетрадей, в которых на каждой стороне листа поэтом были записаны стихи. И тетради эти несколько лет были целы. Но в девяностых годах Маргарита доверилась одному негодяю, вызвавшемуся быть её душеприказчиком, – и они вдвоём забрали рукописи, якобы для публикаций. Потом этот тип унёс из Маргаритиной квартиры вообще всё, связанное с Шатровым. И – куда-то надолго исчез. Вместе с ним пропали и все рукописи Шатрова. Позже мне говорили, что этот псевдодушеприказчик стал мусульманином, сменил фамилию – и окончательно растворился в неизвестности. Маргарита умерла. Какое-то количество стихов Шатрова, в самиздатовских перепечатках, есть у меня и ещё у нескольких людей. Но полного свода шатровских стихотворений и поэм в России больше нет. И это – настоящая трагедия. И всё же свет в этой ситуации появился. В Америке обнаружилось всё наследие Шатрова, все его вещи, в прежнюю эпоху переписанные Феликсом Гонеонским, – и это единственный в мире полный свод шатровских стихов, который, надеюсь, вернётся домой и станет достоянием благодарных отечественных читателей и издателей.

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ

Родился в 1970 году в Сумгаите. Окончил Московский физико-технический институт.

Прозаик, поэт. Лауреат премии имени Ю. Казакова (2005), премии журнала «Новый мир» (2005), «Русский Букер» (2007), «Большая Книга» (2010). Живет в Израиле.

Из книги «ВООБРАЖЕНИЕ МИРА»

ТРУД ЧЕХОВА И ГЕРЦЛЯ: 1860–1904

1

Имя «Макар» происходит от антично-греческого «макариус» – «блаженный». Ветхозаветные Острова Блаженных задали европейской утопической мысли образ рая. Эти неведомые острова всегда отодвигались за край ойкумены с каждым ее расширением, в результате географических открытий или завоеваний. На этих островах в воображении смертных благочестивое собрание избранных прогуливалось по Елисейским полям, где наш Макар даже и не мечтал пасти своих телят.

Зато Остап Бендер верил, что справится с такой задачей, что доберется на «Антилопе» вместе со своей апостольски немногочисленной паствой до тучных пастбищ Элизиума. Ибо он был фигурой поистине мессианского масштаба. Рио-де-Жанейро, в сущности, для него – Город Золотой, билет в который нельзя оплатить честной (однако ординарной чечевичной похлебкой, трудом), – но можно заслужить работой воображения, основным инструментом цивилизации: заслужить умом и смекалкой (рядом «комбинаций», набором «честных способов отъема денег»). Остап преследовал мечту, как Колумб – удвоение мироздания с помощью открытия Нового Света; как смертельно раненный король Артур – целебный остров Авалон, царство феи Морганы. Узвлeнный копьeм существования, «сын турецкоподданного» (намек на по-королевски высокое происхождение: многие крупные зерновые дельцы портофранковской Одессы становились турецкими поданными ради торговой выгоды), Остап Бендер поэтически презирал реальность и был устремлен в воображение, как в ложесна обетованной возлюбленной, в жизнь теплую, сытую, лишeнную страданий. Он – Пугачев и Стенька Разин, некогда стремившийся через бунт против казенной

неволи к райской добыче, в виде иной феи – персидской княжны. Остап так же вешает комендантов и жрецов действительности, советского Мордора, как это делал Пугачев. Бендер обретает дружескую помощь двух родственных хоббитов – Балаганова и Паниковского, заражает их поиском сокровенного кольца – золотой двухпудовой гири. Он бросает вызов татю Корейке, нажившемуся на несчастьях 1921 года. И одерживает великолепную, хотя и пиррову, победу, так же, как и Разин – княжну, выбросив за борт добытый ценой жизни билет на Острова Блаженных.

К тому же Бендер в каком-то смысле сионист, авантюрно-пародийный вариант Теодора Герцля (вероятно, одна из первоначальных попыток создания Еврейского Государства в Южной Америке не осталась незамеченной авторами «Золотого теленка»). Это о его возлюбленной фее по имени Рио писал Чехов, когда рефреном уповал (саркастически, но с тайной серьезностью) на страну «людей будущего», той эры, что возникнет «может быть, через сто, через двести лет, когда человек станет честен, справедлив и прекрасен».

2

Труд – один из главных героев Чехова. Если у Чехова есть философия – то это философия труда как светлого будущего.

Философия труда – хоть проста и величественна, но драматична:

«– Мне кажется, вы правы, – сказала она, дрожа от ночной сырости. – Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы всё».

– Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы признали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет – человечество выродится, и от гения не останется и следа».

3

Труд, Мир, Май – оживляющими заветами реяли над детством. Труд, снискавший у Энгельса славу, выпрямлял позвоночники и принуждал спуститься с деревьев на землю. Чтобы землю эту рыть. Рыть сначала окоп, километры окопов, а когда война победит, зарываться от нее вглубь, искать в ней, глубине, себя, в потемках искать врага, его обнимать, душить, кормить черноземом... Труд войны – он всегда на мази, он хлеб мирной жизни, потому что он труд, он стремление: работай – скоро война. Или нет, впереди счастье, войны не будет. Тогда работай для счастья, забудь, что оно тоже – война, вот котлован, вот твое место для счастья, вот колоссальный, многомиллионный кубометраж, он гнетет, поднимаясь, отражаясь в просторе воздушных могил, вознесенных теми, кто лег в котлован. Как сваи, мириады арматурных и свайных костей – фундамент труда, который есть счастье, работай, не думай, много работай, поднимай дневную норму, не снижай, не умножай поколенья труда, помоги им!

Мертвый летчик реет над землей, которую ты роешь, реет в колыбели под брюхом твоего котлована, дирижабля – пустившего пальцы, корни Труда в небо.

И шар поворачивается, тень наползает.

4

Труд в различных мыслительных ракурсах драматически существует почти во всех произведениях Чехова. В «Дяде Ване» – Астров, Войницкий, Соня бессмысленно трудятся на благо безличного Серебрякова и Природы. «Дом с мезонином» всей своей страстной любовной диалектикой основывается парадоксально на полемике художника и девушки, бестолково увлеченной народничеством. В «Черном монахе» – трудолюбивый садовник и его дочь, да и сам Коврин, пришедший через беззаветный труд к сумасшествию, к тщете: все бесплодно – труд любви, труд сада-жизни, труд лучших мыслей.

Так как следует трудиться, чтобы не сойти с ума? Как уберечься?

«Скучная история» – тщета академических трудов и построений. «Дуэль»: фон Корен превозносит труд; и от противного – туняец, трутень, душевный ленивец Лаевский, которым фон Корен решительно готов пренебречь как паразитом, на глазах – по мере чтения преобразуется в трагическую личность, исполненную не сплинового нытья, а полновесных экзистенциальных смыслов.

5

«Я написал комедию. Плохую, но написал», – сообщает Чехов Плещееву о завершении работы над «Лешим». Позже он переделает пьесу в «сцены деревенской жизни», по сути, – в трагедию – и назовет «Дядя Ваня». Поражает, как прекрасно работает редаKTура по принципу отсечения лишнего. Астров становится второй ролью, но тоже очень важной, – а проходной, почти водевильный Войницкий становится едва ли не королем Лиром.

У Чехова в пьесах специально никто ничего не делает, чтобы, исполнившись томления, прийти в драматическое состояние и поговорить о труде. И в конце, после кошмара поставленных и неразрешенных вопросов – им заняться.

Труд – это такой Годо, которым никто не занимается в течение пьесы, но о котором время от времени все говорят. Пьеса, таким образом, выходит словно бы трагическая пауза в смертном мороке труда.

Однако Астров справедливо чертыхается: из-за вас я угробил три месяца.

Занавес падает, и Труд вновь возобновляется – как небытие – на долгие годы. В этом – закономерная ирония: искусство – пьеса, рассказ – суть передышка.

«Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем. Я верую, дядя, верую горячо, страстно... *(Становится перед ним на колени и кладет голову на его руки; утомленным голосом.)* Мы отдохнем!»

6

Почему «Дядя Ваня» – дядя? Видимо, таким обращением автор вызывает к нему в зрителях симпатию, доверие, веру в то, что он обладает подлинным знанием о мире. «Скажи-ка, дядя...» И потому, что только Соня могла назвать его дядей. Трудлюбивая, некрасивая, несчастливая девушка.

Отец ее Серебряков безличен – он символ тяжелого труда, центр, темное, слепое пятно, на которое все трудятся. Что он пишет в своем кабинете, какую тщету – никто не знает. Он – сгусток пустоты и безразличия. Сцена его примирения с Войницким, управляющим его имения, многие годы спустившим на поддержку его благосостояния, его тщеты, – ужасна как повторяющийся дурной сон, обреченный на вечный круговорот возобновления.

Мир нужно строить на земле, а не ждать смерти как воздаяния. Нужно скорее просвещаться, а не ждать, когда тебе исполнится 47 лет, возраст дяди Вани – возраст проигранной жизни.

7

Чеховская биография, как и произведения, изобилует драмой труда: Таганрог, тягло прилавка, забубенная церковная служба, позже, в Москве, куда семья его бежит от долгов, – ярмо мелких вещиц на заказ и т. д. Отец писал ему в Таганрог: мол, много шутишь в письмах, а мы тут без свечей сидим, где хочешь, а добудь денег к такому-то числу.

В части лавочных дел Павла Чехова автобиографичен образ Лопатина из повести «Три года». Потомственный лавочник Лопатин выделяется из обычаев семьи стремлением к светлому мыслительному труду. Отец и брат его поглощены торговой деятельностью, скрупулезной, трудоемкой, жалкой, мелочной, заморочной, узаконенной обилием церковных ритуалов. Отец бессмысленно старится, слепнет, брат Лопатина сходит с ума, от отчаяния увлекшись бессмысленным философствованием – своей страстью, подспудной, как выяснилось в конце повести.

Так вот, в сцене объяснения с будущей невестой труд – главный мотив, как и полагается навязчивой идее.

«– Меня нельзя беспокоить, – ответила она, останавливаясь на лестнице, – я ведь никогда ничего не делаю. У меня праздник каждый день, от утра до вечера.

– Для меня то, что вы говорите, непонятно, – сказал он, подходя к ней. – Я вырос в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины.

– А если нечего делать? – спросила она.

– Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни».

8

Так каким должен быть труд, чтобы он был основой чистой и радостной жизни? Ответ на этот вопрос – вместе с его невозможностью – составляет существенную часть движителя чеховского письма.

И не только письма. На Сахалин он поехал именно в связи с обобщенностью размышлений о человеке как страдательном залоге простой

и беспощадной жизни. (Мыслимо ли?! – Чехов-труженик переписал всё каторжное население Сахалина – и после составил подробнейший, уникальный отчет о поездке.)

Очевиден безвыходный пафос: освящение труда. Труд должен быть светел. Копать нужно не землю, а воздух, свет: то, из чего состоит воображение.

9

Кроме того, что «Улисс» наследует «Скучной истории», важно: Антон Чехов точный ровесник Теодора Герцля (на полгода раньше родился, умер двумя неделями позже); вдобавок: работа «Еврейское государство» (гимн будущему) опубликована в год провала «Чайки» – гимна жизненной неудаче.

Герои Чехова, когда из беспомощности бормочут о том, что «...когда-нибудь, лет через сто или двести, человек станет прекрасен», – по сути, чревоуважают идеи Герцля, – конечно, без особого понимания сущности вопроса.

В этом (но и не только в этом) выражается глубинное родство еврейского и русского национальных сознаний, которые оба содержат в своих ядрах одну и ту же проблему мессианства и освобождения.

Этот клин между сионизмом и иудаизмом, оказавшийся очень продуктивным, поскольку осмыслен Равом Куком, – и есть часть пропасти, что разделяет берега исторического развития России и Израиля, состоящие из геологических пород одного происхождения.

ГЛУБИНА МИРА

Михаил Бахтин, вспоминая о Марии Юдиной, говорил: «Музыка религиозна по самой своей природе». Это необычайно интересное и важное утверждение, интуитивно очевидное, но если задуматься, то глубокое и подлежащее изучению. В самом деле, наиболее точное описание мышления о тайне, мысли о тайне – можно было бы представить именно и только музыкой. Непредставимое в своей основе не обладает человеческим языком, зато обладает звучанием. По этой же причине поэзия наиболее подходящий язык для произнесения неизъяснимых сущностей, чем речь, ибо содержит просодию, меру времени, вечности. Музыка формирует и откликается, находится в диалоге с душевным, духовным, одним словом, эмоциональным опытом существования. Чаще всего на вопросы: «Что вы пережили? Как вы пережили?» – нечего ответить. Литература тут явно беспомощней, чем музыка. Скажем, Пятая симфония Шостаковича точнее говорит об эпохе террора, чем «Поэма без героя». Ибо поэзии вообще не стоит браться за невыразимое (страшное, прекрасное и т. п.), лучше оставить это музыке. (Ахматова понимала это хуже, чем Данте.) Именно поэтому великие мистики, пророки и евангелисты так естественно переводимы на музыкальный язык. Бах, в сущности, без зазора (слов) и без посредников (лирического героя) адресовался к Богу и Его выражал.

Но чем еще измеряется глубина мироздания, кроме музыки сердца?

Видел недавно нобелевскую медаль Альберта Эйнштейна. Небольшая, не больше ломтика пеперони, червонного золота. Вручена за открытие фотоэффекта, формально, но на самом деле за теорию относительности. Охранник с картофельным носом, как у Рембрандта, со спины присматривал, как я стираю пальцами пыль со стекла тусклой витрины.

Некогда наука не отличалась от мистических исследований. Во II веке до н. э. библейский Енох сообщил человечеству, что звезды суть огненные горы, обладающие протяженностью, а не дыры в куполе небесных сфер.

В XX веке общая теория относительности сообщила человечеству о законах пространства и времени, которые соблюдаются с немислимой точностью: на семь порядков большей, чем законы классического, видимого мира, законы Ньютона.

Следовательно, законы воображения, законы невидимого мира, – если угодно, мира мистики (для «непосвященных»), законы, например, не познаваемой для большинства квантовой механики – сущности фундаментальные не только для мироздания, но и для человеческой жизни. В то время как разум обыденности все еще находится в рамках, в которых грозovou молнию проще приписать колеснице Ильи-пророка, а не уравнениям Максвелла.

Когда не было квантовой механики, человек прекрасно без нее обходился. Сейчас такой «изоляциялизм» профанического существования не только бессмыслен, но и служит злу. И не только в плане общего ущерба просвещению. Но хотя бы потому, что корневой принцип этики – принятие во внимание мира иного сознания (того самого библейского «ближнего») – лежит в основе принципа неопределенности Шредингера (см. интерпретацию Эверетта, 1957). Ибо метафизика – в сущности, и есть физика: почти все, что нас окружает и изменяет мир, основано на законах той области мироздания, что была открыта благодаря только пытливости разума, но не полноты эксперимента. Наука давно плодотворно не столько заменяет теологию, сколько ее углубляет.

Глубинное содержание мира непредсказуемо. Оно выше логики, и от ученого требуется постоянная готовность к открытию в мире связей, несовместимых с привычным мышлением. Как воображение оплодотворяет мир и рождает новый смысл? В 1920-х годах остро стояла проблема смены научной парадигмы. Новое видение физического мира не укладывалось в сознании ученых. Новое мировоззрение, связанное с открытием микромира, требовало пересмотра основных положений в философии науки.

Истина – это та сущность, что открыто прорастает в мир. Ложь – обрезанная сухая ветка. XX век – грудa такого валежника: идеологий, фундаментализмов и т. д. Костер этот то тлел, то сжигал, и сейчас разгорается, чтобы полыхнуть в полный рост. Трагедия большой войны не за горами – это не понятно только тем, кто верит в победу.

Если отвлечься от исторических деталей, проблема человечества остается той же, что и в XX веке: есть мораль или ее нету. Гитлер считал, что главную загвоздку для человечества – мораль – придумали евреи. В общем-то, именно поэтому он и решил совместить устранение этого препятствия с уничтожением его, то есть морали, «изобретателей».

В чем надежда на то, что удастся снова справиться с пришествием Хама? Как бы это идеалистично ни воспринималось (хотя в законах природы мало романтизма): надежда в том, что наука – а именно квантовая механика – дает нам основания говорить, что основной принцип этики – необходимость принятия в расчет мира других личностей – есть следствие законов природы, а не случайная мутация культуры. Именно это является главным оружием против тьмы: ибо можно победить человека, народы, государства и империи. Но не законы природы, благодаря которым Кант дивился моральному императиву и звездному небу.

Роль квантовой механики в сознании XXI века должна преобразить мышление и образ жизни человека. Сколь бы утопически это ни звучало. Ибо только с помощью утопии мир способен потянуть себя за волосы из бездны.

ЖАНР РАССКАЗА

– Рассказ сочиняется сродни тому, как придумывается стихотворение: небольшой текст должен быть таким, чтобы в результате его прочтения в мире должно что-то измениться. Роман – это другое «изменение» мира, скорее «развитие». А рассказ – это короткий миг сгоревшего в реальности, но навсегда оставшегося на сетчатке метеора – падающая звезда, исполнившая желание, которое как раз и есть то самое искомое изменение мира. Но это чересчур общий, конечно, принцип. Рассказ может возникнуть из чего угодно – даже не из истории, а всего только из некоего речевого напора, удачной или загадочной фразы. Есть рассказы, которые придумываются своим финалом, есть такие, о которых прежде понятно только, как они начинаются. Но я считаю, что рассказ должен придумываться целиком, пусть он много раз переменится в процессе написания, но раньше всего он должен видиться весь, насквозь. И, конечно, в рассказе не может быть лишних слов и тем более фраз.

– Мне нравятся рассказы, в которых история тождественна персонажу, неотделима от него, выражает его в полной мере. Скажем, в романе можно как-то еще отъединить способ выражения от характеров, но в рассказе всё должно быть слитно. Рассказ лучше всего придумывать на заданную тему, но не с заданными персонажами. Рассказ появляется тогда, когда ты настроен на стайерское усилие размышления. Редко когда рассказ рождается сам, исходя из настроения, а не настроения.

– Рассказ рождается целиком, повторюсь, и записывать стоит его сквозной план. Детализация не так уж важна, это один из последующих этапов. Что записывается прежде всего? Как раз вот то самое зерно, благодаря которому мир слегка поворачивается вокруг оси. Нет этого зерна – нет и проросшего рассказа.

– Начало обычно отбрасывается потому, что часто рассказчик сперва раскачивается, и второй и третий шаги оказываются энергичней первого. Насчет финала – у меня специальных рекомендаций нет, мне кажется, тут каждый придумывает что-то особенное. Бабель говорил, что хорошо, когда точка в конце предложения входит в сердце читателя, как раскаленный клинок. У Зощенко таких точек нет, зато есть звонкие, как червонцы, штучные словечки, и фразы, и истории. В общем, надо хорошо стараться. И не только в финале.

ПЁС ПЕРЕСЕКАЕТ ОСЕНЬ

Если бы мы были инопланетянами, наши книги, нарративы вообще, возможно, имели бы совсем иную структуру. В детстве у меня была привычка читать книжки задом наперед. Я перенял ее у бабушки, которая говорила, что так легче понять, стоит ли тратить время на книгу. Это хорошая привычка, не только из соображения экономии. Часто у книг линейное строение, а в текстах, в которых прежде говорится о том, что становится понятно только в конце – по крайней мере, появляется дополнительная интрига. Иногда, работая над текстом, особенно коротким, стоит попробовать его переписать в обратную сторону и посмотреть – вдруг так лучше. Не говоря уже о том, что начало рассказа почти всегда стоит вычеркивать, и помнить, что простая перестановка абзацев может все преобразить до неузнаваемости. «Циников» Мариенгофа точно интересней читать, начиная именно с последней страницы.

Кстати, интуиция иногда подает знак, что сознание не развернуто во времени (именно поэтому, в частности, возможно раскаяние – феномен, нарушающий причинно-следственный принцип). Сознание похоже, скорей, на абсолютно твердый шар. Наша мысле-речь – глупые граффити на ее вездесущей поверхности, чей центр нигде. Сознание обладает некой фундаментальной элементарностью, «атомарностью» – и потому к нему, вероятно, применима квантово-механическая парадигма, с чудесными следствиями: туннелирования («телепортации»), пребывание в воображаемом мире) и спутанности волновых функций («телепатия», понимание одного субъекта другим, общезначимость логики). Это как минимум. А как максимум именно благодаря таким свойствам сознания мы обладаем воображением и, следовательно, культурой.

Отчасти именно благодаря тому, что сознание – сущность цельная, ностальгия не существует, то есть это жупел – нечто продолжительно бессмысленное, вроде того, как Янковский в фильме Тарковского посреди Тосканы глядит на пустую бутылку «Русской водки» под ногами. А вот узнавание запахов детства – это род озарения, когда несколько капель вечной жизни попадают на пересохший язык.

Например, когда слышишь (теперь очень редко где) запах углекислоты, – это мгновенный способ ощутить спасительное утоление жажды (баллоны сзади автоматов газводы травят). Или вкус мороженого из дымного ящика с сухим льдом. В детстве вода на жаре была счастьем и удачей – это сейчас в ходу пластиковые бутылки и рюкзаки-поильники, а тогда напиться во время похода значило: выйти из лесу к деревне, найти колодец, да еще подражаться с местными; или на реке расчистить родничок и припасть к хрустальному фонтанчику с песчинками, зубы ломит.

А запах креозота? Он исчез совсем – уже в моем детстве все более или менее серьезные дороги были с железобетонными шпалами. Креозот – и то уже выветрившийся – можно было унюхать у телеграфных старых столбов и на узкоколейках. Теперь я его слышу только на старом вокзале Тель-Авива, где в точности реставрировали подъездной участок: музейный запах. Почему не создать музей запахов? Я бы вдохнул пороховой запах Бородинской битвы. Или запах зарослей папоротника и хвоща – аромат палеозоя.

Казанская железка воняла тамбуром скорого поезда, мазутом, протекшим с цистерн, и горячей зеркальной сталью.

Креозотом еще пропитывали кабельные катушки – циклопические бобины с нитками великана: толщиной в руку кабелем, обмотанным промасленной бумагой и облитым гудроном. А вместе с этими катушками появляется и Вен. Ерофеев на кабельных работах под Лобней: строительный вагончик, горизонт, с низких облаков свисают до земли космы дождя, на березе ссорятся мокрые галки, раскисший октябрь; капли трогают черную воду в канаве, облетевшая лесополоса, по ее краю бежит с поджатым хвостом собака; рабочие в вагончике разливают и звонко сдают буру замусоленной распухшей колодой. У траншеи темнеют эти катушки с кабелем, а Вен. Ерофеев, сидя на пороге вечности, посматривает зорко на бегущую собаку и в конторской тетради выводит шариковой ручкой последнюю русскую прозу.

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет, работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Кандидат филологических наук, критик, музеолог. Доцент кафедры музыкальной журналистики Нижегородской государственной консерватории.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забывтая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«Я ПРОСТО РУССКИЙ МЕЩАНИН...»

Пушкин – Минин – Нижний Новгород

Единственный приезд Пушкина в Нижний Новгород в сентябре 1833 года был связан с его поездкой по местам пугачевских событий в Поволжье и Приуралье. Прямым итогом этой «творческой командировки» стали исторический труд «История Пугачева» и бессмертный роман «Капитанская дочка». Но, заехав на обратном пути в Болдино, он «расписался». И россыпи «уральского злата», как называли приятели творческий урожай его путешествия, пополнили написанные в Болдине поэма «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», поэма «Анджело», сказки, стихи, переложения из Мицкевича...

Нижний Новгород был второй после Москвы большой остановкой на пути поэта «к Пугачеву». Двухдневной. Казалось бы, что такое два дня... Но, как и всегда бывает с гениями и мыслителями, чей каждый прожитый на земле час движет непрерывный духовный труд, он много «прожил» за эти два дня. Обратимся к первому из них. Это было в субботу 2 сентября 1833 года. Утром, сдав лошадей и отметив подорожную в Почтовой конторе, Пушкин разместился в гостинице и отправился знакомиться с городом.

* * *

Единственный мощный спуск из верхней части города на Нижний посад, дальше к Окскому плашкоутному мосту и на ярмарку шел через территорию кремля от Дмитриевской до Ивановской башни. Проезд на него с Благовещенской площади в виде широких арочных ворот был в 1814 году пробит в крепостной стене справа от Дмитриевской башни. Ивановским спуском следовали все – и груженые дровами и прочими габаритными грузами колымаги, и «чистые» экипажи, и извозчики. Так что, отправляясь «на ярманку, которая свои последние штуки показывает», Пушкин проезжал через кремль. Проезжал уже во второй раз: он и утром, отправляясь в Федоровские городские бани под Часовой горой, спускался этим путем. Так что он снова наблюдал проездом тогдашнюю довольно густую кремлевскую застройку. Полицейская будка, гауптвахта, Спасо-Преображенский, Успенский и Михайло-Архангельский соборы, церковь Симеона Столпника, присутственные места, вице-губернаторский дом, монастырские подворья, жилые дома чиновников, священников и церковного причта...

Но он торопился увидеть ярмарку. Поэт помнил, как по дороге в Болдино осенью 1830 года встретил паническое бегство торговцев с Макарьевской ярмарки, прогнанных холерой. «Бедная ярманка, – писал он, – она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!» И в Болдине он думал о ярмарке, работая над «Путешествием Онегина»:

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет,
В отчизну Минина*. Пред ним
Макарьев суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европейец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик – спелых дочерей,
А дочки – прошлогодни моды.
Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух.

Так изобразил он знаменитое торжище, не видя его. Увы, увиденная воочию Нижегородская ярмарка 1833 года, наверное, разочаровала его: по большей части заколоченные уже лавки и павильоны, тишина и малолюдье. «Ярманка кончилась. Я ходил по опустелым лавкам. Они сделали на меня впечатление бального разъезда, когда карета Гончаровых уж уехала...»

Возвращался снова через мост, по богатой купеческой улице Рождественской и через кремль. Допустим, что он не только в очередной раз проехал по Ивановскому спуску, пересекающему кремль, но и вышел из извозчичьей коляски, чтобы там прогуляться. Этот город был

* Эти две строчки остались в первоначальном – болдинском варианте восьмой главы (1830), остальные вошли в окончательный текст публикуемых Отрывков из Путешествия Онегина.

для него прежде всего «отчизной Минина». А в кремле многое о нем напоминало. Обновленный кафедральный Спасо-Преображенский собор был только что заново отстроен. Шла завершающая отделка здания. Если считать от сооружения первого белокаменного Спасского собора в XIII веке, это был четвертый по счету Спасо-Преображенский собор в Нижегородском кремле, главный в городе. В подцерковье его алтарной части как раз в 1833 году шло «устройство мраморной гробницы с бронзовыми украшениями знаменитому и незабвенному избавителю Отечества». Скорее всего, храм был еще закрыт для посещения, и гробницу Минина Пушкин не видел. Но о том, что именно здесь покоится прах великого нижегородца, конечно, знал.

Упоминания о Кузьме Минине в пушкинском творчестве довольно часты. Начиная с его задорной эпитафии лицейских лет, направленной против вычурной поэмы архаиста С.А. Ширинского-Шихматова:

«Пожарский, Минин, Гермоген,
Или Спасенная Россия».
Слог дурен, темен, напыщен –
И тяжки словеса пустые.

Первые две строки – это название поэмы Ширинского-Шихматова. Третья и четвертая строка были приписаны Пушкиным к заглавию прямо на обложке книги из лицейской библиотеки. Юный Пушкин уже тогда уловил ложный пафос в обращении к имени Минина. Через полтора десятка лет в неоконченном романе «Рославлев», посвященном событиям Отечественной войны 1812 года, повзрослевший Пушкин снова поднимал тему патриотизма, истинного и ложного. И снова вспоминал Минина. С иронией он писал, как с появлением известий о нашествии Наполеона «гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский <...>; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».

Рассуждая об уничтожении исторических родов в неоконченном «Романе в письмах», Пушкин устами одного из героев сетовал: «Какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гражданину Минину и князю Пожарскому. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства...» И хотя новейшие исследования доказали, что Кузьма Минин и Кузьма Сухорук все-таки разные люди*, речь у Пушкина, конечно, не об этом, а о том, как мало знаем мы о своих героях.

Кстати, история с этим памятником ведь чисто «нижегородская». И об этом Пушкин, скорее всего, знал. Первоначально двухфигурный монумент, выполненный И.П. Мартосом, задумывался для установки в Нижнем Новгороде, на родине Кузьмы Минина, где он и начинал в 1611 году собирать народное ополчение и средства на его вооружение для обороны Москвы от польско-литовских захватчиков. К двухсотлетию его подвига, то есть к 1811 году, нижегородцы даже собрали день-

* Пудалов Б.М. Начальный период истории древнейших русских городов Среднего Поволжья. Нижний Новгород, 2003. С. 88.

ги на его сооружение. Но, в конце концов, памятник героям народного ополчения был воздвигнут в 1818 году в Москве, чем значение его поднималось до общероссийского, тем более после освобождения Москвы от новых захватчиков – «Великой армии» Наполеона*.

А Нижний Новгород получил памятный обелиск, установленный на вершине Часовой горы в Нижегородском кремле в 1828 году, – стелу из карельского розового гранита с позолоченными горельефами, выполненными по эскизам того же И.П. Мартоса. На одной стороне надпись гласит: «Гражданину Минину благодарное потомство», и богини славы в античных одеяниях возлагают на его голову лавровый венок. На другой, с тем же сюжетом, венок возлагается на голову князю – «Князю Пожарскому благодарное потомство». Если Пушкин подходил к обелиску, он, конечно, заметил – надписи эти явно перекликались с надписью на памятнике, оказавшемся в Москве: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

...А ведь прав Пушкин, считавший надпись эту «не удовлетворительной» (как сейчас бы сказали, некорректной). И не только потому, что имен нет. Если называть социальный статус каждого из вождей великого ополчения, то Дмитрий Пожарский – князь, а Кузьма Минин – или мещанин, или думный дворянин (кстати, в 1616 году рядом с Мининым в Думе заседал предок поэта Гаврила Пушкин). Если же говорить о гражданском подвиге обоих, то в этом смысле князь Пожарский не менее мещанина Минина достоин звания Гражданина. Может быть, поэтому в стихах у Пушкина Минин чуть ли не демонстративно обозначается как «Нижегородский мещанин». В поэме «Езерский» о судьбах русского дворянства:

Во время смуты безначальной,
Когда то лях, то гордый швед
Одолевал наш край печальный
И гибла Русь от разных бед <...>
И за отчизну стал один
Нижегородский мещанин...

В болдинском стихотворении «Моя родословная»:

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин...

В «Моей родословной» он даже и себя к этому почитаемому им протонародному сословию аллегорически причисляет: «Я просто русский мещанин».

Двести лет разделяли подвиг мининского народного ополчения 1612 года и народный подвиг в Отечественной войне 1812 года. Обелиск, посвященный памяти Минина и Пожарского, стоял в Нижегородском кремле на одной линии с памятником Нижегородскому ополчению времен войны с Наполеоном – Успенским военным собором (на его месте

* Проезжая по Ивановскому спуску вверх, к Ивановской башне, у подножия которой Минин призывал своих земляков «не пожалети животов своих», Пушкин проехал мимо того места, куда в 2005 году, благодаря дару Зураба Церетели, копия московского памятника «вернулась» в Нижний.

сейчас здание областной администрации). Они составляли как бы единый ансамбль, и проектировал их один архитектор – А.И. Мельников.

О событиях, связанных с пребыванием в Нижнем Новгороде московских беженцев в 1812–1813 годах, Пушкин хорошо помнил. Среди них была, по-видимому, его семья – отец с матерью, сестрой и младшими братьями, бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, тетушка Анна Львовна, дядя Василий Львович. Они, наверное, потом вспоминали при нем Нижний и нижегородцев, принявших их «под свой покров». Здесь жила в то время семья горячо почитаемого им Николая Михайловича Карамзина, чьим продолжателем на поприще историографа он видел себя тогда. Здесь жил поэт Константин Батюшков и многие другие его знакомые.

До наших дней чудом дожил маленький и простой деревянный домик в начале Тихоновской улицы (ул. Ульянова, 8), построенный титулярным советником С.С. Вороновым. Это типичное для начала XIX века и чуть ли не единственное сохранившееся в Нижнем за двести с лишним лет деревянное жилое строение. А вместе с домиком жива и легенда о том, что в войну 1812 года в нем нашли приют москвичи. Среди которых был даже якобы то ли дядя поэта Василий Львович Пушкин, то ли сам Карамзин. А это ведь буквально в двух шагах от деулинской гостиницы, где квартировал в сентябре 1833 года Пушкин-племянник.

Пребывание московских беженцев в Нижнем Новгороде в 1812 году, несмотря на невероятную тесноту и неустроенность быта, оставило отчетливый след в культурном облике провинциального города. Москвичи привезли книги, модные журналы и портних, в городе появились книжные лавки и магазины товаров, о которых в Нижнем и не знали раньше, например, тонких перчаток и хлопчатобумажных тканей. В дворянском собрании и в доме вице-губернатора А.С. Крюкова на Покровке устраивались балы и маскарады. Там не только танцевали, там шла большая карточная игра. На вечерах музицировали, читали стихи. В том числе написанные по горячим следам нижегородской жизни. Все знали наизусть «Послание к нижегородским жителям» московского поэта Василия Львовича Пушкина:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов...

По свидетельству студента эвакуированного в Нижний Московского университета шведа Эрика Густава Эрстрёма, чей дневник недавно опубликован, появлялись и отклики на это стихотворение местных стихотворцев:

Придите же под наш покров,
Других питомцы берегов...

Художественная и театральная жизнь города оживилась. Стихотворные отражения суровых исторических событий и небывалого патриотического подъема после победы над Узурпатором продолжали появляться в городе и тогда, когда большая часть беженцев вернулась в Москву, – поэма Н. Протопопова «Чувствования уроженца Нижнего Новгорода, живущего в Казани, по получении известия о занятии Москвы французами в сентябре месяце 1812 года», «Песнь императору

Александр I Благословенному на победу его над Императором французским Наполеоном», написанная Иоанном Миловским, священником села Кочкурово Лукояновского уезда.

Отечественная война 1812 года осталась и в художественной памяти простолюдинов: в лубках, легендах, частушках, анекдотах. Довольно много историй связано было с жизнью в Нижегородском крае пленных французов, уже после разгрома неприятеля. Например, такая. В ее основе реально существовавший, хотя и довольно экзотический народный промысел. Медвежий. В уездном Сергаче испокон века дрессировали медведей и обучали их разным «штукам» для показа на ярмарках. Как-то сергачский начальник, желая показать пленным чужестранцам диковины своего уезда, велел собрать лучших медвежатников на смотр. Было отобрано тридцать медведей – самых крупных и самых ученых. И в один из теплых весенних дней французам показали невиданное зрелище. Через базарную площадь под звуки «губернаторского марша», держа ровный строй, в сопровождении своих вожатых в ярких рубахах, с важным видом прошли тридцать медведей. Каждый из них держал на плече выструганное из сосновой палки ружье. Когда по команде дрессировщиков медведи сделали полный ружейный прием, у «басурманов языки отнялись». В письмах домой они будто бы писали потом: «Попробуй, повоюй с этой Россией...»

Легенду о медвежьем параде мог слышать Пушкин в дни первой Болдинской осени 1830 года во время пребывания в Сергаче, где оформлялось его владение частью болдинского имения, подаренной ему отцом к свадьбе. Это были 200 крестьянских душ села Кистенево, входившего в Сергачский уезд. Известно, что Пушкин дважды побывал в Сергаче, расположенном в 60 верстах от Болдина. Есть свидетельства, что кроме посещения присутственных мест он бывал там в доме И.И. Приклонского, женатого на одной из дочерей болдинской соседки Пушкина – помещицы села Апраксина Н.А. Новосильцевой. С 1834 года богатый помещик Приклонский избирался предводителем сергачского уездного дворянства. Среди его оброчных крестьян были и профессиональные дрессировщики медведей. В том числе старый медвежатник Афанасий Брусов, который якобы рассказывал Пушкину много забавных случаев о своих лохматых воспитанниках.

Явный сергачский след в творческом «урожае» Пушкина Болдинской осенью 1830 года – «Сказка о Медведихе». «Очеловечивание» медведей и других представителей мира зверей, которое в ней прослеживается, вроде бы совершенно в традициях народной сказки. Но эпизод о том, как мужик, убив медведиху, «малых медвежаткушек в мешок поклат, а поклавши-то домой пошел. “Вот тебе, жена, подарочек <...> трой медвежата по пять рублей”» – это уже, кажется, сергачская история. Ведь для начала дрессировки нужны были именно малые медвежата, которые легко поддавались обучению. Напомним в скобках, из известных пушкинских сказок все, кроме одной «Сказки о царе Салтане», написаны были именно в Болдине. В том числе и малоизвестная «Сказка о Медведихе».

Находясь в Нижнем, Пушкин не раз вспоминал о своем Болдине. Посмотрев на город и его достопамятные места, налюбовавшись с кремлевского откоса волжскими далями, он отправился представляться начальнику Нижегородской губернии генералу Михаилу Петровичу Бутурлину, этого требовал светский и служебный этикет. А может быть, и не только этикет, но и собственная надобность (например, заручиться

разрешением порыться в губернском архиве, где могли храниться «следы» пугачевских событий). Получив любезное приглашение, он будет на другой день в губернаторском доме обедать. И за светской беседой, среди прочего, тоже будет рассказывать о своих болдинских мужиках.

Вечер 2 сентября он провел в гостинице, как всегда, за чтением книг и писанием письма Наталье Николаевне. Из этой поездки он напишет ей семнадцать писем. И каждое полно любви и заботы. «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, – а душу твою люблю я еще более твоего лица...» (это из второго по счету письма, писанного в Тверской губернии, на четвертый день путешествия).

Из всех сохранившихся писем Александра Сергеевича к жене (а их около восьмидесяти) известно только два примера, когда в один день им написано и отправлено ей не одно, а два письма. Второй случится 30 апреля 1834 года. У него пропадут деньги в клубе, и он поделится своей досадой с женой, гостившей у родни в Москве. Но потом деньги найдутся, и он поспешит отправить в Москву второе послание, чтобы успокоить Наталью Николаевну. А вот первый такой случай был 2 сентября 1833 года – в день его приезда в Нижний. Утром «выпрыгнув из коляски и одурев с дороги», он «успел только съездить в баню», после чего наскоро написал ей в гостинице небольшое письмецо, полное нежности и тревоги о здоровье её и детей и о досаждающих её кредиторах, всячески стараясь подбодрить жену. И отправился знакомиться с городом. Вернувшись вечером в гостиницу, сел за стол и написал ей еще одно письмо, подробное. О московских встречах и праздновании Натальина дня с московскими друзьями, о дороге в Нижний и о самом городе.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

ОН ВЁЛ РЕПОРТАЖ С ПАРАДА ПОБЕДЫ

К 120-летию со дня рождения В.Н. Яхонтова

Немало знаменитых людей связано с Нижним Новгородом своими детскими годами, оставившими в их судьбе неизгладимый след. Кажется бы, бурные и яркие события дальнейшей жизни способны были затушевать детские впечатления, но они раз от раза всплывали в памяти светлыми и чёткими картинами.

Вот и знаменитый мастер художественного слова, основатель жанра литературно-сценической композиции, создатель первого в стране Театра одного актёра Владимир Николаевич Яхонтов (1899–1945) неоднократно вспоминал о детских годах, проведённых сначала в Городце, а затем и в Нижнем Новгороде.

«Где бы я ни жил, моё детство всюду со мной, я ношу его за плечами. Театры и балаганы на Нижегородской ярмарке, волжские разливы и дымы из труб Сормовского завода – вот незримые спутники моего детства...» «Мы покинули с папой наше село на Верхней Волге и переехали к дедушке в Нижний Новгород... Весной две наши красавицы реки – Волга и Ока – широко разливались и затопляли ярмарку, собор, наш дом, стоявший на “стрелке” – на слиянии двух рек. Тогда лодки причаливали к крыльцу, и после уроков я, отвязав свою лодочку, ездил вокруг цирка, лабазов, ярмарочных балаганов, лабиринтов и каруселей. Заезжал в густой камыш и подолгу смотрел на дымящиеся вдали трубы Сормова».

Отец Яхонтова был контролёром акцизного ведомства, дедушка – протоиереем ярмарочного собора. Владимир окончил в Нижнем Новгороде Дворянский институт имени императора Александра II

и, поскольку с детства его тянуло на сцену (играл в институте в любительских спектаклях), в 1918 году поступил в Москве во вторую студию МХТ, а затем перешёл в третью студию к Е. Вахтангову. Преподавателями его были ни много ни мало Станиславский, Качалов, Москвин, Книппер-Чехова...

Начинал артистическую деятельность Яхонтов в театре Мейерхольда, однако скоро увлёкся персональными выступлениями на эстраде. Сразу же он ушёл от стандартного амплуа чтеца, начав разрабатывать новую форму, как тогда говорили, «художественного доклада». Яхонтов с успехом осваивал на эстраде документ, лозунг, поэзию, прозу, объединив их в самых неожиданных сочетаниях – отрывков из воспоминаний, писем, телеграмм, выступлений, газетных статей, песен, частушек (он умудрялся озвучивать даже «Манифест Коммунистической партии»), при этом лоскутное чередование материалов благодаря его мастерству приобретало стройность и целостность.

Обычно он сам составлял композиции, с которыми выступал на эстраде. Иногда брался за темы воистину неподъёмные: «Ленин», «Пушкин», «Горе от ума», «Цусима», «Россия грозная», «Война войне»... Он строил тексты, используя классическую литературу, опираясь на имена Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, Блока, Маяковского, Есенина... Память его была изумительна. Без каких бы то ни было затруднений он читал и стихи, и прозу – огромные куски текстов, – рождая у слушателей и зрителей ощущение, что он знает наизусть всю русскую литературу. Причём выступления его не ограничивались чтением только литературных произведений, он говорил об авторах и их окружении, об эпохе и её центральных событиях, об их оценке с позиций сегодняшнего дня.

Своими композициями Яхонтов заполнял весь вечер. Он забирал в плен публику и не отпускал её внимания до конца представления. Уже в начале его деятельности один из рецензентов отмечал, что «самый горячий, самый вдохновенный оратор не способен так просто и в то же время так глубоко всколыхнуть аудиторию». И позже критики отмечали «многообразие красок, которыми пользовался Яхонтов, придавая различные оттенки своему исполнению – от иронической лёгкости до высокого драматизма».

Характерно, что Яхонтов всегда ощущал себя не столько эстрадным чтецом, сколько артистом театра. Не случайно он уклонялся от традиционных сборных концертов с участием акробатов, чечёточников, певцов, жонглёров... В своих выступлениях он выполнял роли и драматурга, и исполнителя, и режиссёра. Он требовал, чтобы в афишах указывали «исполняет», а не «читает». Его поклонники обижались, когда его называли артистом эстрады, сам он считал эстраду искусством второго сорта. В 1937 году с большой неохотой по настоянию коллег он принял участие во Всесоюзном конкурсе мастеров художественного чтения, в котором помимо него выступали такие признанные мастера как В. Хенкин, Д. Журавлёв, Л. Утёсов, А. Шварц, Е. Гоголева, Э. Каминка, С. Балашов. И здесь он подтвердил высокий уровень своего мастерства, разделив первую премию.

Острое ощущение слова и его звучания, характерное для Яхонтова, приводило окружающих в восхищение. Как писал нижегородец Николай Глазков, какое-то время работавший у Яхонтова секретарём:

Он самый лучший чтец-недекламатор,
А чтец из тех читателей прекрасных,
Ради которых стоит быть поэтом
И сочинять хорошие стихи...

В течение многих лет Яхонтов освобождался от манеры актёрского чтения стихов (её Осип Мандельштам называл «свиным рылом декламации»), характерной для Малого и Художественного театров. Он учился авторской манере чтения у Маяковского и ни в коей мере не у Качалова.

Его своеобразную позицию в искусстве разделяли далеко не все, многим она казалась «промежуточной»: театралы не признавали выбранный жанр театральным, а эстрадным он сам его считал отказываясь. Удаляясь от эстрадных штампов, Яхонтов порой перегружал свои программы, насыщая их множеством интересных, но иногда второстепенных деталей. Например, к столетию гибели Пушкина он выступал с композицией, в которой по ходу дела донна Анна из «Каменного гостя» превращалась в Наталию Николаевну Пушкину, а каменная статуя командора – сначала в Николая I, потом в памятник Екатерине II и, наконец, в памятник Пушкину. Понять эти сложные ассоциативные смещения неподготовленному слушателю было трудно. Они породили критические отзывы, такие как эта эпиграмма за подписью Пушкинист:

У зрителя рождаете вы злость.
Он вам готов послать протест свой пламенный.
Не выдержит всех ваших трюков ГОСТЬ,
Хоть он и КАМЕННЫЙ.

Организованный Яхонтовым театр «Современник» (1927–1935) не находил понимания у администраторов, актёру то и дело приходилось доказывать право на существование людям, далёким от искусства. Доходило до появления весьма ядовитых эпиграмм (правда, без указания фамилий чтецов):

Что вам желать на свете –
Вам дивный жребий дан:
Слова бросать на ветер,
А деньги класть в карман.

Но и у артистов находилось немало сторонников, способных не менее остроумно ответить критикам:

Желаем вам вооружиться,
Чтоб злую написать статью,
Пред вами – перец, соль, горчица,
А желчь используйте свою.

За свою жизнь Яхонтову пришлось немало претерпеть от официальных лиц и недоброжелателей. Но это не сделало его грубым или ожесточённым. По воспоминаниям Ираклия Андроникова, в манерах и поведении артиста не было ни малейшей актёрской развязности или наигрыша. Его внешность невольно привлекала внимание: серые глаза, полные мысли, благородное лицо – спокойное и серьёзное.

Очень светлые волосы на пробор, косо ниспадающие на лоб. Безукоризненно одетый, высокий, статный, несмотря на сутулую приподнятость плеч, неторопливый, сдержанный, скупой на движения – таким он воспринимался современниками. В каждом его жесте была какая-то удивительная значительность – не поза, а признак необыкновенного таланта и необыкновенной судьбы.

Во время войны Яхонтов сильно подорвал здоровье. Принятое им решение – на личные деньги построить для сражающейся армии танк – потребовало от него полного напряжения сил. Он выступал с многочисленными концертами, чтобы собрать нужные средства. В 1944 году танк «Владимир Маяковский» был передан в армию. Окончание войны было символично отмечено Яхонтовым: он вместе с Юрием Левитаном вёл репортаж с парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В летние дни победного года, когда страна жила надеждами на лучшую послевоенную жизнь, Яхонтов выбросился из окна шестого этажа и разбился насмерть. В последние дни перед трагедией многие отмечала его нервное переутомленное состояние. По одной из версий (В. Катанян), причиной самоубийства стало настойчивое внимание органов госбезопасности, пытавшихся заставить артиста сотрудничать с ними путём доносительства (в частности, на Бориса Пастернака). Когда он отказался, ему намекнули, что это отразится на его работе. Яхонтов впал в тяжелейшую депрессию. Надежда Мандельштам считала, что он выбросился из окна в припадке страха, что его идут арестовывать. Близко знавший Яхонтова Николай Глазков написал на его смерть стихотворение, где были такие строки:

Несправедливо и нелепо
Шагает смерть одна и та ж...
Нет! Не хочу бросаться в небо,
Забравшись на шестой этаж!

Литпроцесс

Ивайло ПЕТРОВ:

ЧИТАТЕЛЯ ТРУДНО ОБМАНУТЬ

Известный литературовед, профессор, автор книг о русской литературе Ивайло ПЕТРОВ беседует с русским писателем Еленой КРЮКОВОЙ

– Уважаемый Ивайло, ваше имя давно уже известно в писательском сообществе обеих наших стран – Болгарии и России. Вы профессор Шуменского университета имени епископа Константина Преславского, член Союза писателей России, автор книги «Проза Василия Шукшина: художественный мир писателя», признанной лучшей научной монографией о творчестве Шукшина в Европе, а также книг о прозе Юрия Дружников и поэзии Юрия Кузнецова, написанных в соавторстве с Лолой Звонаревой. Одним словом, вы работаете на благо сразу двух литератур – русской и болгарской. Как вы пришли к такой своей литературной судьбе?

– Много лет тому назад мне пришлось сопровождать члена Политбюро Болгарской коммунистической партии Йордана Йотова, и в разговоре он поделился древней мыслью: «В этом мире нет ничего случайного». Именно так и сложилась моя жизнь. Я приехал в Ленинград 1 октября 1974 года и стал аспирантом кафедры советской литературы тогдашнего Ленинградского университета. 2 октября умер Василий Макарович Шукшин. Перед поездкой в Советский Союз я прочитал потрясающий текст того же Шукшина в «Литературной газете» «Кляуза. Опыт документального рассказа». Когда заведующий кафедрой профессор Л.Ф. Ершов предложил мне писать диссертацию по творчеству Шукшина, я с радостью согласился.

Середина 70-х была интереснейшим периодом в развитии русской литературы. Ажиотаж вокруг творчества Шукшина был огромен. Нестановительно мой будущий друг, критик Лев Аннинский, написал, что за полтора года о Шукшине было написано больше, чем за 15 лет его работы в литературе. Собираюсь как-то более подробно написать об этом.

Жить в Ленинграде и не окунуться в огромный культурный мир этого города было невозможно. Когда сдал текст своей диссертации, мой друг, писатель Владимир Соломонович Бахтин, предложил мне пожить неделю в Доме писателя в Комарове. А жить там и не посетить могилу Анны Ахматовой – тоже невозможно. Вот так начался мой профессиональный интерес к русской литературе.

Конечно, многое пропустил! Ведь тогда была жива Ольга Берггольц, в Географическом обществе читал лекции Лев Николаевич Гумилев, которого я видел на 90-летию его матери. В Доме писателя в Ленинграде можно было увидеть живых классиков – таких, как Даниил Гранин.

В ЛГУ я слушал спецкурсы легендарных профессоров. Благодаря моим друзьям познакомился со многими писателями и поэтами. Потом довелось встретиться с супругой Шукшина Лидией Федосеевой, которую приветствовал у трапа самолета в Болгарии, с оператором Анатолием Заболотским и Владимиром Крупиным; сидел за одним столом с Сергеем Залыгиным, автором великолепной статьи о Шукшине Человек в кирзовых сапогах». Думаю, что все эти встречи не были случайными.

В начале 90-х оказался в Екатеринбурге. Первое место, которое посетил, была тогдашняя часовня на месте Ипатьевского дома. На вопрос моих друзей, с кем бы хотел встретиться в Екатеринбурге, ответил сразу: с Николаем Колядой и Ольгой Славниковой. Состоявшаяся встреча с этими авторами дала мне много. Примерно в это же время познакомился в городе Шумене с Лолой Звонаревой, и начались ежегодные поездки в Россию. Благодаря Лоле Уткиривне познакомился с Юрием Дружниковым, вместе принимали участие в работе научных конференций, посвященных Юрию Кузнецову... и так далее. Об этом могу рассказывать долго.

Жалко, что, общаясь с Риммой Федоровной Казаковой, не записал все ее мудрые слова. Слава богу, напечатал в Болгарии монографию Лолы Звонаревой и Таисии Вечериной «Труды и дни Риммы Казаковой: “Отечество, работа и любовь...”», посвященную жизни и творчеству замечательной поэтессы. И не могло быть иначе – как и многие русские поэты и писатели, Римма Федоровна любила повторять: «Я люблю тебя, Болгария!»

– Вы – знаток русской литературы, и классической, и современной. Кто из русских писателей второй половины двадцатого века и первого десятилетия века двадцать первого наиболее близок вам? Какие новые имена удивили вас и привлекли ваше внимание?

– Чтобы ответить на этот вопрос, как отметил поэт Владимир Соколов, надо написать диссертацию. В середине 60-х годов у нас можно было свободно купить роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В середине 70-х огромной популярностью пользовалось творчество Валентина Пикуля. Потом, во времена перестройки, нас потрясли произведения Андрея Платонова, роман Замятина «Мы», поэма Ахматовой «Реквием», повесть «Собачье сердце» Булгакова и вся эта «поэтаенная литература». У нас был хорошо известен Солженицын, о повести «Один день Ивана Денисовича» много писали. Потом по указке партии сразу отrekliсь от этого автора, хотя в библиотеках спокойно можно было прочитать «Матренин двор» и другие рассказы Солженицына. На рубеже веков огромным спросом пользовалась литература русской эмигрантской диаспоры. Конечно, начиная с 70-х годов XX века интерес к сочинениям Ивана Бунина и Алексея Ремизова был понятен, хотя с «Окаянными днями» удалось познакомиться уже в 90-х годах XX века.

Долгое время и у нас считали, что нет современной русской литературы. Что делать, Есенин оказался прав: «Большое видится на расстоянии». Может быть, сказало увлечение печатать преимущественно писателей второй и третьей волны русской эмиграции. Считаю своей заслугой популяризацию творчества Александра Потемкина – мой перевод его повести «Я» оказался и первым переводом его творчества в мире. Первая книга Юрия Дружникова в Болгарии тоже издана мною. Я близко знаком с писателем Александром Кабаковым, манеру его

письма, особенно романа «Все поправимо», считаю художественным открытием.

Вспоминаю первое знакомство с произведениями Виктора Пелевина, с прозой Виктора Ерофеева, со скандальными сочинениями Венедикта Ерофеева и Виктора Ерофеева, с романом «Это я – Эдичка» Эдуарда Лимонова. Как и многие читатели, и я не прошел мимо творчества остросюжетных писателей Александры Марининой и Бориса Акунина.

В 2003-м году я принимал участие в научной конференции в ИМЛИ, посвященной 100-летию со дня рождения Гайто Газданова, являюсь представителем Общества друзей Газданова в Болгарии. В начале 20-х годов XX века Гайто Газданов учился в Шуменской русской гимназии.

Убежден, что существует настоящая современная русская литература. Жаль, что сейчас трудно доставать книги всех популярных русских авторов. Зато возможно через интернет общаться с писателями такой величины, как Марк Сергеевич Харитонов. В Нижнем Новгороде познакомился с писателями Санкт-Петербурга – Даниэлем Орловым и Владимиром Шпаковым, послушал живого Виктора Ерофеева, и еще много было интересных встреч. Познакомился и с вами, уважаемая Елена Крюкова. Надеюсь, что у меня будет возможность прочитать еще много великолепных страниц современной русской литературы.

– Болгария – прекрасная страна, овеянная легендами, страна великой древней славянской культуры. Однако тюркское владычество на протяжении почти шестисот лет наложило ведь отпечаток на славянский, христианский мир... То, что пережила Болгария, не поддается описанию. Как сейчас чувствует себя в Болгарии турецкая культура? Она существует в виде отголосков – или как-то дружественно ассимилировалась в стране?

– Многие иностранцы спрашивают, как мы живем совместно с нашими братьями-мусульманами. Обыкновенные люди живут рядом – вместе работают, дружат – очень хорошо, только наши политики пытаются разъединить их. Политическая партия «Движение о правах и свободах» интересуется жизнью своего электората только во времена выборов. Сегодня нет никаких ограничений. Только в город Шумен за сутки въезжают и выезжают 40 автобусов из Турции. В нашем университете есть специальность «Турецкая филология», каждый день на первом канале болгарского телевидения идет выпуск «Новости» на турецком языке. В Шумене находится вторая по величине мечеть на Балканском полуострове Томбул Джамия, после ремонта она выглядит великолепно. Трудно говорить о какой-то культурной ассимиляции, никто не ущемляет права турок, все они считают себя как гражданами Болгарии, так и гражданами Европейского союза.

– Как вы думаете, кто из болгарских писателей современности является ведущим в болгарской и мировой литературе? В свое время мы запоем читали Павла Вежинова – «Барьер», «Весь», «Ночью на белых конях»... Кто сейчас занял его место?

– Вопрос довольно сложный. Мой друг из России спросил в письме, забыли ли мы Павла Вежинова. Нет, не забыли, хотя сегодня нет у нас писателя такой величины. Любопытно, что дочь Вежинова написала книгу о софийских трактирах... После этого писателя осталось его любимое детище – журнал «Современник», в котором печатается серьезная болгарская и мировая литература. Журнал выходит регулярно – благодаря одной из болгарских газет.

Принято считать, что лидером современной болгарской прозы является Георгий Господинов, которого переводят и печатают во всем мире.

Мои личные симпатии – к рано ушедшему из жизни писателю Виктору Паскову, его повесть «Баллада о Георге Хенихе» предложено включить в учебную программу болгарской школы.

Успешно работают прозаики Емилъ Алмазов и Милен Русков. Насколько мне известно, в России в переводе вышла книга Елены Алексиевой «Нобелевский лауреат». Мне особенно приятно, что в России вышли на русском языке два романа моего друга, писателя Николая Табакова. Здесь и мы с Лолой Звонаревой приложили усилия, собираемся выдвигать этого автора на Нобелевскую премию. И в конце хотелось бы отметить роман нашего студента Захария Карабашлиева «Хавра», в котором один из планов сюжета посвящен стилизации дневниковых записей русской дворянки, супруги известного американского журналиста Мак-Гахана, много написавшего о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., принесшей свободу Болгарии.

– Ваши любимые поэты – и в болгарской, и в русской, и в мировой поэзии?

– Мои любимые поэты в болгарской литературе, кроме классиков, – Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Блага Димитрова. Высоко ценю творчество моего ближайшего друга – Любомира Левчева, которого считаю лучшим поэтом нашей современности. Левчева очень хорошо знают в России. Среди русских поэтов первое место занимает Ахматова, дальше следуют Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Давид Самойлов, поэты-шестидесятники.

Присутствовал на совместном рецитале Любомира Левчева и Роберта Рождественского в аule Софийского университета, получил автографы от Юлии Друниной и Булата Окуджавы. Взял большое интервью у Николая Добронравова, организовал совместный творческий вечер Александры Пахмутовой и Яна Френкеля в своем городе. Не забыл слова Яна Абрамовича: «Наконец встретил человека, которому можно посмотреть в глаза не нагибаясь».

Впервые в Болгарии я упомянул имя Иосифа Бродского в научном докладе. С Виктором Куллэ дружим по сей день. Присутствовал на творческих вечерах Александра Кушнера, видел Евгения Рейна, Андрея Вознесенского. И как не вспомнить текст песни «Журавли» Расула Гамзатова; когда много лет спустя удалось побывать во Владикавказе и в ущелье Дарьяла, мне показали памятник семи детям матери, погибшим на войне.

Что касается мировой литературы, здесь трудно указать на одного автора. В первую очередь упомяну представителей французского символизма – это Поль Верлен, Артюр Рембо. Из испанских поэтов – Лорка, из немецких – Гете, естественно. А как пройти мимо поэмы «Пан Тадеуш», мимо славянской поэзии... Коротко об этом не скажешь.

– Что для вас личность, имя, творческое наследие поэта Юрия Кузнецова? В свое время, на фоне сверхизвестных эстрадных поэтов, он все равно был властителем русских дум, в своих работах смело опирался на миф, на символ-знак, на древние, архаические вещи...

– У нас с Лолой Уткировой вышла совместная книга «Творчество Юрия Кузнецова». Невзирая на это, у нас, в Болгарии, мало знают литературное наследие этого русского поэта. Самое сильное впечатление на меня произвел факт, что Юрия Кузнецова уже спокойно называют великим русским национальным поэтом. Думаю, что его произведения, посвященные религии, еще не дождалось своего адекватного прочтения. Критика и литературоведение в долгу перед этим автором.

Слава богу, что его супруга Батима так много делает для памяти Юрия Кузнецова. И в этом нелегком деле сегодня ей помогают ИМЛИ имени Горького, Литературный институт, газета «Литературная Россия». Надеюсь, что эта работа будет продолжаться.

– Ивайло, как вы относитесь к негласному разделению литературы на книги и, по меткому выражению писателя Юрия Полякова, на книжную продукцию? Может ли в недрах массовой культуры, коммерческого читыва вырасти новый гений? А может так быть, что талантливый литератор в погоне за популярностью сам выбирает для себя стезю дешевого рынка?

– Я всегда считал, что книги являются частью литературного процесса. Критик Марк Липовецкий как-то жаловался своему отцу, что в Америке ему как раз не хватает баталий литературной жизни. Наверное, и «последний советский писатель» (одноименную книгу прочитал с удовольствием) Юрий Поляков устал от этой борьбы и не стал больше работать в качестве главного редактора «Литературной газеты». Зато после него газета сильно изменилась.

Сможет ли из массовой культуры вырасти новый писатель? Вспомните Ахматову: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» Искушение деньгами всегда было сильно. Лев Аннинский рассказывал мне, что как-то оказался на одной радиопередаче вместе с Дарьей Донцовой, и она спросила, знает ли он ее книги. Хорошо, что дочки критика купили несколько ее книг и отец пролистал их. Лев Александрович попытался лестно отозваться о них, но Дарья Донцова ответила: «Ой, не читайте, это плохие книги!» Возможно, это тоже миф.

С другой стороны, у нас проживает писательница Анна Данилова, автор свыше ста книг, печатающихся в таких издательствах, как «Эксмо». Как вы думаете, можно ли считать ее живым классиком? Или упрекнуть в погоне за заработком, хотя она, несомненно, талантливый автор. На мой взгляд, массовая литература всегда существовала, об этом просто не говорили и не писали. Вспомните того же Пантелеймона Романова! Время рассудит, кому остаться в памяти поколений!

– Вы – крупный литературовед. Но... есть ли у вас собственные художественные тексты? Стихи, проза? Выступаете ли вы как писатель?

– Отвечу по-другому. У меня был тезка, крупный болгарский писатель, который подписывал мне свои книги так: «Ивайло Петрову – от Ивайло Петрова!» Но у нас был заключен устный договор: мне не писать прозу, а ему – не писать о литературе. Я свято соблюдаю этот договор. Прекрасно помню слова: «Лета к суровой прозе клонят», но пока не поддавался искушению и не обращался ни к поэзии, ни к прозе. Скорее всего, года клонят к мемуарам, все-таки я много повидал на своем веку. Позволю себе только один пример. Несколько лет тому назад к нам приезжал ныне покойный критик Андрей Турков. Мы быстро нашли общий язык, я сделал интервью с ним. Он меня попросил, и я позвонил уже покойной болгарской поэтессе Станке Пенчевой и дал ему трубку. Когда-то у них был роман, о котором критик написал в одной из своих последних книг. Об этом, на мой взгляд, стоит написать. И писателю, и поэту, и критику ничто человеческое не чуждо.

– На земле тысячи языков, и для того чтобы одному народу прочитать книгу представителя другого народа, надо ее перевести на родной читателю язык. Насколько остро сейчас стоит в мировой литературной практике проблема перевода? Как и кто переводит в Болгарии русскую и мировую литературу?

– Раньше у нас существовал Союз переводчиков Болгарии. Союз выпускал журнал «Панорама». Ничего этого сейчас нет. По воле судьбы продолжает выходить журнал «Факел», печатающий произведения русских писателей в переводе на болгарский язык. Журнал выходит примерно шесть раз в году. С другой стороны, наши литературы тесно связаны, и поэтому перевод русских книг идет хорошо.

В Нижнем Новгороде Виктор Ерофеев рассказывал мне, что он решил журналу «Факел» напечатать его последнюю вещь «Розовая мышь». Но у нас пока не напечатан роман «Пушкинский Дом» моего друга Андрея Битова.

Иначе обстоит дело с переводами Александры Марининой, Бориса Акунина, Полины Дашковой, Виктора Пелевина – с ними у нас нет проблем. К сожалению, болгарский рынок маленький, на нем невозможно заработать большие деньги продажей книг. С другой стороны, членство в Евросоюзе помогло появлению новой читательской публики, от которой зависят не только наши писатели. Сегодня уже невозможно писать как вчера и надеяться на быструю продажу книг. Но, как ни странно, в прошлом году одно из болгарских издательств продало книгу тиражом 40 000! Это настоящее чудо. Поэтому я не удивляюсь, когда в наших книжных магазинах вижу вывески типа «Интерес к книге возвращается!». Дай бог!

– Кто из современных русских писателей сейчас читаем и известен в Болгарии?

– Известны многие, кого читают – трудно сказать. Того же Акунина, Пелевина, в меньшей степени – Владимира Сорокина, Дмитрия Глуховского, Евгения Водолазкина. Несколько лет тому назад перевели книгу Дмитрия Быкова (вышедшую в России в серии «ЖЗЛ») о Борисе Пастернаке, ее расхватали. То же самое произошло с биографией Сергея Есенина, написанной Станиславом и Сергеем Куняевыми.

Что касается поэзии, мне трудно ответить однозначно. Трудность моего ответа относится только к книжной продукции, к бумажной книге, – ведь на интернет-сайтах у нас печатаются все значимые современные русские поэты. Лично я с удовольствием читаю в интернете русскоязычные стихи Бориса Херсонского. Читателя трудно обмануть, подсовывая ему рифмованные строчки. Он всегда почувствует настоящую, подлинную поэзию, искренность сердца.

– Совсем недавно издатель работал с тиражами книг. Теперь все большую популярность получает технология «книга по требованию» – print-on-demand. Таким образом, книга продается в интернет-магазинах, и читатель покупает либо электронный вариант, либо заказывает книгу, и ему ее печатают и присылают. Как вы думаете, такой порядок вещей победит тиражи? Или бумажная книга на полках магазинов все-таки пока не сдаст позиции?

– На мой взгляд, наши издательства пока работают преимущественно с тиражами. Разговаривал со многими коллегами, я тоже занимаюсь издательским бизнесом, они предпочитают только периодические издания выпускать 50% – в бумажном варианте и 50% – онлайн. Может быть, мы еще не доросли до новых технологий. Есть уже типографии, которые готовы напечатать по одной цене и одну, и десять, и 50 или 10 000 книг. У автора – свой выбор. На мой взгляд, пока люди отдают предпочтение книжному – бумажному – варианту текста. Как говорил один из наших критиков, легче ложиться с книжкой, чем с монитором или планшетом. Вопрос вкуса. Но задумаемся: сейчас печатается так много книг, и неизвестно, куда они деваются. Как в любом маленьком

государстве, для нас уже тираж в 100 книг является нормальным. 30 штук – библиотекам, друзьям, близким и так далее. В начале 1990-х годов у нас были попытки печатать книгу тиражом 100 000, но это произошло лишь однажды.

– **Над чем работаете сейчас? Расскажите о ваших нынешних трудах, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.**

– Всегда вспоминаю Маяковского: «Я планов наших люблю громадь». Хотя этот же классик завещал: «Не юбилейте!», это интервью будет напечатано в начале моего юбилейного сборника «Филология и социальная коммуникация». Надо перевести повесть Павла Кренева «Девятый» и сборник рассказов девушки из Израиля. В основном занимаюсь деятельностью Международного Союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия, имею честь быть председателем этой организации. Дел хватает, не скучаю! Вчера встречался в Варне с Алексеем Шороховым. Надо написать несколько рецензий, существуют и другие заботы! Надеюсь, что здоровье не подведет. Должен отправить рассказ одного автора из Шумена Олегу Рябову для журнала «Нижний Новгород». И так далее. Литература – дьявольское дело, не отпускает. Если часто обходимся без лозунга «Ни дня без строчки» – и действительно не пишем ни строчки, то без прочтения хотя бы одной строчки в день невозможно жить...

– **И напоследок: о чем вы мечтаете? Эта мечта может касаться не только книг, не только литературы... но, конечно, и ее тоже!**

– Дорогая Елена, вспомните песню: «Мечты сбываются!» Когда-то один из болгарских поэтов написал примерно так: «Мечтаю о ватнике теплом, когда на дворе холодно!» Мечтаю о здоровье, о возможности еще кое-что сделать на этой грешной земле.

Вероятно, сильно похвалил себя в некоторых ответах, поэтому хочется завершить мои ответы словами поэта Сергея Гандлевского, моего друга в «Фейсбуке»: «Зная себя как облупленного, скажу, что имел и имею больше, чем заслуживаю!»

Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Автор десяти книг поэзии и прозы, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.
Живет в Сочи.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ШЕЛУХА ОТПАДЁТ

Заметки о современном литературном процессе

Процесс – это смена состояний в развитии чего-нибудь; это совокупность последовательных действий для достижения каких-либо результатов.

У нас уже больше десятка писательских союзов, значит, если руководствоваться логикой, и литературных процессов несколько. Причём многие писательские организации находятся в острейшем противоречии, иногда прямо-таки ненавистном противоборстве, в том числе политическом и идеологическом. И если внимательно и беспристрастно посмотреть на все эти «союзы» и «процессы», то это уже скорее не литературный процесс, а литературный хаос.

Литературный процесс был в советскую эпоху, когда некоторые писатели жаловались на «гнёт» и «тиски» социалистического реализма. «Да, это был соцреализм, но – реализм! Поэтому при всех известных издержках и недостатках советского времени в литературе появились и остались имена воистину выдающиеся и великие» (И.М. Ильинский).

Попробуем собрать (хотя бы частично) воедино «краски» всех союзов и процессов, их светлые и тёмные тона – и тогда, скорее всего, мы лучше увидим общую картину российской литературной жизни.

Большинство литераторов оценивает нынешнее положение дел в русской литературе как плачевное. Для подтверждения этого вывода приводятся достаточно весомые аргументы.

Из статьи Елены Севрюгиной «Критический обзор современной русской прозы»: «...современные авторы, всё больше увлекаясь языковым экспериментом и “упадническими”, не вселяющими оптимизм, настроениями, могут повести литературу по ложному пути, который станет не началом, а концом её развития, своеобразным духовным тупиком, из которого нет выхода».

Из статьи литературоведа И.М. Ильинского «Противоречия литературных процессов в России»: «Литература перестала учить, воспитывать, представляет ныне собой не пространство общественного самопознания, не один из важнейших методов познания, а превратилась в игровую площадку, в загончик для всякого рода околотературной шпаны... На мой взгляд, в современной литературе слишком много малозначащего, мелкого и грязного, особенно когда речь заходит о советском прошлом».

Есть и такие литераторы, которые с чувством радостного удовлетворения отмечают, что современные писатели в отличие от писателей советской эпохи могут свободно осваивать «разнообразные маршруты литературного эксперимента». И что же мы видим в итоге?

В результате этих экспериментов художественная литература во многом утратила воспитательную, познавательную, нравственно-этическую и эстетическую функции и, таким образом, фактически способствует расчеловечиванию человека.

Когда всматриваешься в сегодняшнюю литературную ситуацию, бросается в глаза, что одно и то же произведение довольно часто оценивается прямо противоположно. А это показатель «неустойчивости» художественной ценности произведения. Возьмите, к примеру, автора романа «Географ глобус пропил» Алексея Иванова, которого ряд критиков считает самым талантливым писателем русской литературы XXI века. Однако многие литераторы и читатели с этим утверждением категорически не согласны, и вот что пишет, к примеру, писатель Анна Козлова: «Картина мира Иванова – это участок дороги, который видит из своей будки цепной пёс. Это мир, в котором ничего нельзя изменить и остаётся только пошучивать над рюмкой водки в полной уверенности, что только что тебе во всех неприглядных подробностях открылся смысл жизни. В Иванове мне не нравится его стремление быть лёгким и глянцевоитым»...

Другой момент. Литературная критика не может избегать политических вопросов. Когда какой-то критик суёт голову в литературный «песок», всё равно его зад остаётся на политическом сквозняке. Сегодня почти не вспоминают статью В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», но любой думающий литератор прекрасно понимает, что в классовом обществе беспартийной литературы не было, нет и никогда не будет. Даже если поэт пишет только в рамках «Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...», то этим он умышленно или неосознанно не хочет касаться «свинцовых мерзостей нашей жизни».

Лицо писателя – это его художественный язык. Автор произведения отбирает именно те лексические средства из общеупотребительной лексики, которые помогают ему в создании образов, описании их жизни, быта, пейзажа – всего того, что составляет ткань художественного произведения. Язык помогает писателю донести до читателя своё понимание мира и людей. Каждый писатель – это особая языковая личность, что находит отражение в его художественном творчестве.

Характеризуя художественный язык современных писателей, лингвисты отмечают, что в тексты хлынуло неоправданно много иностранных слов, всё чаще фиксируются нарушения семантической сочетаемости слов, стали появляться усечённые слова. У некоторых писателей наблюдается маниакальная тяга к нецензурным выражениям, неуместно используются иностранная лексика и бранные слова и т. д. Одним словом, сегодня язык художественной литературы живёт активно, бурно,

но становится не богаче и чище, а обширнее и грязнее. И это зачастую снижает ценность современного художественного Слова.

Как раковая опухоль стремительно растёт проблема под названием «смерть читателя». Школьников, сдавших ЕГЭ, недавно спрашивали: что вы теперь будете читать, когда над вами наконец не довлеет школьная программа? В основном отвечали: «Никогда и ничего!» А ведь любовь к чтению формируется в основном в школьные годы.

Закрытие «Журнального зала» Евгений Абдуллаев назвал «ударом под дых современной литературе», другие именовали случившееся «гуманитарной катастрофой». Не будем вдаваться в причины происшедшего, ясно одно: читателей бумажных литературных журналов станет ещё меньше.

Задорный литературный критик Александр Кузьменков в одном из интервью совсем пал духом: «Думаю, искушённые читатели почили в бозе. Нам с вами выпало несчастье жить во времена постмодерна... В такой эстетической парадигме искусством становится всё, что так или иначе объявлено, будь то хоть разбитый унитаз».

А ведь есть десятки способов приобщения людей к чтению. Об одном из них как-то упомянул в интервью Владимир Бондаренко. В США тысячи библиотек при кафе по всей территории страны, бери книгу, сиди там и читай хоть весь день. Эти библиотеки финансирует правительство. В этом же интервью известный литератор подчёркивает: «Нечитающая нация – это вообще не нация, это не думающая нация. Она обречена на вымирание». Что с нами и происходит.

А вот другой способ, который приводит Пётр Алешкин в своей статье «Литературный процесс сегодня»: «Когда в Англии перестали читать книги, и власти решили исправить положение, они поступили так. На каждом телеканале каждый день кто-то из известных людей, из кумиров молодёжи, стал рассказывать, какое влияние на его судьбу оказали книги. На одном из каналов выступила даже королева Елизавета. И так каждый день! Три месяца обработки по всем каналам, и в книжных магазинах выстроились очереди, и библиотеки, и читальные залы забились толпой читателей».

Так что эта проблема решаема.

Сегодня на полках книжных магазинов, количество которых продолжает стремительно сокращаться, картина та же, что и вчера: фантастика, эротика, антиутопии, изощённые, а порой и извращённые в психологическом плане детективы.

«Современный читатель качественно изменился, он уже не тот, каким был в советское время, и это огромная проблема. Можно говорить о невосприимчивости читателя к литературе, требующей работы ума и души, сопереживания, осмысления горьких истин» (Юрий Козлов).

Не прекращаются дискуссии и о литературных премиях. Александр Кузьменков свою статью «Награждение непричастных» начинает так: «Убожество отечественной словесности легко объяснимо, если вспомнить, что на дворе у нас эпоха постмодерна, где главный герой – симулякр, вторичный образ без первичного подобия... Литературный процесс в России давным-давно подменили премиальным...»

С вышеприведенными оценками Александра Кузьменкова я полностью согласен. А вот с последним абзацем статьи я категорически не согласен: «Собственно, а что вы хотели, господа? Иного нам не дано. В стране, где всё – от власти до медицины – декоративно, другой литературы быть не может».

Мы живём в эпоху тектонического социального разлома, духовной и нравственной катастрофы. Для писателя «это подлинное счастье: весь социальный организм во всех деталях раскрыт перед его глазами», и тут надо «осмысливать, писать, пророчествовать. В такие времена рождались «Слово о полку Игореве», «Бесы», «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке»» (И.М. Ильинский). Талантливые писатели и поэты у нас, к счастью, есть, но их не хотят замечать ни «платные» литературные критики, ни книжные издательства, у руководства которых в голове царствует только одна формула – «деньги – товар – деньги».

Многие литераторы высказываются о литературной критике в том плане, что сегодня, мол, можно говорить о прекращении её существования. Полагаю, что это не совсем так. Да, у нас и близко нет новых Белинских, но тем не менее попытки стать хотя бы новым Писаревым наблюдаются.

Именно литературные критики в силу своих функциональных обязанностей отслеживают литературный процесс, а значит, лучше, чем кто-либо, могут охватить значительную часть диапазона литературной продукции. Как же они оценивают литературные итоги 2018 года?

Платон Беседин, подводя печальные итоги прозы минувшего года, подчёркивает: «Так что дальше?.. Уйдёт ли литература? Вряд ли. Но, определённо, она измельчает. Уже измельчала. Как и жизнь в целом. Ведь одно не может быть оторвано от другого. Процесс этот взаимный, а оттого ещё более убийственный. Особенно для такой страны, как Россия, где слово всегда оставалось фундаментом и сутью».

Совсем недавно мы прочитали фельетон Александра Кузьменкова «Литературные итоги-2018», в котором он в шутку (а лучше бы всерьёз) предложил учредить премию под названием «Золотой афедрон». И виртуально приглашал «на сцену» известных литераторов, при этом призывая их: «Об одном прошу: не надо сиротских песен про падение престижа литературы и культуры. Вы и убили-с...»

Всё больше критиков говорят о том, что современная литература сохраняет лишь родимые пятна нашей классики. Литературоведы всё реже пользуются термином «герой», видимо, понимая, что само это слово подразумевает не просто древнегреческую этимологию, но и героический поступок. Всё чаще отдают предпочтение терминам «характер», «персонаж», «субъект действия», «субъект речи».

По мнению В. Бондаренко, типичная слабость современных писателей – «мало вымысла, писатель теряет дар вымысла, живут за счёт тех или иных ярких впечатлений: чеченская война, нацболы, учёба, неудачная любовь – всё из жизни...».

Самым существенным фактором, влияющим на положение дел в литературе, было, есть и будет отношение к ней государства. Опять вынужден процитировать Владимира Бондаренко: «Никакая русская идея, которую в потёмках ищет Владимир Путин, невозможна без важнейшего значения слова в жизни страны».

Мы не первые, кто «посетил сей мир в его минуты роковые», и знаем, что литературная шелуха отпадёт. В истории русской литературы останутся творения тех, «у кого, кроме пера в руке, есть ещё совесть и честь, кто служит литературе и народу непродажно и жертвенно» (И.М. Ильинский).

Мария БУШУЕВА

Прозаик, критик. По первой профессии психолог. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литинститута им. А. М. Горького.

Автор нескольких книг прозы, в том числе романа: «Отчий сад» (М., 2012), а также публикаций в журналах «День и Ночь», «Литература», «Московский вестник», «Алеф», «Москва», «Урал», «Дружба народов» и других. Стихи переводились на французский язык.

Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

СЛИЯНИЕ СЛОВА, МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ

О романе Елены Крюковой «Земля»

Пожалуй, роман «Земля» – можно назвать квинтэссенцией творческого метода и мироощущения нижегородской писательницы Елены Крюковой. (Казалось бы, необязательное уточнение о городе проживания, наверное, нужно, поскольку в творчестве Елены Крюковой заметен очень сильный корневой «волжский след», в отличие, скажем, от живущего в том же Нижнем Новгороде Захара Прилепина.)

Одна из картин романа «Земля» – ледоход на Волге. Я не оговорила – это именно картина. По сути, живописные полотна – те киты, что держат ткань текста, на картинах и стоит «Земля» Елены Крюковой. Это – основа. Начинается роман с широкого полотна «Праздник урожая», описанного с четкой детализацией, характерной для живописцев, отдающих предпочтение массовым жанровым сценам. Еще одна картина в романе: «Праздник Победы на берегу Волги», которая подана аналогично: каждая фигура словесно высвечена, и свет, и цвет согласуются с общей палитрой. Внутри текста можно найти и менее крупные живописные полотна. Особо – иконы, написанные Земфирой Зариповой.

Вообще именно живописный принцип – первый в ряду тех художественных приемов, на которых работает Елена Крюкова: «Крик вспарывал черный атлас и белый штапель, цветастый ситец и лоскутную пеструю ткань, что состояла из кусков широкой земли, наспех пришитых временем друг к другу»; «и вода изнутри рвет сизую, синюю толщу обшитого синим небесным шёлком льда»; «бархатно-алая юбка гулянки взлетает»; «эту юбку украли на знамя, яркое знамя из неё, бедной и милой бабьей уследы, пошили»; «Птицы обратились в чёрный пепел,

и пепел летел по тёплому ветру»; «В кузове живым золотом переливалось, прыгало зерно»...

Первый, но – не единственный. Второй – музыкальный. Роман «Земля» по своему построению симфоничный и ассоциируется с «Симфонией псалмов» Стравинского. Как раз в слиянии слова, музыки и живописи открывается, на мой взгляд, в романе (а возможно, и во всей прозе) Елены Крюковой самое интересное.

Для того чтобы картина ожила, мало внести в нее вербально, так сказать, элемент движения, да, фигуры задвигались, как на экране, но этого еще очень мало для жизни в тексте – и Елена Крюкова начинает их оживлять, входя сама (возможно, именно с помощью музыки) и вводя своих героев в экстатические состояния. (Ассоциация с «Поэмой экстаза» Скрябина возникла тоже.) Такое «экстатическое оживление» дает эффект не психологический, а – более поэтический. И проза Елены Крюковой – не проза характеров, а проза состояний, чаще всего – состояний страстных, пограничных, выявляющих всю полноту звучания эмоции. Однако, для того чтобы заразить читателя экстатическим переживанием, меняющим восприятие места, времени и себя, состоянием, которое может расширять точку до бесконечности (и в цветовом отношении, кстати, тоже), превращая конкретное в символ, бытовое в архетипическое, единичное во всеобщее, – необходимы серьезные, трагические причины, вызывающие такие состояния. И роман ими полон. Иногда – искусственными, иногда – историческими. Сама тема – волжское крестьянство от революции до послевоенных лет – несет груз нескольких, к сожалению, не вымышленных, а реальных, очень страшных трагедий. Для человека, даже немного знакомого с историей, Поволжье – это Гражданская война, разорвавшая и разорившая многие крестьянские семьи, тотальный голод начала 20-х годов прошлого века (число жертв почти 5 миллионов человек), коллективизация и раскулачивание (прибавьте еще полмиллиона как минимум погибших в ссылке и по дороге в ссылку), это депортация поволжских немцев (их нет в романе) и, наконец, Великая Отечественная война, которая унесла почти все мужское население сел...

Вот как показано в романе раскулачивание: «А потом оне оказались с землём. А мы – без земли и без скотины на ней. Хлеб в руках имети – значитца, всею землём и владети! Так всё просто! Оне стали наш, наш хлеб нам жа и раздавати! Наш, кровнай! Што мы сеяли и жали! <...> А в советах тех хто сидел? Пьяницы все наши, нищи все. Нихто из хрестьян честных в те советы иттить не хотел...» Это голос главного героя – крестьянина Власа. В центре «Земли» – судьба Власа, который теряет первую любимую жену: ее убивают большевики просто за то, что она не отреклась от Бога; позже ставший одиноким Влас по страсти, не подвластной рассудку, делит с сыном красавицу Земфиру, после чего к нему приходит любовь-сострадание к вечной девочке Вобле – Зое. И Влас, и Зоя проходят путь крестьянских мук: они знакомятся по дороге в ссылку и, потеряв близких, становятся неразлучными на поселении в Сибири. В романе звучат голоса всех главных героев. Но чаще – размышляет Влас: «Он думал: Осподи Боже! А сколь нам послано несказуемых мучений <...>

Он думал: сколько жа хрестьян убито, запытано за все енти годы! Сколько от голода помёрло! Сколько на поселенья в дальни края, в леса и в тундровицу лядяну сослано! Сколько за колючкой, в неволе сгнило! Сколько без вести сгнуло! А щас воно вон как всё обернулося, все мужики пошагали на войну. <...>

А можа, енто лес-ти рубяць, а щепки летяць! Летяць и летяць енти щепки! Навроде воробьёв, летяць! В разны сторонушки! А щепки енти – мы».

В романе есть очень сильные описания (тюремьы, ссылки, быта).

Влас – хороший славный человек, добрый семьянин, рачительный и умелый хозяин, раскулачен, разорен и сослан, дом его достался безжавшим от голода с Украины переселенцам. Трагедий истории вполне бы хватило и на долю Власа, и на долю любого поволжского крестьянина, но Елена Крюкова наращивает на общеисторические беды еще и драмы личные, внося в роман двойную коллизия жестокого любовного треугольника, результатом которого, то есть как бы наказанием за грех, становится девочка-уродец, без рук, без ног, которую родила Земфира. Девочка оказывается пророчицей, предрекает войну... Только в конце романа читатель узнает, что повинна в смерти маленькой пророчицы Вобла, тихая и любящая, ставшая последней любовью старого Власа. Сцена рождения его последнего сына Алеша и смерти самого Власа – самая сильная в романе, кульминация его, народный хор, введенный в симфоническую ткань текста: «Пашня под ними дышала и плакала счастливыми слезами», и шел народ «всё к ним, к старику этому, худой маленькой женщине и ребёнку у неё на руках; и они, на телеге, озирали невидящими глазами весь этот трехслойный мир, горький на вкус, а для глаза смертельно сияющий, и они, старик, женщина и младенец, сейчас пребывали его неоспоримой сердцевиной...» Читатель, возможно, будет готов к тому, что этой народной ораторией роман-симфония завершится, но Елена Крюкова, проведя явную аналогию с рождением Иисуса, не дает Алеше – вырасти: на Вобле грех, к тому же она голодала, когда носила ребенка, мальчик слаб – и он умирает.

Выживет обычная дочь Воблы-Зои и Спиридона, сына Власа, персонажа темного, хотя автор и пытается его обелить, говоря мельком о том, что Спиридон искупил спасением многих людей и фронтовыми ранами свои старые уголовные грехи. Однако лейтмотив отчетлив: светлое, зачатое в любви-сострадании, оказывается у Елены Крюковой обреченным на гибель. Можно посмотреть чуть иначе, не усматривая здесь сознательного замысла, ведь в любом тексте, если это текст художественный, есть и подтекст, нередко – таймый автором от самого себя. Вот и в «Земле» у некоторых других образов тоже есть подтекстуальная темнота. Например, сцена встречи Власа, Воблы-Зои и матушки Матроны написана светло и бережно (это сознательный слой романа), но внимательно читателю откроется и тень сцены: уродка (так девочку Земфиры называет автор), оказавшаяся пророчицей, превращается в мыслях Воблы в... матушку Матрону Московскую. Такая неэтичная тень-сравнение, к сожалению, по воздействию на робкие души может оказаться сильнее самого света. Особая и очень важная образная линия романа: иконы Земфиры. Земфира – восточная мелодия романа, она башкирка, мусульманка, и учит играть на своем национальном инструменте, думбыре, деревенских детишек. Родив девочку-уродца, она смогла избавиться от отчаянья и полюбить несчастного ребенка только после того, как сходила в православную церковь Михаила Архангела, причем сама начала писать иконы (что странно, ее никто за это никуда не ссылает, а ведь идут 30-е годы) – автор поднимает Земфиру, несущую свой крест, до святости, до ею же самой написанного образа Богоматери, поскольку жертвенной любовью к

несчастному ребенку-пророку женщина искупила грех сожительства одновременно с Власом и его сыном, Спиридоном. Слова Власа относятся и к ней: «Осподи! Божечка мой! И Ты енто видал всё! И не свята ли та матенька, што мёртвова свово робёнка на краю своая могилы на руках нянчила?! И не есь ли она, матка та разнещастна, нова Богородица испытальнова, беднова времени нашева?» Да, хождение по мукам любой женщины-матери, потерявшей ребенка, сближает ее с Богородицей. Сближает и обычное материнство, ведь ребенка рождает женщина в боли. Пушкин видел в своей жене Мадонну, однако все-таки подчеркивал ее суть – чистоту. У Елены Крюковой, к сожалению, и здесь светлые, чистые тона перекрывает тень: Земфиру убивают, а младенец Христос на иконе Земфиры тоже начинает напоминать убитую «уродку». Образы романа, собираясь в словесную симфонию, не вырастают до вершины трагедии – хождения по мукам крестьянской России – и не разрешаются катарсисом, а, как в ярмарочном карнавале, вывернуты, их изнанка невольно оборачивается противоположным смыслом: мир тогда кажется обреченным, уродливым изначально, за ликом иконы скрываются зрачки тьмы. И только в одном – в восприятии самой земли, земли родной, кровной, несмотря на то что люди уходят в нее и с ней «в конце концов становятся одним», свет у Елены Крюковой действительно побеждает.

«Рай! Ты и есть земля.

Рай – это и есть Родина. Она! Можно жить в чужой земле. Можно Родину покинуть и издалёка, из-за морей и океанов, молиться за неё. А можно смеяться над ней, глумиться над ней, ненавидеть её! Мыслью топтать и терзать тех, кто в ней живёт, кто в ней остался жить, страдать, любить её и бороться за неё! И возделывать её землю! И это мы, мы остались в Раю! Мы живём в Раю! И только лишь потому, что мы живём в Раю, вы, никакие враги, нас не победите. Пусть иные земли нашего Рая обнесены колючей проволокой! Рай, он в лицо должен был увидеть Ад, и он увидел его. Настанет время, мы разорвём колючую долгую нить».

Елена Крюкова стихийно религиозна; сплетая в романе дорогу ее сердцу православную символику и страстный языческий плотский дух плодоношения, она поет гимн Земле и ее настоящему хозяину, одушевляющему, одухотворяющему землю, – крестьянину, мечтающему о том времени, когда власть в России станет справедливой и пришедший к власти лидер скажет «громко, во всю глотку, на всю землицу нашу: берите землю, владейте ею! Болейте, грешными, каждой иё болью! Лелейте каждый иё росточек малай! Вот вам она вся – в свободу, в вечно пользование! Растите деток своих на ей, радуйтеси каждой малой, духмяной щепоти иё! Изо всех репродукторов тот клич понесёцца. И коли так – вот и где наступить царство хрестьян! Царство наше, родно государство!» В этом почти революционном гимне звучит высокий чистый звук вечной человеческой мечты: Влас «думал: како бы жити на земле так, штобы не мучитси? Радостью и за-ради радости – жити? Радуга, восстани над пашнею!»

Максимально стилизуя речь героев (трудно поверить, что волжские крестьяне в прошлом, а не позапрошлом веке, говорили так) для литературно-театрализованной их индивидуализации, Елена Крюкова, по сути, создает не прозаический роман, а музыкально-словесную поэму – поэму о крестьянине Власе: в рамках такого поэтического жанра художественно трансформируя и речь, и библейские сюжеты, она имеет

на это право. Если рассматривать «Землю» под этим углом, многое в романе обретет иной, поэтический, символический смысл, – то, что героя зовут Власом, тоже ведь символично, здесь и Пушкин, и Некрасов. И – оправдает и некоторую искусственность самого построения романа и, на чей-то взгляд, излишнюю экспрессивную цветистость ряда сцен, и отсутствие иных крестьянских судеб, кроме судьбы семьи Власа, и опасный отход от православного канона, который допустим при поэтическом восприятии религиозных образов, но в рамках строгой веры может восприниматься как их разрушение. Роман «Земля» весьма сильно способен воздействовать на чувства читающего самой поэтической словесной экспрессией, живописно-музыкальным потоком, мощно звучащим мотивом трагедийной конечности телесного бытия.

Елена Крюкова – плакальщица. Елена Крюкова – поэт. И «Земля» должна прочитываться именно как плач, как поэма в прозе.

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского. Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика», журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

«ОДИН ТОЛЬКО ИСХОД ОБЩЕСТВА ИЗ НЫНЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ – ЕВАНГЕЛИЕ»

Исполнилось 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя

Духовная сторона жизни и творчества Гоголя более полно предстаёт при исследовании взаимодействий идейно-эстетической системы писателя с художественными мирами продолжателей его традиций.

Одним из наиболее близких классику по духу русских авторов, бесспорно, является Лесков – как и Гоголь, «истинный художник-христианин». Свою религиозно-нравственную позицию Лесков заявлял прямо и недвусмысленно: «я почитаю христианство как учение и знаю, что в нём спасение жизни, а всё остальное мне не нужно»^{*}.

Гоголевское художественное наследие было для Лескова живым вдохновляющим ориентиром. Начиная с ранней публицистики, он постоянно обращался к гоголевским темам, сюжетам, мотивам и образам. Во многом сходными у обоих писателей были принципы художественного

^{*} Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – М.: ГИХЛ, 1956–1958. – Т. 11. – С. 340. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы – арабской.

изображения, концепция человека и мира. Родство талантов было замечено уже современниками Лескова: «С Гоголем <...> меня часто сравнивали, – говорил писатель, – но не знаю, достоин ли я этого?» (XI, 385). В то же время он узнавал в Гоголе «родственную душу». Признаваясь в «страсти к Гоголю», Лесков говорил о своей непреходящей увлечённости личностью и творчеством великого классика: «Гоголь – моя давняя болезнь и замороженность». Оба художника слова имели общего небесного покровителя – святителя Николая Чудотворца, угодника Божия. Оба были томимы «духовной жаждою» и искали пути к её утолению. Оба духом припадали к животворному источнику – Евангелию.

«Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии»*, – говорил Гоголь. Солидаризируясь с этой мыслью, Лесков развивал её: «В Евангелии есть всё, даже то, чего нет»**. «Один только исход общества из нынешнего положения – Евангелие***», – пророчески утверждал Гоголь, призывая к обновлению всего строя жизни на началах христианства. Лесков также постоянно говорил о «важности Евангелия», в котором «сокрыт глубочайший смысл жизни» (XI, 233). «Хорошо прочитанное Евангелие» помогло, по лесковскому признанию, окончательно уяснить, «где истина» (XI, 509). Как и Гоголь, Лесков горячо ратовал за восстановление «духа, который причисляет обществу, носящему Христово имя» (X, 411).

Соотнесение эстетических миров обоих писателей не раз становилось предметом изучения в отечественном литературоведении и зарубежной славистике, однако проблема по-прежнему нуждается в развёрнутом представлении и более глубоком уяснении. По справедливому суждению В.А. Воропаева, «гений Гоголя до сих пор остаётся неизвестным в желаемой полноте». То же относится к гению Лескова. Более того – лесковский мир не может быть адекватно понят вне связи с этико-эстетическими, религиозно-философскими исканиями Гоголя. Таким образом, в кругу плодотворных научных задач – исследование гоголевских традиций в лесковском творчестве сквозь призму религиозного мирозерцания двух авторов.

Рассказ Лескова «Путимец» (1883), идейно-ценностный центр которого – православная аксиология и антропология, художественно воссоздаёт облик молодого Гоголя, обнаруживая напряжённую внутреннюю жизнь будущего писателя, его пророческий дар, замечательную способность с первого взгляда постигать характер и саму сущность человека, воздействовать словом на самые глубокие струны человеческой души.

Художественный образ Гоголя как литературного персонажа соотносится с духовным обликом Гоголя как реальной личности. Лесковский текст предоставляет широкие возможности «сцепления» с литературно-публицистическим, эпистолярным гоголевским наследием, позволяет восстановить синхронный литературный контекст и его сокровенную сущность – контекст евангельский.

Несмотря на «апокрифичность», демонстративно подчёркнутую подзаголовком, в рассказе проявляется установка на достоверность как жанровый признак лесковских произведений. Сам автор, переда-

* Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подг. текстов и коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 6. – С. 383.

** Лесков Н.С. Новозаветные евреи (рассказы к стати) // Новь. – 1885. – Т. 1–2. – С. 72.

*** Рукописи Гоголя. Каталог / Сост. Проф. Г. Георгиевский и А. Ромодановская. – М., 1940. – С. 119.

вая сказание «из пятых уст», добивается художественного впечатления правдивости описываемых событий. В свидетельство их вероятности Лесков с кропотливой тщательностью воспроизводит цепочку достаточно надёжных источников устного предания. Исходное звено в этой цепи – родственник «малороссийского патриота и отчасти тоже немножко поэта – Черныша», «который был знаком и даже, кажется, дружен с Гоголем во время его студенчества в Нежинском лицее»).

По внутреннему убеждению автора, эта легенда «о гениальном юноше» вполне соответствует духовной сущности Гоголя, поэтому в «устном рассказе, касающемся юношества поэта», писатель ощущает «что-то живое, что-то во всяком случае как будто не целиком выдуманное», что «необходимо сбересть, хотя бы даже как басню, сочинённую о крупном человеке людьми, которые его любили»). В их кругу – несомненно, сам Лесков. Ему важно в рассказе о Гоголе прояснить собственную антропологическую концепцию, в основных чертах совпадающую с гоголевской. Суть её – новозаветное преображение человека и мира на путях ко Христу, сказавшему: «Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14:6).

Именно евангельский контекст определяет семантику заглавия рассказа «Путимец» (как известно, Лесков придавал чрезвычайное значение названиям своих творений; любил, чтобы «кличка была по шерсти»). Поэтика заглавия проявляет себя в тексте рассказа множеством семантико-стилистических оттенков. В то же время концепт «Путь» в его высоком новозаветном значении становится сверхсмыслом и идейно-художественной доминантой произведения. В подтексте «Путимца» задан христианский вектор: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовётся путём святым <...> идущие этим путём, даже и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35:8). Это магистральное направление, указанное в Библии, отразилось и в русской фольклорно-поэтической традиции: «Призывай Бога на помощь, а святого Николая в путь», «За Богом пойдёшь, добрый путь найдёшь», «Нужный путь Бог правит», «Бог пути кажет».

Экспозиция рассказа представляет собой своего рода религиозно-философскую увертюру, предвещающую кульминацию – духовное обновление человека на пути к Богу.

Молодой Гоголь с первых страниц повествования – в пути – в прямом и метафорическом смысле. В этом плане он тоже «путимец». Образ вечного путника, каким видел себя писатель, хранит вся его переписка – от ранней юности до зрелости. Будучи юношей, в 1827 году он писал своему другу Г.И. Высоцкому: «в глубоком раздумье стоял я над дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее»*. «От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой я иду <...> совершилось всё это не без воли Божией», – признавался Гоголь двадцать лет спустя – в январе 1847 года – С.Т. Аксакову. «Вот уж скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступивший в свет юноша, пришёл в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще», – писал Гоголь В.А. Жуковскому.

В лесковском рассказе дорожный спор двух друзей-попутчиков об особенностях человеческой природы, сокровенных глубинах души,

* Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М.: Худож. лит., 1986. – Т. 7. – С. 35. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.

в которой одинаково возможны и грехопадение, и духовно-нравственное восстановление, выполняет функцию проспекции, предваряя основные события. Гоголь горячо выступает в защиту русского человека, «русской удали», отрицает националистическую узость, не разделяет «крайностей малороссийской нетерпимости» к «кацапам». Заведя беседу «о типическом ямщике великорусском, человеке по преимуществу общительном, разговорчивом и весёлом», герой рассказа восклицает: «великоросс совсем другое: с тем всего какой-нибудь один час проедешь – и перед тобою вся его душа выложится; вся драма его жизни тебе станет открыта. “Душа нараспашку...” Совсем другое!»

В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь подробно объяснял: для постижения русской природы, чтобы уяснить «себе самому определенно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши <...>, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще»; «занятием моим стал <...> человек и душа человека вообще».

Стремление к познанию человеческой души привело Гоголя к самопознанию и Богопознанию: «О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнёшь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься *ближе* с Тем, Который один из всех доселе бывших на земле показал в Себе полное познание души человеческой». Неизбежное следствие самопознания – самовоспитание: «узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей». Писатель указывает путь к уяснению сложных духовных вопросов: «Найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдёшь, тогда этим же ключом отопрёшь души всех»; необходимо «покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего».

Основополагающий «ключ всего» Гоголь нашёл в Боге: «Всё, где только выражалось познание людей, от исповеди светского человека до исповеди ананорета и пустычника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришёл ко Христу, увидевши, что *в Нём ключ к душе человека* (выделено мной. – А. Н.-С.) и что ещё никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он». Исследуя и изображая жизнь, писатель «не совращался с своего пути» и закономерно «пришёл к Тому, Кто есть источник жизни <...>, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу».

Гоголь размышлял о действии Высшего Промысла в его писательской судьбе: «были такие обстоятельства, <...> которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека»; «крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведён я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют её высшие степени и явления».

Важно подчеркнуть, что обострённое стремление разгадать человека владело Гоголем сызмала: «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его»; «жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности»; «прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюдаемому внутреннему над человеком и над душой человеческой».

Историю раннего духовного и идейно-эстетического развития писателя подтверждает его эпистолярное наследие. Уже в первых письмах из Нежинской гимназии, адресованных «дражайшим папеньке и

маменьке», 15-летний Гоголь осознаёт себя взрослым и ответственным человеком: «Как будто бы ещё о сию пору я ещё ребёнок и ещё не в совершенных летах и будто бы на меня ничего нельзя положить», – с укором обращался он к родителям, угадав их желание оградить сына от тревог. «Но как много ещё и от меня закрыто тайною и я с нетерпением желаю вздёрнуть таинственный покров», – писал он матери в первые дни пребывания в Петербурге.

Впоследствии автор «Ревизора» и «Мёртвых душ» в письме С.Т. Аксакову признавался: «внутренно я не изменялся в главных моих положениях. С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатался и не колебался никогда во мнениях главных <...> шёл далее своей дорогой; и точно Бог помогал мне <...> И теперь я могу сказать, что в существе своём всё тот же, хотя, может быть, избавился только от многого мешавшего мне на моём пути».

Таким образом, Лесков – автор «апокрифического рассказа о Гоголе» – нисколько не погрешил против истины, отмечая в личности своего юного героя черты прозорливого и вдумчивого «душеведа»-христианина.

В рассказе в полемике со своим приятелем – «пылким малороссийским патриотом», твердившем про «кацапское бесстыдство, попрошайство, лживость, божбу и прочее», Гоголь настаивал, что «великоросс мог подать большие против малорусса надежды для успехов душевной, нравственной воспитанности»; выражал горячее убеждение в способности падшей человеческой природы к быстрому духовно-нравственному возрождению: «всё, что тебе ещё угодно, можешь отыскать в них дурного, а мне в них всё-таки то дорого, что им всё дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно могут возрасть столь быстро, как никто иной на свете. Сейчас он такой, а глазом не окинешь – как он уже и перекинется, – и пречудесный». Будущий писатель, с жаром отстаивая свою позицию, будто прозревает близкую встречу в дороге именно с таким человеком, в судьбе которого подтвердится справедливость его суждений о возможности взлёта падшей души.

Дар предвидения, которым был наделён Гоголь, не укрылся ни от него самого, ни от окружающих. «К числу мечтательностей своих иногда желаю быть ясновидцем»; «какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою»; «тайное какое-то предчувствие мне предрекает», – делился он с родными в ранних письмах. Ещё в лицее была замечена незаурядная проницательность Гоголя: «Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей».

Дар духовного проникновения явил молодой Гоголь и в лесковском рассказе.

Случай к тому – важная составляющая концепции «сюрпризов и случайностей» русской жизни в творчестве Лескова – не замедлил. Гоголь и его спутник встретили хозяина постоянного двора. С виду благообразный старик поначалу восхитил Гоголя своей русской красотой: «точно Гостомysl!» На расспросы, откуда он родом, полулегендарный «Гостомysl» ответил однословно: «путимец».

Это редкостное слово нельзя отыскать в словарях. Оно не встречается даже в авторитетнейшем источнике – «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. В то же время Лескову оно было хорошо известно: Путимец – название большого старинного села к югу

от Орла. «В литературе меня считают орловцем», – не без гордости говорил писатель. И, думается, неслучайно в этой связи в «апокрифическом рассказе» Лесков соединяет для себя самое заветное – свою малую родину, Орловщину, и своего любимого русского классика. Писатель упоминает о живом интересе Гоголя к великорусскому, именно – орловскому – фольклору, образцы которого ему представляла в доме друзей «няня – давняя знакомая Гоголя, орловка, понятливая, умная и с поэтическими замашками. Гоголь не раз выпрашивал у неё, чтобы она диктовала ему орловские прибаутки и песенки, и записывал их».

Неудивительно, что необычное русское слово, услышанное в дороге, поразило чуткий слух Гоголя и «страсть как понравилось» ему. Будущий писатель, точно «смакуя», принялся его толковать, разбирая этимологию, вслушиваясь в звучание: «“Путимец”! “Путимцы”! – повторял вполголоса, обращаясь к Чернышу, Гоголь. – Какие хорошие звуки! И как у них всё это кстати. Не намеренно, но кстати: человек “путимский”, и вот он сел и сидит *при пути*, и кому надо этот путимец сейчас услужит вот так, как нам, а проезжим людям, которые в этом нуждаются, хорошо. При путях сидят “путимцы”. Честное слово – это прекрасно!».

«Не судите по наружности, но судите судом праведным», – учит заповедь. Так, почтенный вид Путимца обманчив. Он сидит не для услужения путникам «при пути», а наоборот – стоит поперёк пути, подобно архетипическому разбойнику с большой дороги. Этот тать предстаёт в модернизированном виде: пользуясь своим монопольным преимуществом держателя постоянного двора, он обирает путников, взимая баснословную плату за простые нужды, необходимые в дороге: например, утолить жажду. Истомлённые «огнепалящим» зноем друзья поначалу расценили встречу с «путимцем» как «неожиданную благодать». Однако, утолив жажду физическую – молоком, проданным втридорога «душевердным» «надувалой», – Гоголь сильнее начал страдать от жажды духовной.

Мотив жажды: «Уста пересмягли, в груди томящая жажда, а руки нет силы поднять от усталости», – обретает в контексте рассказа евангельское наполнение. Духовная жажда утоляется во Христе, в праведной жизни по Его заповедям: «Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берёт воду жизни даром» (Отк. 22:17); «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7:37). Беседуя у колодца с самарянкой, Иисус возвестил: «всякий, пьющий воду сию, возраждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:13–14).

Гоголь невольно помогает «беспутному» Путимцу обрести этот верный путь, направляет на путь Истины. Подобно библейскому Иоанну Крестителю, он «готовит путь Господу», «делает прямыми пути» к Нему в окаменелой душе, сбившейся с праведного пути.

Учительная установка Гоголя-писателя – «выставить человека как следует», «чтобы он действительно был в урок и в поучение живущему» – в лесковском рассказе представлена в жизненной ситуации. Молодой Гоголь, удерживая своего попутчика от проявлений гнева в отношении учинённого над ними мошенничества, с миролюбивым видом сыграл на жадности «каналыи»-хозяина: «у вас всех дешевле. Спасибо вам на этом, большое спасибо!» Юноша решил проучить «нахального и жадного мужика» таким образом, чтобы наказание пришло к нему

через его же лихоимство. Из лукаво мудрствующего Путимца Гоголь задумал «такого дурня устроить, который сам себя высечет!». (Заметим в скобках, что фразеологию «Ревизора», другие гоголевские афоризмы, доведённые до совершенства, Лесков воспроизводил в своём творчестве нередко; вереница персонажей Гоголя, выполняя определённые идейно-эстетические функции, органично вошла в лесковский художественный мир). «Апокрифичность» рассматриваемого рассказа позволила Лескову высказать следующее предположение: «И, Бог весть, не от сей ли поры, не с этой ли встречи с Путимцем пошли клубиться в общих очертаниях художественные облики, которые потом в зрелых произведениях Гоголя то сами себя секли, то сами над собою смеялись».

Гоголь – герой лесковского рассказа – убеждён в том, что «никогда не нужно отчаиваться в раскаянии человека и не стоит самому ссориться и биться, а надо так сделать, чтобы человек сам себе получил вразумление от своего характера, чтобы он сам себя наказал за свою гадость». Скрытая насмешка в назидание придорожному ловчачу должна возыметь благую цель – призвать «грешников к покаянию» (Лк. 5: 32): «А ты погоди – он покается. Ты увидишь, зачем я так сделал, – я сделал это для того, чтобы он покался».

В то же время в «ничтожном событии», вначале воспринятом Гоголем «очень легко и даже весело, в существе заключалось для него нечто неприятное, нечто столь тяжелое, что он почти страдал от этого». Даже день, проведённый в весёлой и радостной обстановке гостеприимного дома радушных и благочестивых хозяев, не смог заставить Гоголя забыть о случае в дороге. Оставшись ночью наедине с самим собой, юноша производил «строгий анализ над собственной душой», как делал впоследствии Гоголь в «Авторской исповеди».

Размышляя о встрече с Путимцем, он укорял себя за неосмотрительность: «мне его теперь уже даже и жалко становится, потому что я над ним чёрт знает какую штуку подстроил. Ужасную штуку!»; «Я был очень легкомыслен... я сделал дурное дело <...> я не обдумал и поддался дрянному искушению»; «Я мог над ним пошутить, но я устроил над ним слишком злую... слишком злую насмешку... а у насмешника всегда бывает дрянное сердце. Это мучительно!»

Исповедальный мотив покаянного самоуглубления воспроизводится Лесковым в полном соответствии с «Авторской исповедью», проникнутой пафосом строгой самовзыскательности Гоголя: «писатель-творец творит творенье своё в поученье людей. Требования от него слишком велики – и справедливо». Гоголь убеждён, что нет оправданий писателю, который «сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело».

Ведя непрестанную внутреннюю работу, Гоголь ощущал себя и субъектом, и объектом самонаблюдения. Он признавался, что «наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника». Это духовное самообразование, согласно гоголевской исповеди, было предопределено «желанием совершенства, если сходил за тем Сын Божий, чтобы сказать нам всем: “Будьте совершенны так, как совершен Отец ваш Небесный”».

Заповедь Христа: «Будьте совершенны» (Мф. 5:48) – вершина Нагорной проповеди – служила также главным религиозно-нравственным ориентиром для Лескова, который адресовал всё своё творчество тем, «кто хочет совершен бытии».

Указанному в Евангелии пути совершенствования нет конца, не поставлено никаких пределов. Поэтому писатель, одинаково считают Гоголь и Лесков, не вправе быть скорым на обвинения несовершенному человеку. «Бог Вам судья в этом деле, а не я»*, – говорит Лесков рассказавшейся грешнице в неоконченном рассказе «Дама с похорон Достоевского» (1890). Так же размышляет и Гоголь: «Не мешало бы подумать <...>: “Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека – кладезь, не для всех доступный иногда <...> Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мёртвый труп”» (6, 439).

Отсюда – осознание обоими писателями величайшей ответственности за неспроста, учительное слово в полном соответствии с поучением Христа: «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37). Слово, обладающее жизнестроительной силой, включается в евангельский контекст: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14). Сакральное Слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1) – соотносится с творящим словом вообще, которое есть дар Святого Духа: «Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 12:12).

Гоголь-писатель обострённо чувствовал священную сущность искусства слова: «чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято <...> словесное поприще есть тоже служба». Юный Гоголь в рассказе Лескова также отдаёт себе отчёт в том, что слово имеет разительную силу, обладает действенной духовной энергетикой. Оно способно изменить устремления души и саму судьбу человека – как в истории с Путимцем, которая произвела на будущего писателя «сильное впечатление. Во-первых, его ужаснуло – как точно и как скоро исполнился в шутку им затеянный план, чтобы жадного вымогателя проучила чья-нибудь чужая суровая рука; а во-вторых – Гоголь во всём этом видел происшествие не случайное, а роковое откровение, и притом откровение, имеющее таинственную цель просветить его именно ум».

«Просвещённый» Божественным откровением ум Гоголя впоследствии привёл его к основным писательским установкам: «Опасно шутить писателю со словом» (6, 188); «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними» (6, 187); «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» (6, 187). Эти афористически выраженные христианские убеждения определили смысл главы IV «О том, что такое слово» «Выбранных мест из переписки с друзьями» и пафос книги в целом: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще – слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном.

* Цит. по: Фаресов А.И. Н.С. Лесков в последние годы // Живописное обозрение. – 1895. – № 10. – 5 марта. – С. 184 – 186 // Конволют А.Г. Биснека. – С. 61. (Статья А.И. Фаресова содержится в конволюте А. Г. Биснека – из личной библиотеки А.Н. Лескова, хранящейся в отделе редкой книги Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева. Рукой сына Н.С. Лескова на первой странице в центре сделана запись: «Получено в дар от Андрея Густавовича Биснека 19 июля 1940 года. Андрей Лесков»; ниже – следующая запись: «Этот исключительной милоты и культуры человек погиб в блокаде Ленинграда от голода. Андрей Лесков»).

Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздаётся гнилое слово о гнилых предметах» (6, 188).

Известно, что писатель много молился, виня себя самого в духовном несовершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело», – писал он накануне паломнической поездки по святым местам.

Юноша Гоголь – герой лесковского рассказа – всю ночь, не смыкая глаз, бодрствует и горячо молится. Художественный текст снова вызывает евангельские аллюзии – настойчивый, троекратный призыв Христа к Апостолам в Гефсиманском саду: «бодрствуйте со Мною»; «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 38, 41). В этой сцене Лесков рисует Гоголя «на коленях, со сложенными на груди руками, с низко упавшею на груди головою. Он молился... О ком: о себе, о Путимце, о России, которую он так чисто любил и так нежно защищал, меж тем как она “была черна неправдой чёрной”... Но тогда тем более причин было о ней молиться...»

Упоминание о том, что у Гоголя «несколько раз наворачивались на глаза слезы», также соответствует подлинному внутреннему облику экзальтированного юноши. Впоследствии писатель делился с В.А. Жуковским: «ещё бывши в школе, чувствовал я временами расположение к весёлости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению (7, 322). О том же свидетельствуют гоголевские письма – лирические излияния – с их повышенной эмоциональностью: «Ещё с самых времён прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага»; «верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрёл благу», – писал из Нежина 18-летний лицеист.

Уже с юности Гоголь почти *неземной*: «душа моя хочет вырваться из тесной своей обители». Он жалуется на «существователей», которые «задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека». Ему чужда мысль, «как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире»; претят «мошеники», которые «дерут предорого и ни на грош не приносят пользы».

Примечательно письмо из Нежина от 1 марта 1828 г. Гоголь пишет матери, что претерпел «столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч.» и признаётся: «Всё выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя <...>. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми <...> Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро». Это подлинное глубокое выражение внутренней жизни молодого Гоголя созвучно мысли героя рассказа о том, «как один человек с добрым настроением способен принести добро другому, доказать ему безобидно его недостойность и подвинуть его на лучшее». В «Путимце» Лесков представил нравственный «урок», вероятно, подобный тем,

которые получил юный Гоголь в действительности и которые научили его не устремляться «на *порицанье* действий другого, но на *созерцанье* самого себя»; привели к важнейшим писательским установкам; сформировали этико-эстетическую концепцию: «Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это *живые люди*, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные *народные* наши качества и свойства, <...> чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё, омрачающее благородство природы нашей» (7, 325).

Духом проникая в грядущее, предчувствуя будущее великое страдание Путимца, Гоголь преисполнен сострадания к заблудшему: «А может быть, он до сих пор уже что-нибудь претерпел» (XI, 60). В то же время, согласно антиномиям православной аскетики, в очистительном страдании – спасение: «о Путимце он всё-таки заключил, что он “непременно раскается и хорошо кончит”». Юноша-Гоголь сумел прозреть судьбу старика-Путимца: «он сам спасётся. Ты это попомни».

Могучее очистительное и просветительное действие гоголевского слова на Путимца – в христианском русле: «Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105) – в финале привело его на путь монашества, христианского подвижничества. Такое духовно-нравственное возрастание, на первый взгляд, представляется невероятным: делец, мошенник, разбойник с большой дороги становится монахом-аскетом. Вместе с тем здесь заключён закономерный итог, к которому ведёт внутренняя логика рассказа. Художественное воплощение получает лесковское убеждение в том, что «двойственность в человеке возможна, но глубочайшая “суть” его всё-таки там, где его лучшие симпатии». Вслед за Тертуллианом Лесков любил повторять, что «душа по природе христианка». Гоголь в предсмертных записях оставил «пасхальный» завет воскресения «мёртвых душ»: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник».

Обратившись к Христу при косвенной помощи Гоголя, «тать и разбойник» Путимец духовно преобразуется в набожного, благочестивого и кроткого слугу Божьего. В полном соответствии с православной антропологией, когда и последнему грешнику не закрыта дорога к спасению, показаны полярности духовно-нравственного преображения человека. Вспоминая «Жития святых», Гоголь в рассказе Лескова восклицает: «Какие удивительные повороты жизни! Сегодня стяжатель и грешник – завтра всё всем воздал с лихвою и всем слуга сделался; сегодня блудник и сластолюбец – завтра постник и праведник...» В уста главного героя рассказа вложен важный тезис христианской аксиологии: «Да, я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто способен на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит! <...> Христос их любил. <...> людей грешных, да способных быстро всходить вверх, как тесто на опаре...»

Нет сомнений, что уже в юности Гоголь глубоко знал Священное Писание, был хорошо знаком с христианской агиографией. В рассказе «Путимец» он советует своему националистически настроенному

спутнику, имевшему любимую повесть о том, «как в Туле надули малороссийского паныча»: «читай книги божественные <...> Читай, что писано в “Житиях” о русских святых...»

Неотразимой аргументацией в споре о великих возможностях духовной природы человека служит для Гоголя Евангелие. Оппонент будущего писателя, зная его привычку апеллировать к Священному Писанию и высокую компетентность в христианском учении, вынужден капитулировать: «Черныш только рукой махнул и сказал ему:

– Ну-ну, теперь “воссел еси, Господи, на апостоли твоя, яко на кони”». Так, в Деяниях Апостолов сказано, как вступившие в спор с их учеником, «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил».

Гоголь указывает на евангельские имена начальника мытарей, блудницы, слепого от рождения, которым дано было просветление в Иисусе Христе: «Закхей и Магдалина, слепец Вартимей... Над ними явлены чудеса!»

Особенно вдохновляет героя лесковского рассказа история Вартимея, и неслучайно. Христианская концепция мира и человека, определившая уникальное идейно-художественное своеобразие «Путимца» и в целом мировидение писателя, проецируется на эпизод Евангелия от Марка: «И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги (выделено мной. – А. Н.-С.), прося милостыни»; «Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге». Мотив дороги, пути, следования за Христом звучит здесь особенно призывно.

Евангельскую метафору слепоты и прозрения Гоголь – герой Лескова – трактует следующим образом: «Только подумай, этот Вартимей... какая, по-твоему, была его слепота? Мне сдаётся – душевная. Чем он был слеп? – тем, что ничего не видали очи его помрачённого ума... И вдруг... одно только слово, одно “малое брение”, плюновение на землю, и очи отверзлись... И как широко... как далеко взглянул он. Всё роздал – себе ничего не оставил. Чудо! и прекрасное чудо!.. Люблю это чудо, и люблю таких людей, с которыми оно творится».

«Прекрасное чудо» восстановления Божьего образа в падшем человеке, сотворённое с Путимцем неисповедимыми путями Господними, через глубокое покаяние привело его на служение Богу и людям. Старик не ищет лёгких путей, к Господу ведут «узкие врата» и «узкий путь», в Царствие Божие «всякий усилием входит» (Лк. 16:16). Для своего аскетического подвига герой выбрал не близлежащую обитель, хотя «Киев ближе, и монастырей там много», а «сошёл в далёкий Нилон монастырь» на Столбной острове, что среди озера Селигера», потому что «тамшний святой очень нравился». На взгляд Путимца, преподобный Нил Столобенский был всех «преподобнее».

Монастырь на Селигере вырос на месте отшельнического подвига преподобного Нила, Столобенского чудотворца. Святой старец поселился на пустынном острове Столобном в 1528 году. После пожара 1665 года, в котором сгорели дотла все постройки Ниловой пустыни, были обнаружены нетленные мощи преподобного. Православный источник сообщает, что Нило-Столобенская пустынь «постепенно превратилась в одну из самых благолепных и посещаемых богомольцами обителей». Уже в XVIII веке она стала «едва ли не самым почитаемым монастырём во всём Верхневолжье. Братия монастыря прославилась в округе

своим трудолюбием и богобоязненностью, а паломники особенно любили обитель за то, что здесь сохранился дух древних монастырей»^{*}.

Преподобный Нил, помимо отшельничества, принял на себя совершенно особый, уникальный подвижнический труд. Он никогда не позволял себе прилечь и даже присесть. Когда же совсем изнемогал, давал отдых ногам, опираясь подмышками на крюки, вбитые в стену кельи.

Являя «гениальное чутьё к Православию»^{**}, Лесков вплетает в художественную ткань своего рассказа агиографический источник: «писано, что никогда не спал, а только “мало отдыхал, облегаясь пазухами об острые крючья”»; «так верно в житиях писано: никогда не ложился, а только облегался пазухами об острые крючья <...> чтоб Богу угодить».

Житийное предание о преподобном старце легло на благодатную почву. На пути духовного возрастания преображённый Путимец захотел потрудиться именно при таком святом и «в самой, какая возможно, чёрной работе. Просто сказать – он ныне там самые поганые ямы чистит». Однако через своё покаянное, униженное служение герой достигает духовного первенства, «ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). Так, согласно евангельской заповеди, «последние» становятся «первыми» и «первые последними»: «кто хочет быть первым, будь для всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35).

В соответствии с православной антропологической концепцией «единства и цельности» Путимец становится на путь духовно-душевного «самособирания» человека в Боге. «Устремление человека к Богу не философский тезис, а реальная жизненная установка, род активности, – пишет С.С. Хоружий. – <...> Человек, устремляясь к Богу, должен выступать как единство и цельность уже в эмпирическом своём существе, в реальной духовно-душевной данности. Однако такие единство и цельность сами по себе отнюдь не обеспечены человеку. Их нужно достигать»^{***}. Путимец «в старости своей достигает <...> облегаясь пазухами», следуя подвижническому житию преподобного Нила.

В финале рассказа Лесков соотносит судьбу Путимца с жизненным путём Гоголя: «Гоголь умер в молодом веке, а старый Путимец, пожалуй, позабыл считать годы и живёт». Жертвенный путь, к которому невольно подвигло старика гоголевское слово, с ранних лет привлекал самого Гоголя: «даже в детстве, даже во время школьного учения <...> мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». Религиозные искания на пути духовного освобождения в последние годы жизни писателя вызвали в нём острое «томление духа». «Тут все переболели сердцем, читая весть про душевные муки поэта, начавшиеся для него томлением, которое предшествовало и, может быть, частью вызвало “Переписку с друзьями”», – пишет Лесков. Стезя великого русского писателя, обрекшего себя «на нищенскую и скитающуюся жизнь», – это аскетический путь бесприютного странника. «Как будто нарочно дала мне судьба тернистый путь», – говорил Гоголь.

* Православные монастыри. Путешествие по святым местам. Нило-Столобенская пустынь. – 2009. № 12. – С. 3, 6.

** Дурылин С.Н. О религиозном творчестве Н.С. Лескова // Христианская мысль. – Киев, 1916. – № XI. – С. 77.

*** Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб.: Алетейя, 1994. – С. 297.

Мысль о монашестве не оставляла его: «Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живёт он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая, непорочная душа умеет только беседовать с Богом». Это образное сравнение, подчёркивающее духовную высоту писательского труда, «художнически-монастырской работы», постепенно перерастает в убеждение: «нет выше удела на свете, как званье монаха». В письмах Гоголь признаётся, что больше годится «для монастыря, чем для жизни светской».

Укреплению православного идеала способствовало глубокое вхождение писателя в молитвенный духовный опыт, обращение к свято-отеческому наследию. Так, Гоголь просил прислать ему в Рим «молитвенник самый пространный, где бы находились все молитвы, писанные отцами Церкви, пустынноиками и мучениками». Писатель по-монашески «келейно» штудировал труды святых отцов, делал выписки из богослужебных книг, создавал собственную духовную прозу.

Основательное знание и любовь к творениям отцов Церкви объединяет Лескова с Гоголем. Лесков, генетически связанный со священническим родом, считался одним из лучших знатоков церковной истории. Духовные образы глубоко укоренились в художественном сознании писателя, «с ранних лет жизни» имевшего «влечение к вопросам веры», убеждённого в том, что «если есть Божья искра, она не потухнет». Гоголь и Лесков при всей их творческой индивидуальности одинаково горячо ратовали за восстановление образа Божьего в «пошлом», «холодном, раздробленном, повседневном характере» человека, опутанного «всей страшной, потрясающей тиной мелочей». Задача плодотворная и сейчас, ибо «цели христианства вечны» (XI, 287).

На сохранившемся в Оптиной пустыни первом томе «Мертвых душ» (СПб., 1842) Гоголь отметил: «Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников»*. Именно такое «не кривое», а христиански прямое понимание души, созидательное «стремление к высшему идеалу» (X, 440), свойственное обоим русским классикам, нашло художественное воплощение в лесковском «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец».

* Цит. по: Матвеев П. Гоголь в Оптиной пустыни // Русская старина. – 1903. – Т. 113. – № 2 (февраль). – С. 303.

Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имажинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книгоvek», 2016), а также двух собраний сочинений – Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книгоvek», 2013) и Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016). Готовится к печати книга «Последний денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной). Литературоведческие статьи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Homo Legens, публицистика – на порталах «Свободная пресса», «Кашин», «Перемены», Textura и «Rara Avis: открытая критика». Автор двух стихотворных сборников. Живёт в Химках.

ЛЕОНИД ГУБАНОВ И БОРИС ПАСТЕРНАК

Они никогда не встречались. Да и не могли.

Губанов, конечно, знал о Пастернаке: когда на весь мир разворачивается травля за роман «Доктор Живаго» и происходит шумная история с получением Нобелевской премии, трудно всего этого не замечать. И всё-таки надо учитывать возраст. К 30 мая 1960 года Губанову было всего 13 лет.

Андрей Журбин в своей монографии, конечно, пишет, что «как и в случае со сведениями о том, что Лермонтов присутствовал на похоронах Пушкина, есть неподтверждённые данные о посещении Губановым похорон Бориса Пастернака», но надо признать: ситуация маловероятна. Если бы это случилось, отразилось бы в стихах или же отложилось в мемуарах.

Есть лишь отголоски – в стихотворении «На смерть Бориса Пастернака»^{*}:

А кладбище покрыто копотью,
и нет спасенья от копыт,
с окостеневшим криком – кто тебя?! –
тюльпаны лягут на гранит.
Мы треугольники вбиваем,
чтоб камень с камнем породнить,
мы даже смелыми бываем,
когда зовут похоронить.

^{*} Губанов Л.Г. На смерть Бориса Пастернака // «Я сослан к Музе на галеры...» – М.: Время, 2003. – С. 336.

Но здесь не прямое видение похоронной процессии, а скорее взгляд на современников и на советских людей в целом. Вероятно, в последних двух строчках можно разглядеть ироничную шпилечку в адрес Андрея Вознесенского, который, как тогда казалось, взвесив все репутационные риски, не пришёл на похороны своего учителя.

Датировка текста вызывает вопросы. Название названием, но точных данных, когда стихотворение было написано, нет.

Зато есть другие свидетельства. Проходит год-другой – и Губанов становится завсегдатаем переделкинской дачи. Всё началось со встречи с Евгением Пастернаком. Тот пришёл на могилу отца и обнаружил мальчишку, мирно спящего на лавочке. Растолкал его. Они познакомились и разговорились. Юный поэт* поведал, что вместе с классом отправился в туристический поход по ближайшему Подмосквью, но отбил от группы и решил заночевать на могиле своего кумира.

После этой встречи Губанов регулярно приезжал в Переделкино. Как правило, на мемориальные даты. Но мог выбраться и спонтанно. В 1964 году появляется стихотворение «Вдвоём», где есть такие строчки:

Я стар своей большой любовью,
и день любой её мне дорог.
Твой поцелуй тяжёл и долог,
а сладок только болью, болью.
Я в Переделкино, я в соснах,
которым сослепу не видно –
когда ты любишь, ты несозна,
а если нет – непоправима.

Евгений Пастернак вспоминал, что были и знаменательные встречи: «Он приходил несколько раз на какие-то общие праздники; встретился у нас с Андреем Донатовичем Синявским**, который, сидя на корточках на полу (так сидели, рядышком), долго его слушал; ну и как литературный требовательный критик, сказал ему, что нужно работать, нужно усовершенствоваться*** <...> тогда мы <...> были с [Синявским] знакомы,

* Губанов начал читать стихи о протекающей по Переделкину речке Сетунь. Евгению Пастернаку казалось, что молодой человек сочиняет их на ходу, экспромтом. Это было действительно свойственно Губанову. Так или иначе, большую поэму «Сетунь» мы можем найти в сборнике «Я сослан к Музе на галеры...».

** Там же, в переделкинском доме, надо полагать, состоялось знакомство и с другим исследователем – с В.М. Борисовым. Он работал над комментарием к «Доктору Живаго». Владимир Алейников писал: «Вспоминаю время, когда Дима, вместе с Евгением Борисовичем, старшим сыном поэта, готовил к изданию сочинения Пастернака, писал статьи, составлял обширные комментарии». – Подробнее см.: Алейников В.Д. СМОГ // Собрание сочинений в восьми томах. – М.: Рипол-Классик, 2015. – Т. 6. С. 368.

*** О тщательности, с которой Губанов работал над своими текстами, писала Н. Шмелькова: «Некоторые поклонники губановской поэзии все-таки считали, что у него много поспешного, проходного, что как поэт он до конца не реализовался. Никаких советов и замечаний Леня не принимал. Он и сам знал, что хорошо сделано, а что нет. Помню, позвонил он мне поздно вечером, сказал, что хочет прочесть что-то новое. Читал, почти не прерываясь, около часа. Я услышала цикл блестяще отработанных стихотворений. А когда выразила восторг, он спокойно сказал: “Я и сам знаю, что это удачно”. И добавил: “Над стихами, конечно, надо работать, как учил этому Пастернак”.» Подробнее см.: Шмелькова Н. Во чреве мачехи, или жизнь – диктатура красного. – М., 1999. – С. 120–121.

потому что он писал предисловие к первому серьёзному посмертному изданию Пастернака в Большой серии “Библиотеки поэта”».

Владимир Батшев дополняет картину и отмечает, что Губанов тогда знал всю старую литературную Москву и водил друзей-поэтов по салонам Лили Брик и Рюрика Ивнева, заезжал в гости к Евгению Пастернаку* и Алексею Крученых.

В середине октября 1964 года Хрущёв уходит со своего поста. За несколько дней до этого информация уже просачивается в народ. Губанов узнаёт об этом от своей матери, работницы ОВИРа, и звонит другу и поэту Владимиру Алейникову. Тот вспоминал, что тут же было принято решение посетить могилу Пастернака. Быстро собрались и выехали. По пути забежали в продуктовый магазин и взяли вино. Встретились на станции метро «Киевская» и сели в электричку до Переделкина.

Было волнительно. На следующее утро должна была начаться новая эпоха: ещё одна попытка для оттепели или ещё большие заморозки – это вопрос. Важным оставалось – встретить новый день в знаковом месте.

И вот они прибыли на станцию, дошли до могилы. Алейников рассказывал** : «Мы пили не только вдвоём – пили и с Пастернаком, – смеялись, плакали оба – и звали, звали его. Он пришел. Он, конечно, пришел. Мы курили – вместе, втроём. Говорили – вместе, втроём. Как не вспомнить было тогда? – ...пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По...»*** Последняя строка – из самого Пастернака, из его стихотворения «Про эти стихи» (1917):

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь форточку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

В январе 1965 года возникает поэтическая группа СМОГ («самое молодое общество гениев»), в манифесте которого значилось: «Рублев и Баян,

* В архиве Е.Б. Пастернака остались рукописи и машинописи стихотворений Л.Г. Губанова – «Гусли», «Блокада», «Палачам», «Преображение» и др. (РГАЛИ, ф. 379, оп. 6, ед. хр. 921).

** Алейников В.Д. Тадзимас // Собрание сочинений в восьми томах. – М.: Рипол-Классик, 2015. – Т.5, С. 340–341.

*** Андрей Журбин находит вариацию Губанова на эти пастернаковские строчки: «“Дай, Лермонтов, мне трубку, я набью, /.../ Дай, Лермонтов, мне рюмку, я допью...” звучит более неформально и дерзостней, чем “Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд...” в “Молитве перед поэмой” из “Братской ГЭС” эстрадника [Евтушенко]. Это уже в духе пастернаковского “Про эти стихи”: “Пока я с Байроном курил, / Пока я пил с Эдгаром По”. Подробнее см.: Журбин А.А. Отраженья зеркальных осколков: заметки о жизнелюбстве Губанова – Астрахань: ГП АО «ИПК “Волга”», 2013. – С. 47–48.

Радищев и Достоевский, Цветаева и Пастернак, Бердяев и Тарсис* влились в наши жилы как свежая кровь. И мы не посрадим наших учителей».

Шестидесятники, чертковцы, ахматовские сироты приходили в литературу и шли на прямой контакт с поэтами Серебряного века. Им было важно донести «теплоту рукопожатия» до массового читателя, то есть издать своих учителей и забытых или запрещённых поэтов. Смогисты же изначально выбрали иную парадигму – внесоветскую (не антисоветскую, а именно внесоветскую).

У Губанова было:

Я вам не белый и не красный
Я вам – оранжевый игрок.

Им было важно выйти из культурного поля СССР. Поэтому-то в манифесте и возникает столь одиозный список: Рублёв и Баян с явным национальным оттенком, вольнодумцы Радищев и Достоевский, серебряновековские Цветаева и Пастернак, насильно вытолканные из страны Бердяев и Тарсис**.

Если посмотреть на столь различные и даже противоречивые литературные пристрастия молодых поэтов, опять-таки можно увидеть, что чуть ли не единственная консенсусная фигура для них – это именно Пастернак.

Юрий Кублановский писал в дневнике за 2008 года: «На могилу Пастернака поехал в первые же дни университетской учебы (сентябрь 64 г.). Евгений с женой благоустроивали могилу. Я с ходу понял, что это *сын* Пастернака, столь велико было сходство». То есть – за месяц до знаменательной поездки Губанова и Алейникова.

Последний в самом начале 1960-х читал и распространял по друзьям стихи из «Доктора Живаго», «фантазмагоричную» «Вакханалию», «Нобелевскую премию» и отчасти прозу. Почитал Пастернака (вместе с Мандельштамом, Цветаевой и... Ходасевичем) – другой смогист – Сергей Морозов. А тот же Кублановский, как и его старший коллега, в своей поэзии проделал путь от пёстрой метафоричности и сложности к предельной простоте.

В Пастернаке сошлось сразу несколько дихотомий – поэт и гражданин, еретик и помазанник Божий, авангардист и традиционалист. При жизни он стал символом не только вольнодумия и смелости, но и долголетия и смирения. В этом плане характерно стихотворение не Леонида Губанова, а другого неподцензурного поэта – Глеба Горбовского – «Борису Пастернаку» (1959):

* Тарсис В.Я. (1906–1983) – советский писатель и диссидент. После появления его произведений на Западе 23 августа 1962 года был помещён в психиатрическую больницу. После выхода из неё в марте 1963 года вышел из КПСС и Союза писателей СССР. Был близок со смогистами: редактировал их журнал «Сфинксы» (1965). Лишён гражданства СССР 17 февраля 1966 года.

** Владимир Алейников подмечает одну характерную особенность Тарсиса в кругу смогистов: «В данном случае – воспоминание, да какое! – о Пастернаке. Сводилось оно, всегда, в любых обстоятельствах, к следующему: “Иду я как-то по улице Горького вверх, а навстречу мне, вниз, идет Пастернак. Поздоровались. «Как дела, Борис Леонидович? – спрашиваю его. – Чем заняты?» — «Да вот, Валерий Яковлевич, – отвечает Пастернак, – курить надо бы бросить!» – И дальше пошел. Какой человек! Простой в обращении. Без всякой заносчивости. Доверился мне. Рассказал о своей проблеме!..” Рассказ этот слышал я, наверное, раз десять». – Подробней см.: Алейников В.Д. СМОГ // Собрание сочинений в восьми томах. – М.: Рипол-Классик, 2015. – Т. 6. С. 223–224.

В середине двадцатого века
 На костер возвели человека...
 И сжигали его, и палили,
 Чтоб он стал легче, пыли,

Чтобы понял, какой он пустяшный...
 Он стоял – бесшабашный и страшный!
 И стихи в голове человека
 Стали таять сугробами снега...

Если посмотреть на неподцензурную литературную карту того времени, то мы увидим большое количество эссе о Пастернаке или стихотворений и посвящений ему. Назовём лишь несколько знаковых фигур – Галич, Вознесенский, Галимов, Седакова, Бобышев, Высоцкий. Для литературной послевоенной молодёжи Борис Пастернак – это символ культурного сопротивления.

У Губанова же восприятие чуть сложнее. Во-первых, прослеживается более интимное отношение к Пастернаку. В доме по улице Красных зорь в Кунцеве висит целая фотогалерея любимых поэтов: Есенин с трубкой, Цветаева с бусами, Пастернак (в профиль), Хлебников в шапке.

В 1966 году Губанов и Алейников снимают дачу в Переделкине. Всё организовала Алёна Басилова – она присмотрела подходящий дом и договорилась с хозяевами об оплате. Алейников вспоминал: «...две небольшие комнаты, на втором этаже и на первом, в деревянном доме, с просторным участком, где густо росли высокие сосны, где был избыток зеленой травы, в том числе и крапивы, где близко, за шатким, условным забором, за откосом, поросшим цветами, проносились, крича, электрички, нарушая время от времени подмосковную тишину...» К ним в гости заглядывали Генрих Сапгир, Наталья Горбаневская, Вадим Гинзбург, Борис Дубовенко и, конечно, смогисты:

Приезжали сюда – смогисты.
 Доморощенные артисты.
 Кто – с гитарой, кто – со стихами,
 кто – с бутылкой, кто – налегке.
 Были – всякие. Налетали.
 Нашумевшись власть, замолкали.
 Вспоминать их надо едва ли.
 Исчезали все – вдалеке.

Во-вторых, для Губанова Пастернак видится как вынужденный дачник, пишущий в Переделкине прозу, отражающую духовный путь всего двадцатого века. Развивая мандельштамовское «Дайте Тютчеву стрекозу – / Догадайтесь почему» Губанов пишет стихотворение «Дай монаху день мохнатый...» (в современных изданиях оно даётся под названием «Молитва. 1968-й год. Кунцево»), где появляются строчки:

Дай закату три зарплаты,
 Домовому – треск колоды,
 Пастернаку – злость лопаты
 В облигациях уroda...
 Ну а мне дай мужество –
 Никогда не оглядываться!..

Здесь Пастернак сопрягается не только с Мандельштамом, но и с Маяковским, у которого в стихотворении «Я» (1913) век проявляется как уродец*: «Время! / Хоть ты, хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века!»

Сам же лирический герой, за которым виднеется автор, просит о мужестве. Дело в том, что после шумных литературных и диссидентских акций СМОГа за Губановым началась слежка. Мемуаристы вспоминают, что у дома в Кунцеве, на литературных собраниях, на творческих вечерах, в поездках (в том числе и при посещении могилы Пастернака) легко можно было распознать сотрудников в штатском. Мужество «никогда не оглядываться» и жить, как будто вопрошая «Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» – вот что было необходимо смогисту**.

В творческом наследии Губанова насчитывается как минимум девять стихотворений, где были упоминания Пастернака, посвящения ему, реминисценции и аллюзии на его тексты и эпитафии из них. Из неназванных выше стоит отметить «Двадцать восемь строчек Борису Пастернаку», «Темпераментная темпера» (посвящено Пастернаку); «Сорока церквей не строил» (с эпитафией из Пастернака); «Подражание Игорю Северянину» (с упоминанием Переделкина), а также поэмы «Мой сад» (1964) и «Разговор с катафалком».

Как мы видим, это были не прямые отношения двух поэтов, но полное погружение Губанова в историко-культурный контекст, чтение пастернаковских текстов (в том числе в рукописях), жизнь в Переделкине, общение с родными поэта. И как итог всего этого – вдохновение. Это ли не счастье и не сопряжение судеб?

* Андрей Журбин видит ситуацию иначе: «Как и в лермонтовской “Смерти Поэта”, гибель адресата сводится не к конкретному убийце (образ палачей скорее обобщенный), но является следствием противостояния обществу, “веку-волкодаву”, при этом помимо скорби присутствует и обличение». Подробней см.: Журбин А.А. Отраженья зеркальных осколков: заметки о жизнетворчестве Губанова. – Астрахань: ГП АО «ИПК “Волга”», 2013. – С. 51.

** Владимир Алейников вспоминает один странный эпизод, когда Льва Озерова в мае 1965 года как раз-таки приняли за человека в штатском: «...собрался народ в Переделкине, на кладбище местном, тихом, заросшем цветами и травами, пронизанном птичьими трелями и солнечными лучами, на могиле здесь похороненного пять лет назад Пастернака. Приехали в Переделкино, конечно, и мы, смогисты. Стал Губанов читать стихи. И тут налетел на него разъяренный вконец Лев Озеров: “Прекратите сейчас же это вопиющее безобразие! Очистить немедленно требую это священное место!” – кричал он, сверкая очками, а с тыла его прикрывали две разодетые в пух и прах упитанные, холеные, с браслетами и перстнями, столичные важные дамы. И тогда на передний план вышел стоявший ранее в сторонке, не очень приметный, худенький старичок. И сказал повелительно Озерову: “А ну, замолчите! Хватит! Знаем мы вас хорошо. Знаем, кто вы такой. Можем и рассказать, принародно, чтоб все услышали, что конкретно о вас мы знаем. Не мешайте поэтам читать стихи. Пастернаку это понравилось бы. И людям, собравшимся здесь, стихи нравятся, без сомнения. Ну а вы – уходите. Немедленно”. И сразу же стушевавшийся, замолчавший, поджавшийся Озеров, сопровождаемый дамами упитанными, защитницами, с тыла его прикрывающими, быстро слинял с кладбища. Народ, наблюдавший это, аплодировал старичку». – Подробней см.: Алейников В.Д. СМОГ // Собрание сочинений в восьми томах. – М.: Рипол-Классик, 2015. – Т. 6. С. 268.

ВЕНОК ЮРИЮ АДРИАНОВУ

Выдающемуся нижегородскому поэту
Юрию Андреевичу Адрианову (18.06.1939–12.08.2005)
в июне исполнилось бы 80 лет

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ПОЭТЫ (Исповедь читательского сердца)

В детстве я старательно переписывал в заветную тетрадочку любимые адриановские стихи, где уже были записаны стихи Есенина и Маяковского. В моей литературной читательской иерархии в поэтические лидеры вырвалась звонкоголосая лира Юрия Адрианова, вполне соответствующая моим юношеским представлениям о настоящей поэзии.

У тебя не прошу я твоей красоты,
Ни любви, ни прощания грустного,
Проводи меня только до первой воды
По обычаю давнему русскому.

Может, озеро будет,
колодец, река,
Пусть исполнится правило преждее...
Вот ручей, как последняя в письмах строка
С утешительной лживой надеждою.

В чем-то я был неправ,
Что-то спутала ты,
Словно долгую зимнюю пряжу...
Проводи же до первой в дороге воды,
Дальше к тракту проселок проляжет.

Там я смою остатки улыбки твоей,
Помолчу на прощанье немного.
Вот и этот, за мостиком,
первый ручей –
Сам спешит, пробивая дорогу...

Это мудро: в истоке грядущей судьбы,
Что едва сквозь года узнается,
Провожали в России до первой воды
До реки, до ручья, до колодца...

В школьном коридоре я вывесил ватманский лист (выпуск стенгазет – яркая примета времени) с претенциозным названием – «Литературная газета». Как и полагается, с неизменными профилями Пушкина и Горького. По замыслу «издателя», газета прорубала окно в большую литературу для автозаводских школьни-

ков и вся состояла из возлюбленных стихов поэта Юрия Адрианова, вдохновенно переписанных из тетрадошки.

Чтобы подготовиться к районному конкурсу школьных сочинений о Родине, учитель порекомендовал обратиться к книге молодого мэтра «Нижегородская отчина» (1971). И вот тут я совершенно онемел – после прочтения не мог вымолвить собственного слова. Юное читательское сердце, словно на классическом спектакле в академическом театре, смогло только едва прошептать: «Браво!» Ну разве возможно подобрать слова признания в любви к Родине лучше тех, что написал Адрианов!..

Потом были встречи: творческие вечера, литературные собрания, разговоры в кулуарах... Но первая встреча с поэтом врезалась в память. Таким я его увидел и запомнил: волна пышных волос, спадающая подобьем водопада на светлый лоб, озаренный взор серых глаз с пронзительно небесным отливом, лукавые лучики морщинок, таящие темную глубинную заводь тишайшей грусти, подчеркнута внушительная ямочка на волевом подбородке... Тогда подумалось: так и должен выглядеть настоящий поэт.

Спустя годы библиотеку, где я упоенно читал и конспектировал книги, назовут именем любимого поэта – Юрия Адрианова. Поговаривают, что поэт не очень любил Автозавод, но рабочий район любил и деятельно любит поэта и не только библиотеку нарек его именем, но и открыл в ней музей, посвященный поэту, где собраны все сборники стихов, рукописи, этюдник, живописные пейзажи и редчайшие фото (Адрианов с первым космонавтом Гагариным, Адрианов с писателем Валентином Распутиным, Адрианов со студентами). Директор библиотеки имени Юрия Адрианова И.И. Неугодова, всегда приветливо встречающая гостей, проводит огромную работу по сохранению памяти и популяризации творчества поэта.

Адриановская поэзия для интеллигенции Нижегородчины если затмевала столичных авторов, то во всяком случае ни в чем им не уступала, а тематически близкими нижегородскими сюжетами была просто незаменимой. Не отсюда ли появилось знаменитое крылатое адриановское выражение – «Провинциальные Гомеры»?

По-иному масштабность и значимость творчества патриарха нижегородской поэзии лаконично сформулировала Татьяна Павловна Виноградова, профессор ЮНЕСКО, внучатая племянница великого Добролюбова: «У нас есть свой поэт».

И здесь вспоминаются известные крылатые строки: «У каждого времени свои поэты, но есть поэты на все времена!»

Михаил САДОВСКИЙ

Николай РАЧКОВ

г. Тосно, Ленинградская область

Юрий Адрианов

Погладив рукой бородку,
Глядя в свое окно,
Он признавал лишь водку
И не любил вино.

Непрочность славы изведав,
Одних лишь врачей боясь,

Нижегородских поэтов
Был он удельный князь.

При свете зари вечерней
Он благостен был и мил.
Но слушая скучно челядь,
Редко кого хвалил.

Одной поэзии данник,
Одну Россию любя,
От всей суеты
как странник
Он уходил в себя...

С грустинкой нежной во взоре,
Напомнив нам о былом,
Стихи в славянском уборе
Цвели за его столом.

Он черпал ковшом из братины
И чтил лишь высокий слог.
Себя до конца растратил он,
Но душу свою сберег.

Под листопадом грустным,
Лишь Музою осенен,
Он слишком был старорусским
Для барахольных времен.

Не торговался с веком,
Чтоб совести не избыть.
Он был таким человеком,
Которого не забыть.

О, Слово!
Тебе служил он,
Земной исполняя долг.
...Крепких стихов дружина
Стоит,
как засадный полк!

Юрий ПАРКАЕВ

Москва

Другу

Юрию Адрианову

Чаю крепкого гостю заварить,
Иль раскупоришь флягу вина...
Но сегодня мы даже за Варез
Не поднимем бокал, старина.

И не в том, понимаешь ли, дело,
Что в сознании возник перелом
И душа невзначай расхотела
Воспарить над широким столом,

Что хмельные туманы осия
(Словно пьющих нет среди нас),
Предпочла всем напиткам Россия
Минеральные воды и квас.

Но порою в минуты разлуки
Слаще зелья – живая вода,
Хоть и знаю: от грусти и скуки
Выручало вино иногда.

Сколько было разлито, разбито,
Сколько слез натекло в рукава...
И судьба, что гусарски пропита,
Не поймешь – коим духом жива!

И не так уж, видать, беспричинно
За столом запевают друзья:
Догорай напоследок лучина,
Догорю, мол, с тобою и я...

Так поют, что, сказать откровенно,
В сердце радости нет никакой.
Вот – один загремел под Шопена,
Вот – качнулся вдогонку другой...

Соберемся на траурный ужин,
И невольно подумаешь сам:
Знать, Всевышнему ты еще нужен,
Чем-то нужен, но здесь, а не там.

Грустно, братцы! Но пить неохота.
Да простит меня бравый народ!
...Говорят, что спасает работа...
Может статься, и вправду спасет?!

Олег РЯБОВ

Нижний Новгород

И о детстве...

Юрию Адрианову

Луна мешала. Я не спал.
Сквозь щель двухстворчатой огромной
Я слышал чоканье негромко,
Смех женский, редкие слова.

У папы были гости в доме,
Нарядные, при орденах.
И даже женщина одна
Была, по-моему, в погонах.
Я помню всё, хотя был мал.
Сквозь щель – щадящий запах дыма
Табачного, духов и винный,
Он волновал, и я не спал.
И слышал также звуки танго
И шарканье продлённых па.
Я должен спать был, но не спал –
Луна мешала. Было странно
Мне слышать горькое: «За них...»

...Я просыпался утром первым
И видел, открывая двери,
Что мама с папою одни
И спят, обнявшись, на диване.
Пластинки сложены в углу,
Валялась спичка на полу...
Но до сих пор тревожит память
Мне мысль, что с ними кто-то не был:
Не тронут, посреди стола
Стоял единственный стакан,
Покрытый сверху чёрным хлебом.

Юрий УВАРОВ

Москва

Заморозки

Юрию Адрианову

Это ли возраст, которого ждали,
Это ли время, которое вот
За поворотом, на землю спадая,
Желтой листвою дорогу скребет.

Что тебе толку задеть за живое?..
Над лесосекой синеет дымок,
Тяги дыхание пороховое
Сизые перья роняет у ног.

Все разошлись.
Травяной погребушкой
Брякнул шиповник.
В кустах у реки
Кто-то крадется и держит на мушке
Целое небо
И взводит курки.

Ярослав КАУРОВ*Нижний Новгород***Юрию Адрианову**

Мы шли тускнеющим откосом
Над холодеющей рекой.
Мерцали ледяные росы.
Царил чарующий покой.

И церковь белая под нами,
Как будто господу хвала.
Одушевлен узорный камень
И золотые купола.

Бог иль судьба, рок иль природа
Нам это, право, все равно.
Дождаться нового восхода
Когда-то будет не дано.

Ударил колокол, и листья
Посыпались на нас шурша.
По мановенью чьей-то кисти
Себя увидела душа.

Владимир ЖИЛЬЦОВ*Нижний Новгород*

* * *

Юрию Адрианову

Склоны Дятловых гор потемнели,
Ходят важно, картавя, грачи,
И звенят, как и прежде звенели,
Из глубин живородных ключи.

В тесных недрах земли набухая,
В корнях трав и деревьев скользя,
Источается влага земная,
Только пить эти слезы нельзя.

И в смятенье идешь по Откосу,
Синь заволжская в очи рябит,
Словно смотрится в сердце с вопросом
Окоротом кержацким Сибирь.

Сколько лет можно тешить печали,
Чтоб увидеть в потемках души

Эти настезь раскрытые дали,
Эту грозно-смирненную ширь?

Не она ли нас, грешных, сплотила
Вечной памятью болей и бед?
Без хозяина – дом-сиротина,
А без дома – хозяина нет.

И сиротством пронзительно дышат
Клики чаек над зяблой водой,
Стало небо над Волгою выше
И присели мосты над Окой.

Склоны Дятловых гор потемнели,
Ходят важно, картавая, грачи...
И звенят поминально капели,
И отмычками стали ключи.

Елена КРЮКОВА

Нижний Новгород

Юрию Адрианову

Туманы болот, золотые вспышки берез...
И выпь кричит, и, дрожа, взлетает бекас...
Ты вышел, ты выплыл на тот занебесный плес,
В Град Небесный Иерусалим, что еще не про нас.
Сегодня ты можешь свободно, смеясь, стрелять.
Сегодня ты можешь петь свободно, смеясь.
Сегодня лишь тебе одному исполать,
А благодать – да она уже не про нас.
Со старым ружьем, что тянет плечо ремнем,
С умнейшей собакой, что чует дичь за версту,
Теперь ты – по облакам – и ночью и днем,
Теперь ты – бесплотный ангел – вперед, в пустоту.
О нет! Не пусты, поэт, твои небеса.
В них живы и звери и люди! И жив в них Бог!
И полны отчаянным светом твои глаза:
Никто из людей про земной не ведает срок.
А в глотке стихи клопочут, царапаются на свет,
Пылают, рвутся, подранком трепещут в суме,
Рождаются, чтобы жить тысячи тысяч лет,
А сами летят на свет – и умирают во тьме.
Но ты же не умер!
...Я просто утешу себя
Еще одной сказкой, еще одной верой в жизнь.
Поэт – это просто большая боль и судьба.
Такая судьба. Ты там, в небесах, держись.
Ты там ходи на охоту. Кури: пусть дым!..
Ты с Богом там выпей: он водки тебе принес...
Ты спой нам про Град Небесный Иерусалим,
В котором живешь, ничего не видя от слез.

Валерий ШАМШУРИН

Нижний Новгород

* * *

Юрию Адрианову

Давай-ка сядем около
Уснувших пристаней,
Чтоб рядом Волга окала
Все мягче, все нежней.

Чтоб были тучи медные
В закатном далеке
Торжественны и медленны,
Как лошади в реке.

Чтобы тумана белого
Расправилось крыло.
Чтоб чувствовалось берега
Подовое тепло.

Чтоб остро пахло смолами,
Дымился костерок.
Чтоб то, что любишь смолodu,
Ты вновь увидеть смог.

Чтоб старыми печальями
Все боли отвести...
Мы к Нижнему причалили –
Куда ж еще грести?

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Надежда Преподобная

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются
отдельным файлом Word с указанием ав-
торства, наименования произведения и
краткой биографической справкой. Неот-
корректированные рукописи с большим
количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за достоверность
фактов несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать с мнением
авторов.

При перепечатке материалов ссылка на
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 04.06.2019.
Выпущено в свет 25.06.2019.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13